



ЮНОСТЬ

1
1975

В
этом
номере,
как в каж-
дой январской
книжке „Юности“,
мы вновь знакомим
тебя, наш дорогой чита-
тель, с новыми именами.
Кто выступает со стихами,
кто – с прозой, кто – с очерком, и
каждый-дебютант „Юности“.
И очень многие, конечно, в январе
семьдесят пятого откроют наш
журнал впервые – авторы этого
номера ждут и твоих беском-
промиссных оценок, читатель-
дебютант. За нашу дружбу,
за успехи в наступив-
шем году!

твоя „ЮНОСТЬ“

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ

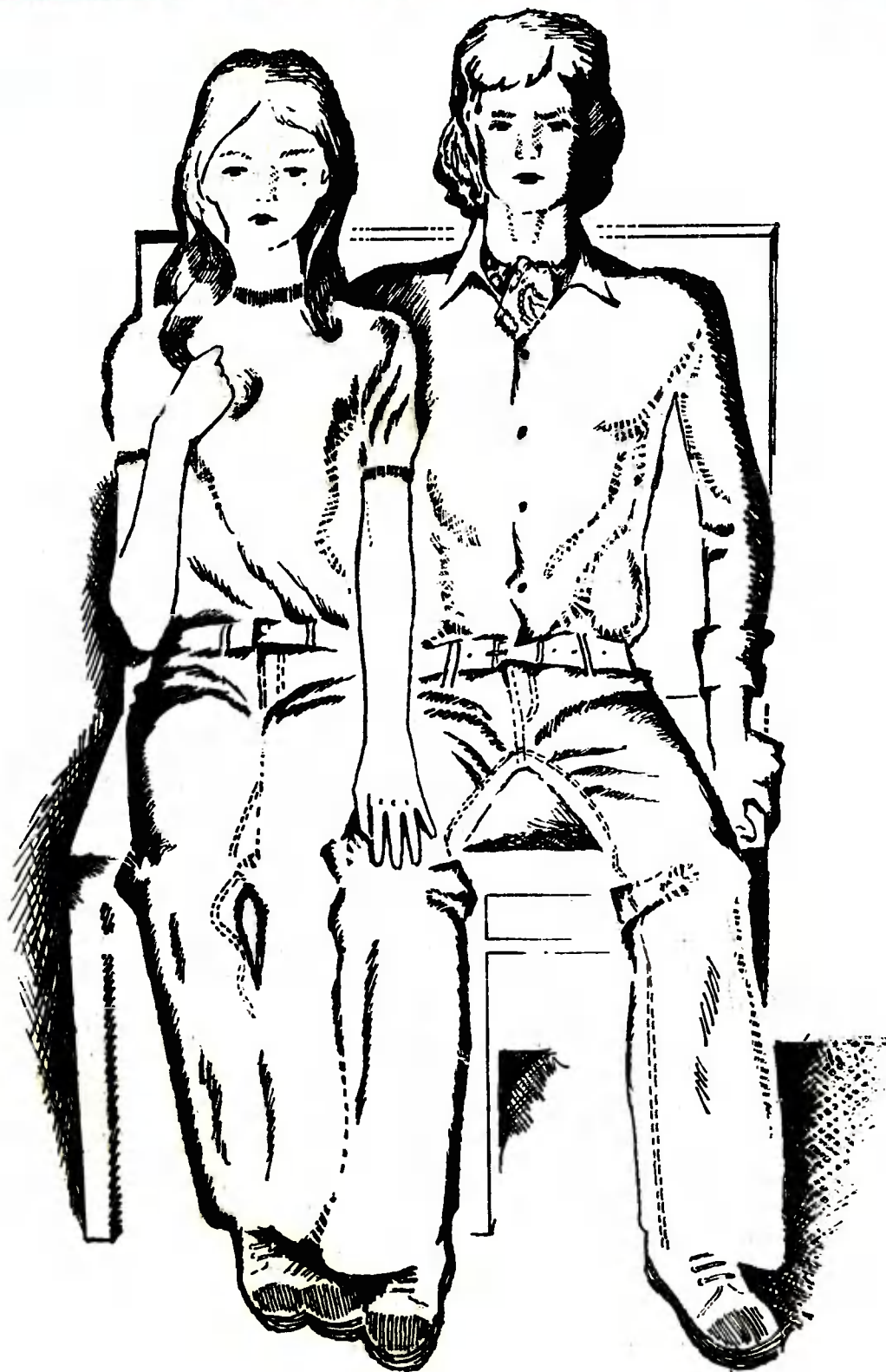


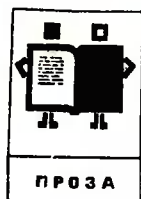
1 [236]
ЯНВАРЬ
1975

Журнал
основан
в
1955
году

*Итоги конкурса
«Зеленого листка»
за 1974 год —
на стр. 111
и третьей странице
обложки этого номера.*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА





Анатолий ТОБОЛЯК

Анатолий ТОБОЛЯК родился в г. Новокузнецке, Кемеровской области. Рос и учился в Сибири и на Урале. После окончания средней школы сотрудничал в редакции городской газеты «Орский рабочий». Заочно учился на факультете журналистики Уральского государственного университета. Затем работал на Крайнем Севере (Таймыр, Эвенкия) и в Средней Азии. Сейчас Анатолий Тобольяк — корреспондент Сахалинского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Это его первая повесть.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

ПОВЕСТЬ

I

Я

познакомился с ними в один из последних августовских дней.

Помню, меня задержала на работе неоконченная статья для журнала «Телевидение и радиовещание». К шести часам сотрудники разошлись по домам, редакция опустела, лишь в аппаратной слышались голоса дежурных операторов.

Я сидел около окна за пишущей машинкой, поглядывал на широкую и пустынную полосу реки, на далекую желтизну сопок, курил, стряхивая пепел в бобышку от стационарного магнитофона, и время от времени постукивал по клавишам двумя пальцами... Солнце стояло высоко, комната была залита светом. Около моих ног валялся, как бездыханный, пес Кучум. Изредка по телу его пробегала дрожь, не иначе он видел во сне белоснежные поляны, перечеркнутые тонким собольим следом... Тихонько мурлыкал репродуктор на стене. Под музыку в голове бродили всякие посторонние мысли. Неплохо бы, думал я, поехать сейчас в отпуск, поваляться где-нибудь на южном пляже, попить пивка вволю, а потом закатиться с женой в Прибалтику, послушать орган в Каунасе, побывать, наконец, в музее Чюрлёниса... Да, неплохо бы, думал я, а пальцы между тем выстукивали скучную фразу: «...накоплен опыт освещения работы оленеводческих бригад».

Еще я думал о том, что таймени на Виви в такую пору славно берутся на желтую блесну и не худо бы подговорить знакомых вертолетчиков слетать на рыбалку. И пора бы уже найти более расторопного работника, чем Иван Иванович Суворов, и зама не мешало бы иметь посимпатичней, чем Юлия Павловна Миусова, и сатирический радиожурнал возобновить неплохо бы...

«...практикуются частые поездки в отдаленные бригады»...

Дверь распахнулась.

— Можно?

Вошел высокий молодой человек в ярко-красной рубашке, джинсах и кедах. Его светлые, давно не стриженные волосы клубились на голове. Вокруг шеи был поя-

зан цветной платок. Узкое загорелое лицо освещали голубые глаза. На вид ему было лет восемнадцать.

Он установился посреди комнаты, нахмурился и спросил, где найти главного редактора. Вопрос прозвучал с вызовом. Кучум поднял морду и легонько зарычал.

— Слушаю вас.

— Вы главный редактор?

Я подтвердил: совершенно верно, главный редактор собственной персоной.

— Можно с вами поговорить?

Я пожал плечами: отчего бы и нет, пожалуйста.

Посетитель крутнулся на резиновых подошвах.

— Одну секунду! — и скрылся за дверью.

Я закурил новую сигарету. В коридоре слышался быстрый шепот, какая-то странная возня. Наконец он появился снова, ведя за руку, точно ребенка через опасный перекресток, тоненькую девушку. Она была одного возраста со своим спутником, в таких же, как он, джинсах и кедах. Неуловимое сходство угадывалось и в их лицах — загорелых и узких, хотя волосы у нее были каштановые, гладкие, открывающие выпуклый лоб, а глаза посверкивали, как обточенные камешки янтаря.

Она вошла с закушенной губой, пылающими щеками, шепнула:

— Здравствуйте.

Мы с Кучумом встали как по команде.

— Проходите, садитесь, ребята! — пригласил я.

Они переглянулись.

— Садитесь, садитесь, — повторил я приветливо.

Они опять переглянулись.

— Сядем, — сказал он, глядя на девушку.

Они расцепили руки и опустили рядышком на стулья около стены. Кучум тотчас приблизился к незнакомцам, принял обнюхивать их колени. Рука девушки скользнула ему на загривок. Он вздохнул и повалился на пол, как подкошенный.

Я рассмеялся. Девушка подняла глаза и робко улыбнулась. Ее спутник ткнул Кучума кедом в бок и вдруг звонко ляпнул:

— Ваш сотрудник?

Девушка бросила на него быстрый беспокойный взгляд.

Я слегка удивился.

— Нет, в штат его не взяли. Голос не радиотоничный. Но соболеет, между прочим, загоняет отменно.

— И оберегает вас от посетителей?

— Сережа... — шепнула девушка.

Он повернулся к ней:

— А что я сказал? Я только спросил. — И снова ко мне: — Я вас не оскорбил?

— Меня? Оскорбили?

Довольно холодно я ответил, что не замечаю ничего оскорбительного в его шутке, и добавил, что посетители в редакции — всегда желанные гости.

— Вот видишь, — бросил он девушке, и его пальцы быстро коснулись ее руки, словно успокаивая.

— Слушаю вас, ребята.

Он тряхнул светловолосой головой и выпалил:

— Мы ищем работу. Есть у вас вакансии?

Это было неожиданно.

Оба не мигая смотрели на меня.

В некотором замешательстве я принялся раскуривать погасшую сигарету.

— Работу... у нас в редакции? А кто вы такие, ребята? Откуда вы?

— Сначала скажите: есть у вас вакансии? Если есть, мы расскажем о себе. А нет — уйдем.

— Ой, Сережа...

— Зря болтать нет смысла, верно?

— Вы уж так прямо быка за рога...

— А зачем зря тратить время? Мы не бессмертные.

— Ой, Сережа... пожалуйста...

— Лучше сразу: есть у вас вакансии или нет?

— Ну-у... — протянул я, слегка ошеломленный. — Это зависит от того, на что вы претендуете. Мне не совсем понятно, какую работу вы хотите получить. У нас есть должности технические, есть творческие. Может, вы поясните, что вас интересует?

— Одна творческая, одна техническая.

— Ага! Одна творческая и одна техническая. А точнее можно?

— Пожалуйста! Катя, — кивнул он на девушку, и ее лицо вспыхнуло, как факелок, — хочет работать машинисткой. А я умею писать.

Так и заявил: «Я умею писать!»

Кажется, я не сдержал улыбку. Он заметил и сразу нахмурился.

— Вы не верите?

— Да нет, почему же... Писать сейчас умеет каждый. И читать. Я хочу сказать, что сейчас все грамотные. Вы работали на радио?

— Сначала скажите, есть у вас вакансии?

— Предположим, есть.

— Предположим, работал.

Девушка закрыла лицо руками.

— Ну и ну! — покачал я головой. — Кто вас научил так устраиваться на работу? Есть у меня вакансии. Без всяких «предположим». Но это еще ничего не значит, согласитесь.

— Вам нужны работники, так?

— Ну, так.

— Корреспондент и машинистка, так?

— Так.

— Вот это деловой разговор. Можете спрашивать.

— А что я должен спрашивать?

— Кто мы, откуда мы — все, что нужно.

«Мы, мы, мы...» Я откинулся на стуле, с интересом разглядывая обоих.

— Хорошо, будь по-вашему. Откуда вы, ребята?

— Из Москвы.

— Ого! Издалека. И что вас сюда привело, если не секрет?

— Мы ищем работу, я сказал. В Москве мы учились.

— А, учились! Где?

— В школе, разумеется.

— Почему «разумеется»? Могли и в техникуме и в училище. Десять классов закончили?

— Да, по десятке.

— И что же... получили аттестаты — и сразу на самолет? Вы извините, что я так расспрашиваю. Но, коли пришли устраиваться на работу, я должен знать, что вы собой представляете.

— Понятно! — перебил он нетерпеливо. — Мы должны представиться. А вас как зовут?

— Ох, Сережа... — пронесся вздох девушки.

— Действительно, — согласился я, — это упущение. Меня зовут Борис Антонович. Фамилия Воронин. Должность моя вам уже известна.

— А мы Кротовы, Сергей и Катя. В институт мы не поступали. Хотели, да раздумали. Нам было не до этого. Мы поженились и решили работать.

Наступило молчание. Я старательно тушил окурок, собираясь с мыслями. Оба не спускали с меня глаз.

— Вот оно что... — промямлил я. — А ведь, открывенно говоря, я подумал...

— Вы подумали, что мы брат и сестра! — опередил он меня.

— Вот именно. Вы чем-то похожи друг на друга.

— Нам уже это говорили. Знаете, кто? Редактор вашей местной газеты. Мы ей сказали, что мы муж

и жена. Она всплеснула руками и закудала, как курица. Она случайно не старая дева?

— Что-что? — изумился я.

— Мы подумали, она старая дева...

— Черт возьми! Ну и суждения у вас!

— А что, не правда?

— Нет, конечно. У нее трое взрослых детей.

— А по натуре ханжа.

— Сережа!..

— У нее взгляды допотопные, как и ее платье. Мы не смогли бы там работать. Так ей и заявили.

— А она предлагала вам работу?

— Нет. Она прочла нам мораль. Мы встали и ушли. Мы сыты моралью.

— Понимаю... И все-таки оценки у вас слишком категоричные. По-моему, вы излишне горячитесь. Нельзя ли поспокойнее?

— Как это? Умереть, что ли?

— Нет, просто не пугайтесь. Давайте говорить спокойно.

— О чем? Почему мы поженились так рано? На это мы не отвечаем.

«Мы... мы... мы...»

— А сколько вам лет, я могу хотя бы узнать?

— Пожалуйста! Обоим тридцать четыре.

— Это звучит солидно. А по отдельности?

— Разделите на два.

— Ага! Значит, по семнадцать.

В его живых глазах блеснул смешливый огонек.

— У вас математические способности, — брякнул он.

— Первый раз в жизни слышу такой комплимент... Пойдите, ребята! — вдруг осенило меня. — Как же так? Вам по семнадцать, а вы...

— ...а мы женаты! — стремительно закончил Кротов мою мысль. — Все правильно. Вы отстали от жизни. Сейчас и в шестнадцать регистрируют в исключительных случаях. Мы — исключение, понимаете?

— Ага! Гм... Понятно... Акселерация... — довольно глупо пробормотал я.

Опять наступило молчание, и вновь я потянулся за сигаретой, ощущая на себе напряженные взгляды Кротовых.

— Видите ли, в чем дело, — заговорил я, закуривая. — У всякой администрации существует правило: не покупать kota в мешке. Я уже знаю, что вы муж и жена, что вы окончили школу. А вот, например, ваши родители знают, что вы здесь? Только не зачисляйте меня сразу в ханжи.

— Родители за нас не будут работать, верно?

— Верно. Но родители могут вас разыскивать или что-нибудь в этом роде. А я приму вас на работу и окажусь в дурацком положении. Может так получиться?

— Не может! Они в курсе событий. Остальное вас не касается.

— Правильно. Значит, им известно, что вы здесь?

— Известно. Еще как!

— Ладно, с этим ясно. А теперь скажите, почему вы решили, что сможете работать в редакции? Вы печатались в газетах, писали для радио?

— Нет.

— Вот видите...

— Так, как пишут, и я смогу. Даже лучше.

— Не слишком ли вы самоуверенны?

— А вы проверьте! Дайте мне задание!

— Какое, например?

— Любое. Репортаж, статью, корреспонденцию.

— Ого! Вы и с жанрами знакомы, — легонько съязвил я. — Но этого недостаточно, чтобы работать в редакции.

Они поглядели друг на друга.

— Сказать? — спросил Кротов у своей Кати. Она

кивнула. Он метнул взгляд на меня. — Я пишу. Давно пишу. И хочу стать профессиональным литератором.

Ни больше ни меньше! Профессиональным литератором!

Не удержавшись, я глубоко вздохнул. Мой ясный скептицизм не остался незамеченным. Кротов сумрачно посмотрел на Катю, словно спрашивая ее: «Не пора ли кончать с этим типом?» Потом развалился на стуле, закинул ногу на ногу.

— Опять не верите?

— Да нет, отчего же... — осторожно сказал я. — Задумано, во всяком случае, смело. Правда, трудностей в вашем пути немало.

— Знаю!

— Ну, если знаете, тогда...

Я был огорчен. Он вдруг разочаровал меня. Внезапно мне стало тревожно за эту девушку, эту Катю, которая смотрела на него во все глаза.

— Стихи, вероятно, пишете? — спросил я с угасающим интересом.

Он презрительно отмахнулся: нет, не стихи — прозу, роман.

Я заметил, что роман — жанр трудный и требует большого жизненного опыта и литературного мастерства. Он сдержанно согласился, что я прав. Я выразил опасение, что в его годы роман, тем более хороший роман, может не получиться. Он не ответил. Молчание было красноречивым. Он прикоснулся к ладони жены, как к талисману.

Я заинтересовался, кто его любимый писатель. Фолкнер! Уильям Фолкнер! Мы помолчали. В раздумье я стукнул пальцем по клавише машинки.

— Ну, хорошо! Оставим ваши литературные планы в стороне. Откровенно говоря, я считаю их безнадежными... — Катя вздрогнула, и я тут же поправился: «...слегка легкомысленными». Мы в нашей радиоредакции романов не пишем. Романистов у нас в штате нет, и они нам не нужны. И деньги за будущие романы у нас не платят.

— Я буду делать все, что надо. Этого мало?

— Кое-что такое заявление значит, но...

Я встал, подошел к окну, откуда открывался вид на незакатное солнце и широкую ленту реки. Я прикидывал все «за» и «против». Они зашептались за моей спиной.

— Сережа... Сережа... — умолял голос девушки.

Наконец, я принял решение.

— Послушайте, ребята, — обернулся я к ним. — А почему вы именно сюда приехали? — Он открыл было рот, но я его перебил и попросил ответить Катю: — А то муж не дает вам слова сказать.

Она растерялась, стиснула руки на коленях, заерзала на стуле...

— Видите ли... мы купили карту Сибири, Сережа мне завязал глаза и попросил ткнуть пальцем. Я попала прямо сюда. Мы купили билеты и поехали.

Я изумленно взглянул на Кротова: неужели это правда? Улыбаясь во весь рот, он подтвердил: самая настоящая!

— А родственники у вас тут есть?

— Откуда! — отверг он.

— А знакомые?

— Ни одного!

— Ну, знаете, Катя, вам медаль нужно выдать за храбрость.

— А мне что? — поинтересовался Кротов.

— Вам ремнем всыпать.

— Не очень остроумно, — поморщился он.

— Зато эффективно! Кстати, — обратился я к девушке, — вы разбираетесь в музыке?

Вопросительно взглянув на мужа, она шепнула:

— Немножко...

Кротов смотрел на меня недоуменно и подозрительно. На этот раз я игнорировал его взгляд.

— Современную музыку любите?

— Очень.

— С классической знакомы?

— Кажется... Да, знакома.

— Проверка грамотности? — осведомился молодой наглец.

Я не удостоил его вниманием.

— Вы имеете представление, что такое фонотека в радиоредакции?

— Это... это вроде библиотеки, только музыкальные записи... Правильно?

— Правильно. У нас свободна должность фонотекаря. Обязанности на первых порах такие: нужно привести в порядок пленки — а их, между прочим, сорок тысяч, — постепенно создать каталог, ну, а в дальнейшем оформлять заказы на новые записи. Если вас это устроит...

Кротов сорвался со стула и завопил:

— Соглашайся, Катя, соглашайся!

— Знаете... я, конечно... конечно, я согласна.

Кротов повернулся ко мне с каким-то растерянным и счастливым видом.

— Вот спасибо! — выдохнул он. И тут же, у меня на глазах, обнял за плечи свою Катю и чмокнул ее в щеку. — Что я тебе говорил! А ты боялась!

У девушки светились глаза.

Кротов сунул руки в карманы, шагнул к столу.

— А со мной как? Возьмете меня?

Я решил дать ему урок.

— Боюсь, что с вами ничего не получится. У нас есть вакансия корреспондента последних известий, но нужен опытный журналист. Нештатничать, конечно, вам не возбраняется.

— Вы хотели дать мне задание.

— Я раздумал.

Он сник, но только на мгновение.

— Ладно! Я не пропаду. Можно вам сказать откровенно?

— Пожалуйста.

Он сказал откровенно. Он сказал, что, по его мнению, у меня нет редакторской интуиции. Он сказал, что мне представляется редкий шанс, да, редкий шанс, а я его теряю.

— Неужели? — вяло удивился я.

Его слова неприятно меня задела. Урок не удался; я хотел поугать его, смирить непомерную гордыню, но только разжег ее...

— Ну, вот что! Я не такой перестраховщик, как вы думаете, и потому дам вам задание. Если выполните его удовлетворительно, возьму в штат с месячным испытательным сроком.

«Редкий шанс» нахмурил свои светлые брови:

— Это одолжение?

Тут уж я не сдержался... Да и кто бы сдержался?

— Черт возьми, это слишком! Послушайте, Катя, ваш муж — порядочный нахал.

— Вы не обижайтесь, пожалуйста. Сережа очень добрый. Просто он самолюбивый.

Ну, что с ними было делать!

— Ладно, проваливайте, — сказал я. — Завтра в девять ноль-ноль будьте здесь. Кстати, где вы остановились?

Можно было и не спрашивать: они нигде еще не остановились. Вещи в камере хранения аэропорта. Они полагают, что здесь есть гостиница.

Я объяснил, что в нашей столице Дом приезжих на десять коек, поднял телефонную трубку и с трудом уговорил знакомого администратора поставить в коридоре две раскладушки. Кротовы горячо поблагодарили и двинулись к двери.

— Послушайте, — осенило меня. — А деньги у вас есть?

Будущий романист остановился на пороге, рука его нырнула в светлую легкую шевелюру.

— Катя, сколько у нас?

Она что-то тихо шепнула.

— Десятка! — вдохновенно прогворил Кротов.

Через минуту я увидел в окно: он в яркой своей рубашке, тугих джинсах, светловолосый и длинноногий, ведет Катю, обняв ее за плечи, размахивая свободной рукой, и что-то горячо говорит ей на ухо... Они скрылись.

Я сел за машинку и хотел продолжить работу, но странные посетители не шли у меня из головы. Испортив две страницы, я прекратил попытки дописать статью, зачехлил машинку.

Домой я пришел в скверном настроении. На вопрос жены, почему задержался, буркнул что-то нечленораздельное, был ворчлив и несправедливо придирчив к дочери. Когда после ужина она собралась к подруге — на наших широтах в августе солнце светит допоздна, — я накричал на нее. Вечер был безнадежно загублен.

Перед сном я не выдержал и позвонил в Дом приезжих.

— Опять Воронин беспокоит. Как они там?

Администратор негромко ответила:

— Заснули голубки... только что.

2

Назавтра, когда они вошли в мой кабинет, пахло как будто парным молоком и свежими, с грядки, огурцами. Кротов был в модном вязаном джемпере, светлых брюках и сандалетах. Катя сменила джинсы на короткое зеленое платье, открывающее загорелые ноги. Ее длинные волосы были расчесаны и покрывали плечи и спину, как шаль.

В кабинете у меня сидело несколько сотрудников. Я представил им Кротовых: Катю как нового фонотекаря, а Сергея назвал начинающим журналистом, который хочет попробовать свои силы на радио. Кротов вежливо склонил голову. Катя стояла с потупленными глазами, очень хорошенькая и беспомощная.

Я усадил ребят. Некоторое время их разглядывали.

Затем, как я и ожидал, заворочался и заскрипел самый старый наш работник, старший редактор сельскохозяйственного отдела Иван Иванович Суворов. Каким-то ржавым голосом он спросил, является ли уже молодой человек шатным сотрудником редакции.

— Нет, — сказал я, — молодой человек получит задание и, если справится с ним, то будет принят в штат с месячным испытательным сроком. Кстати, вы могли бы, Иван Иванович, предложить ему тему. У вас в последнее время с материалами не густо, — напомнил я не без сарказма. — Вот вам и помощь.

— Нет уж, увольте, — буркнул Суворов. — Я уж как-нибудь сам. У меня нету времени заниматься обучением. Проще, знаете, самому написать, чем чужое заново переделывать. Отказываюсь от такой помощи, обойдусь без нее.

Мне захотелось наказать Суворова за его вечное старческое брюзжание и строптивость. Работник он был выдыхающийся, по сути дела, бесполезный. Но за его спиной, точно капитал на сберкнижке, хранилось тридцать лет местного стажа.

— Напрасно вы так, — заметил я. — Вы еще пожалеете, что не согласились. Верно, Сергей?

К моему удивлению, Кротов промолчал. Он смотрел на Суворова, подняв одну бровь, словно видел что-то дикое, недоступное его пониманию. Поговорив о делах, я отпустил сотрудников. Они вышли из кабинета.

Кротов взглядом проводил Суворова, затем обратился ко мне:

— Это кто?

Я объяснил.

— Хороший журналист?

— Опытный работник.

Кротов секунду подумал и отчеканил по слогам:

— Он напоминает старика Ромуальдыча, жующего портянку.

Я холодно посмотрел на него.

— Не знаю такого. И впредь оставьте свои суждения о людях при себе.

— Даже когда меня оскорбляют?

— Никто вас не оскорблял, не фантазируйте. Не мог же он с первой минуты понять, что имеет дело с гением! Правда, Катя?

— Конечно! — откликнулась она, восторженно шись. — Он же тебя не знает, Сережа.

«Господи боже мой», — подумал я... Глубоко вздохнув, перевел разговор на другую тему: как они отдохнули?

— Спасибо, хорошо, — ответил Кротов.

— Замечательно! — скрепила Катя.

— Позавтракали?

Да, они побывали в столовой, первый раз в жизни ели оленину.

— Ну и как, вкусно?

— Очень! — оценила она.

— Бесподобно! — причмокнул он.

Мы перешли к делам. Я попросил Катю написать автобиографию и заполнить трудовой листок. Она села в стороне за маленький журнальный столик, а я занялся Кротовым. Едва я начал рассказывать ему о нашем таежном округе, тихом, как охотничий скрадок, Катя подавала голос:

— Все. Написала.

Я взял у ней листки. Почерк был плавный, круглый, буквы огромные. Автобиография выглядела так:

«Я, КРОВОТА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (ДО ЗАМУЖЕСТВА НАУМОВА), РОДИЛАСЬ 16 МАЯ 1955 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ. МОЙ ОТЕЦ — НАУЧНЫЙ РАБОТНИК ИНСТИТУТА МЕТАЛЛУРГИИ, МАМА — ВРАЧ. В 1962 ГОДУ ПОСТУПИЛА В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ, КОТОРУЮ ОКОНЧИЛА В 1972 ГОДУ. КОМСОМЛКА С 1969 ГОДА».

Две трети листка по учету кадров остались белым пятном.

— Ну что ж, — сказал я. — Все в порядке. Теперь отправляйтесь в студию, последняя комната по коридору налево. Спросите там Леонида Семеновича Голубева. Это наш диктор. Скажите, что я послал. Пусть введет вас в курс дела.

Ее губы шевельнулись, повторяя имя. Она кинула последний, как бы прощальный взгляд на мужа... Мы остались вдвоем.

Полчаса я рассказывал Кротову о нашем округе, замкнутом в кольце лиственничной тайги. Полярный круг пересекал его как раз посередине. Глаза Кротова разгорелись, когда я перечислял названия звенских факторий: Кербо, Мойеро, Амо, Таймура... Я говорил о специфике местного хозяйства, о стадах оленей, бродящих по ягельным пустошам, об одиноких охотничьих станах, о зверофермах, где томятся

серебристо-черные лисицы, о геологических партиях, разыскивающих драгоценный исландский шпат, и о бескрайности воздушных дорог, на которых тархатят самолеты АН-2... Он слушал как зачарованный. Я добавил, что каждый новый человек в этих местах приметен, как высокое дерево, и душу его определяют, как возраст дерева, по внутренним кольцам.

Кротов выдохнул:

— А нам повезло!

— Да, вам повезло.

И тут я рассказал ему о том, как вымораживает шестимесячная зима слабые души, как, не выдерживая, сбегает многие новички... Он залился тонким мальчишеским смехом. Я рассердился:

— В чем дело? Что-нибудь смешное?

— Да нет... извините... Толстой как-то сказал о Леониде Андрееве, что тот пугает читателя своими рассказами, а ему не страшно. И мне тоже.

— И напрасно. Я ничего не сочиняю.

— Я не Красная Шапочка, а вы не Серый Волк, правильно?

— Допустим. И все-таки задуматься вам стоит. Хотя бы ради Кати. Кстати, что вы думаете делать, если ваши журналистские способности окажутся лишь воображаемыми и я вынужден буду вам отказать?

— Такого не случится.

— Ну, конечно! Что еще можно от вас ожидать! И все-таки. Есть у вас что-нибудь в резерве?

— А как же! Пойду в тайгу.

— Что-что?

— Оленьей пасти! Я читал: здесь нужны оленеводы. Разве не так?

— Так. А вы когда-нибудь были в тайге? Я имею в виду настоящую тайгу, а не подмосковные перелески.

— Откуда! Я же горожанин.

Я разозлился.

— Ну, тогда ваша самонадеянность просто пугает. Извините меня, она граничит с тупостью. — Он поблел. — Только человек без всяких внутренних тормозов может уверить себя, что после московского кафе-мороженого способен стать оленеводом. Да вы хоть представляете, что такое окарауливание стада? Это постоянное кочевье в передвижном чуме, стужа зимой, гнус летом, жизнь в седле, вдали от населенных пунктов, опыт, опыт и еще раз опыт! Вам известно, что оленеводство — потомственное занятие? А почему? Потому что этому нужно учиться с детства. Да и то не всякий местный выдерживает. Молодежь предпочитает идти в механизаторы. Да что там говорить, черт побери! Вы ошалели, Сергей, ей-богу! Не заикайтесь здесь об этом никому, если не хотите, чтобы вас осмеяли. Я думал, вы более зрелый человек. Вы меня огорчили. — Я чиркнул спичкой и разжег погасшую сигарету. Он сидел напряженный, с плотно сжатыми губами. — Если уж у вас ничего не получится на поприще журналистики — а теперь я именно так склонен думать — и возвращаться вам домой не резон, идите на стройку. Заводов здесь нет, а жилье понемногу строят. Разнорабочим вас возьмут. Оклад вполне приличный плюс северный коэффициент. Сможете по крайней мере прокормить вашу Катю.

Он разжал губы. Голос был спокойный.

— Можно узнать, сколько вам лет?

— Мне? А в чем дело? Впрочем, пожалуйста. Сорок два.

Он прищурился, что-то соображая...

— Зачем вам понадобился мой возраст? Хотите записать меня в свою коллекцию анахронизмов?

— Нет. Подсчитываю, сколько мне осталось до старости. Не так много. Двадцать пять лет.

Вслед за ним я мысленно вычел из сорока двух семнадцать...

— Ах, черт возьми! Это вы меня в старики записали? Но каком, интересно знать, основании? Ну-ка выкладывайте.

— Пожалуйста. Вы даете мудрые советы. Раз! Вы все учли. Два! Даже северный коэффициент не забыли. Три! Рассчитали все, как на счетах. Нотацию прочитали — будь здоров! Спасибо. Только я ваши советы не воспользуюсь.

— И зря! Зря!

— Нет, не зря. Я тоже могу надавать вам советов. Сколько угодно.

— Вы? Мне? Это любопытно.

— Уйдите из конторы, возьмите ружье, постройте зимовье в тайге, наберите книг и живите!

— Ну, спасибо за такой совет! — Я невольно рассмеялся.

— Не нравится?

— Ни в коей мере. Нелепо, глупо и бессмысленно.

— Рассудочно и меркантильно! Это я про ваш совет. Знаете, сколько я их выслушал в школе? Биллион! Два биллиона! Я могу отключить свой мозг и жить по подсказкам. И все будет о'кэй.

— Мозг? Есть ли он? Вот в чем вопрос.

Кротов мгновенно напрягся, побледнел.

— Это что, юмор?

— Ладно, ладно, — перепугался я, — прошу прощения. И все-таки должен сказать тебе, мудрец, что у тебя довольно путаная философия. Ничего, что я на «ты»?

— Не возражаю.

— Благодарю. — Я хмыкнул. — Тебе такого разрешения, разумеется, не даю.

— Понятно.

— Можешь перейти со мной на «ты», когда станешь знаменитым романистом. Чего улыбаешься? Черный юмор?

— Да нет, ничего... сносно.

— Нахал ты все-таки.

— В меру.

— Какое уж там в меру! Если ты хоть на десять процентов оправдаешь свои заявки, я прошу, что ты испортил мне столько крови. У меня повышенное давление, между прочим.

— Я вам советую уйти в тайгу.

— А, брось ты эту ерунду! Я в этом кресле уже восемь лет. И пока не выгонят, уходить не собираюсь. Мне здесь нравится. Хотя, должен сказать, рутина у нас тут еще имеется.

— Понятно.

— Что тебе понятно?

— Рутинка имеется.

— Как везде, как везде... Много ты понимаешь в рутине! Для тебя человек, который любит классику, уже, наверно, рутинер. А тебе подавай Фолкнера.

— Фолкнер — тоже классика.

— Может быть. Не стану спорить. Мне он кажется сложным. — Я покосился на него: не улыбнется ли? Нет, сдержался. — Ну, ладно! Мне пора на совещание. Задание тебе будет такое...

Я объяснил, что от него требуется: сделать текстовую, без магнитофонных записей корреспонденцию из геологической экспедиции. Тема — итоги полевого сезона.

— Отрекомендуешься внештатным сотрудником. Если потребуют подтверждения, а это не исключено, позвонишь мне.

— Хорошо.

Коротко и ясно. Он ушел. Я посидел некоторое время, размышляя, подымил, поднял телефонную трубку и вызвал к себе старшего бухгалтера. Она

сразу явилась — тоненькая, сухонькая старушка. Я передал ей документы Кати. Клавдия Ильинична через очки прочитала их и удивленно подняла брови: — Такая молоденькая, Борис Антонович... прямо со школы?

— Ну да, молоденькая, что ж тут такого? Нельзя ли ее как-нибудь зачислить задним числом... скажем, на неделю раньше? Она из Москвы приехала.

— Без вызова?

— Ну, конечно.

— Нарушение, Борис Антонович.

— Я знаю, Клавдия Ильинична. Я оформлю приказом. Девочка совсем без денег.

— Понимаю, Борис Антонович.

— Вот и хорошо. И еще одно дело. Возможно, с этого же числа придется взять на должность корреспондента ее мужа, некоего Кротова. Имейте в виду.

— Хорошо, Борис Антонович. Такой же молоденький?

— Да, знаете, такой же. Может быть, рядом с ними и мы помолодеем.

— Едва ли, Борис Антонович.

— Душой, Клавдия Ильинична, душой!

— А, вот вы о чем, — сказала она с милой старческой улыбкой. — Я не против, Борис Антонович.

«Черт бы его взял, — подумал я, — хоть бы он не провалился!»

ИЗ ДНЕВНИКА КРОВОТА

«25 июня 1972 года, в полдень, на оживленном перекрестке Москвы произошло столкновение. В сводках ГАИ оно не значится. Один пешеход, развив недозволенную скорость, налетел на другого пешехода.

Яблоки посыпались из авоськи и запрыгали по мостовой, как радужные мячи. Девушка закусил губу.

Молодой человек кинулся собирать плоды райского сада. Когда он разогнулся, она уже уходила. Ее плечи были возмущенно расправлены, лопатки под платьем сошлись, как тиски. Черная негритянская нога с силой поддала одно из яблок. Оно запрыгало на середину улицы.

Вся ее фигура источала гнев и презрение.

В тот день у меня была уйма свободного времени. Я направлялся в кинотеатр, но всю дорогу колебался, стоит ли убивать три часа на мексиканскую мелодраму. Я киногурман, к вашему сведению.

Девушка с облегченной авоськой шагала, не оглядываясь.

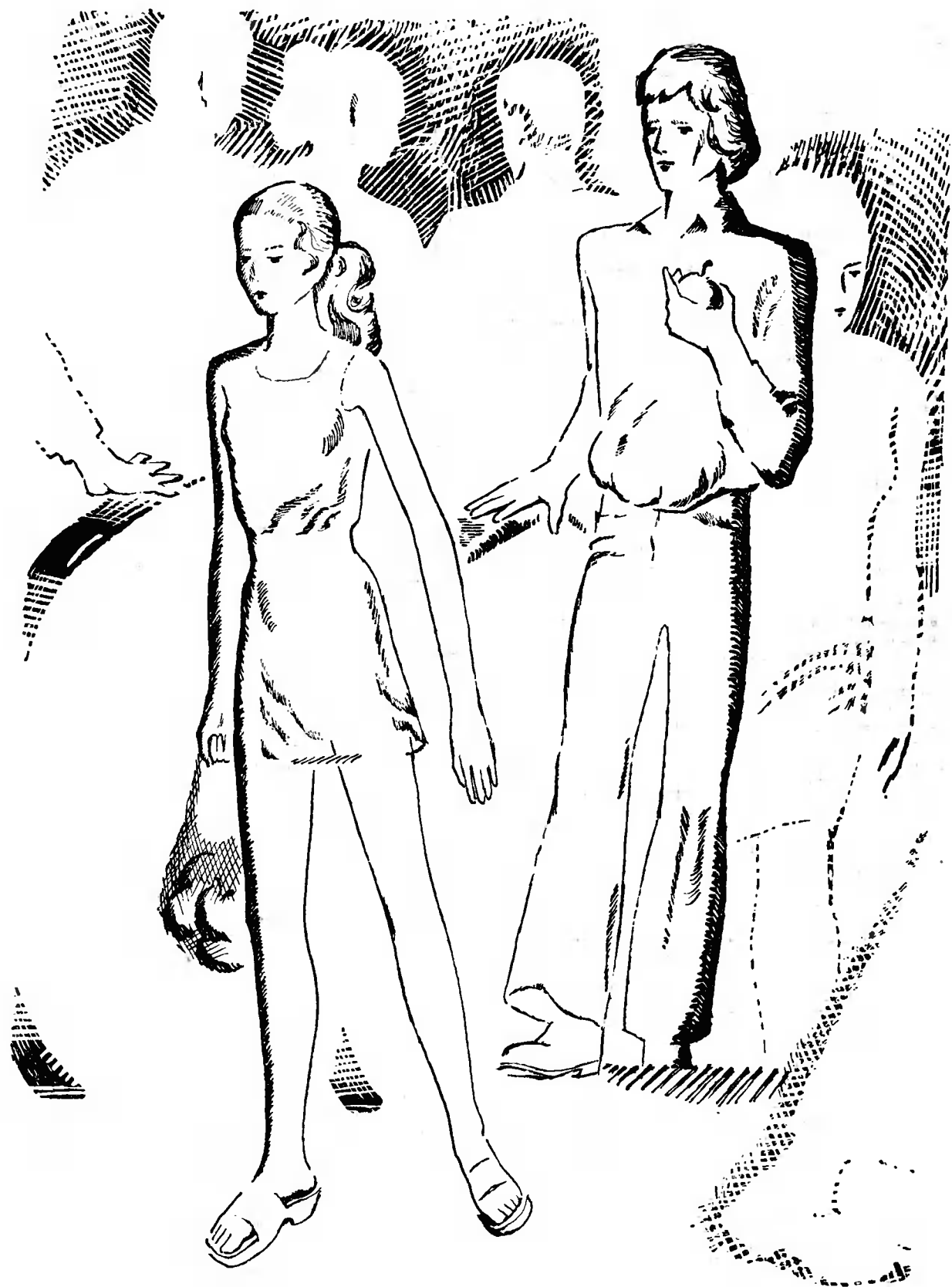
Я сунул несколько яблок за пазуху, одно обтер и надкусил.

Она вошла в метро.

Нет лучшего занятия, чем преследование. Система проста. Выбирается девушка с длинными ногами, в мини-юбке. Она идет по тротуару, пересекает улицы, разглядывает афиши, заходит в магазины, делает покупки, звонит по телефону, спускается в метро — едет. Вы идете по тротуару в двадцати шагах за ее спиной, пересекаете улицы, разглядываете афиши, заходите в магазины, спускаетесь в метро — едете. Час, два, три часа — какая разница! Куда она направляется? Кто она? Десять ступенек эскалатора отделяют незнание от знакомства.

Ира? Аня? Оля? Люба? Света?

Прежде чем шагнуть с движущейся ступеньки, она оглянулась. Как дикая птица, почувствовала взгляд охотника из-за куста.



«Хвост» обнаружен. Преследование потеряло тайну.

Я с хрустом отгрыз кусок яблока.

Из туннеля вылетел, как бешеная, вопящая гармошка, поезд. Из дыр в его мехах повалили люди. Она скользнула внутрь, я — следом, с куском яблока за щекой.

Рванулись и понеслись в темный зев туннеля.

Посмотрит или нет?

Взглянула.

Я помигал яблоком, как фонариком.

Она отвернулась.

И тут мы влетели под своды «Краснопресненской».

Металлический голос подтвердил надписи на стенах.

Теперь мы поднимались. Я плыл на десять ступенек ниже. Ее ноги, как два ослепительных черных луча, били в глаза.

Затем ее поглотила телефонная будка.

Я прислонился к пустому лотку из-под мороженого. Яблоко в моей руке взлетало.

Итак, телефонный разговор.

«Алё, Света, это ты? Я звоню из автомата с Краснопресненской. Со мной приключилась ужасная история. Какой-то тип преследует меня. Да, да, преследует. Идет по пятам и грызет мои яблоки. Вон он стоит напротив, ждет, когда я переговорю. Какой из себя? Блондин, лет восемнадцать, высокий, с голубыми глазами. Что мне делать, как ты думаешь?»

Или:

«Алё, Витя, это ты? Откуда звоню? Из автомата. Ходила в магазин за яблоками, а какой-то тип, представь себе, налетел и рассыпал. Как насчет кино? В восемь жди меня на углу, как всегда».

А может быть:

«Мама, я задержалась. В магазине ужасная очередь. Купила яблоки, а какой-то тип налетел на меня и половину рассыпал. Что? Сейчас на «Краснопресненской»... Он меня преследует. Полчаса едет за мной и не отстаёт. Что? Хорошо, возьму такси».

А вдруг:

«Алё, шеф! Говорит Мариана, по кличке «Газировка». Ваше поручение выполнила, достала яблоки по рулю двадцать. Обнаружила «хвост». Он имитировал столкновение. Пытаюсь сбить со следа. Какие будут указания?»

Мама, Витя, Света, шеф... Опасные соперники! Пора действовать!

Румяным яблоком я выбил по стеклу будки три точки, три тире, три точки. Сигнал SOS.

В ответ гневный взгляд карих глаз.

Шевелящиеся губы... Розовая мочка уха, прижатая трубкой...

Я выкинул вверх три пальца — символ автоматного лимита.

Дверца будки распахнулась. Мы стояли лицом к лицу.

Я превратился во фруктовое дерево.

— Ваши яблоки, — сказал я и посыпался плодами в ее авоську.

Я снял трубку и позвонил начальнику экспедиции Морозову.

— Лев Львович, привет. Воронин. У тебя недавно был светловолосый паренек?

— Был такой, — прогудел Морозов. — Замучил меня твой паренек. Настырный, бродяга.

— Послушай, что он сочинил. — Я прочитал корреспонденцию Кротова. — Ты поставишь визу под таким материалом?

Морозов, не отвечая, сопел в трубку.

— Что молчишь, Лев Львович?

— Думаю. Откуда парнишку раздобыл?

— Сам прилетел. И представь себе, с молодой супругой.

— Да ну? Прыткий, бродяга.

— Если не сказать больше... Так как насчет подписи?

— Толково накатал. Самую суть уловил. От вашего брата этого редко дождешься.

— Значит, ставишь визу?

— Хоть две.

— А знаешь, Лев Львович, — внезапно загордился я, — это ведь его первый материал, представляешь?

— Ишь ты, бродяга! Как фамилия, говоришь?

— Кротов. Сергей.

— Теперь запомню. Присылай его еще. Славно накатал малец!

Кротова я нашел в фонотеке вместе с Катей. Когда я открыл дверь, они отпрянули друг от друга. Обнимались, конечно.

— Ну, романист, — сказал я. — Прочел твой опус. — Оба замерли. Я выдержал паузу. — Не знаю, как насчет романа, а корреспонденция тебе удалась. Молодец! Принимаю на работу.

Катя тихонько ойкнула. Кротов расстегнул ворот рубахи, словно тот его душил. На лбу у него выступили капельки пота.

— Оклад тебе положен девяносто восемь рублей. Плюс шестьдесят процентов местного коэффициента. Гонорар — сколько заработаешь. Устраивает?

Кротов провел ладонью по вспотевшему лбу.

— Ввиду вашей бедности, — продолжал я, непонятно чему радуясь, — можете оба получить в бухгалтерии аванс на пропитание. По пятьдесят рублей каждому хватит?

— Ой! — сказала Катя и звонко икнула. — Пожалуйста, извините. Ик!

Сергей шлепнул ее ладонью по спине.

— Это она от счастья, — пояснил он. — Предчувствует новые туфли.

— А ты почему не икаешь?

— Я не слабонервный. Все логично.

— Ну-ну! А где ты думаешь, логик, поселить молодую жену? На раскладушке в гостинице?

Он вздернул свои светлые мягкие волосы.

— Вообще-то мы думали...

— Ну-ну, это интересно.

— На крайний случай можно построить чум.

— Остроумно.

— Или снять угол.

— Так.

— Или редакция предоставит нам квартиру, — закончил он.

— Блестящая идея. А где ее взять, квартиру?

— Мы не требовательны, Борис Антонович. Какой-нибудь завалящий двухэтажный коттедж нас устроит. Правда, Катя?

— Он шутит, Борис Антонович. Он всегда шутит, — заторопилась она. — Вы его не слушайте. Нам ничего не надо. Вы и так для нас много сделали. Не беспокойтесь, пожалуйста. Мы сами что-нибудь придумаем.

3

Утром на следующий день Кротов принес готовую корреспонденцию, положил ее на мой стол и удалился. Через полчаса приказом за моей подписью он был зачислен в штат редакции.

Его корреспонденция меня поразила. На четырех восковках Кротов уместил настоящее, прошлое и будущее нашей геологоразведки, словно сам прошагал по глухотам с рюкзаком за спиной.

— Катя придумает,— подтвердил Кротов, обнимая ее за плечи.— Катя—исключительно деловой человек. Вы ее еще не знаете. Она сегодня утром умудрилась позавтракать на тридцать восемь копеек. Рекорд экономии!

— Сережа, перестань!

— И сожгла уют в гостинице.

— Перестань, пожалуйста! Вы его не слушайте, Борис Антонович. Мы что-нибудь придумаем.

— Думать вам надо,— сказал я.— Через месяц пожелает зима. Походите по поселку, поищите, может быть, кто-нибудь сдаст комнату. Но надежды мало. Здесь не принято пускать квартирантов. Если ничего не найдете, придется поселить вас на время в кабинете.

Они переглянулись. Кротов присвистнул:

— В вашем кабинете?

— Ну уж так прямо в моем! Есть тут у нас одна свободная комната. Не очень комфортабельная, конечно, но лучше, чем ничего. Во всяком случае, близко ходить на работу.

— Не то что в Москве,— подхватила Катя самым счастливым голосом.— А я, знаете, думала, что только в Москве трудности с жильем. Оказывается, здесь тоже.

— Вечная проблема,— изрек Кротов.— Строят много, но мало.

— Ты прав,— сказал я.

Мы поговорили еще об обязанностях фонотекаря; я разрешил им посвятить завтрашний день поискам квартиры и оставил их одних.

Квартиру они не нашли.

Мое ходатайство в райисполком не уезчалось, как водится, успехом. Раньше весны рассчитывать было не на что.

По моему распоряжению завхоз переоборудовал один из наших кабинетов под жилую комнату. Это было довольно сумрачное и тесное помещение с маленьким окном и грандиозной печкой.

На полученный аванс Кротовы купили кровать — старомодную железяку с высокими спинками,— а стол, шкаф и стулья им достались редакционные.

Меня утешало, что им не придется возить воду и заготавливать дрова, благо под рукой были бочка и поленница.

Так они поселились в редакции.

4

Появление Кротова в редакции не всем пришлось по душе. Иван Иванович Суворов и близкие ему по возрасту творческие работники были открыто недовольны. Смех и грех! Семнадцатилетний юнец без образования, без опыта зачислен в штат. Где это видано? Нет, пускай поживет с наше, наберется ума, пускай его жареный петух клюнет куда нужно — тогда и берется за перо! Борис Антонович проявил непонятный либерализм. Скоро он начнет принимать в штат выпускников детского сада.

Конфликт произошел уже через месяц после начала работы Кротова.

Иван Иванович Суворов написал заметку о любопытном происшествии. На реке Котуй звенк-проводник Хутокогир в схватке с медведем спас двух молодых геологов. Суворов был чрезвычайно горд, что раздобыл эту маленькую сенсацию. Машистка перепечатала информацию и передала ее Кротову для дневного выпуска новостей. Вскоре появился Суворов.

Ему сообщили, что информация у Кротова.

Ссутулившись, с хмурыми складками на лбу, Суворов подошел к столу, где работал Кротов. Его желчное лицо нервно подергивалось.

— Заметка у тебя?

Кротов продолжал писать.

— Заметка у тебя, что ли? Чего молчишь?

Кротов поднял затуманенные раздумьем глаза.

— Вы ко мне обращаетесь?

— А к кому же еще? Заметку давай!

Кротов отложил в сторону ручку:

— С каких пор мы с вами на «ты»?

— Давай, давай, подумай! — поторопил Суворов.

Кротов протянул ему машинописный листок, переправленный так густо, что за чернильными строками не видно было печатных. Суворов машинально взял листок, взглянул — и лицо его страшно исказилось. Несколько секунд губы старика беззвучно шевелились.

— Это... ты... меня... так?

Кротов безмятежно подтвердил:

— Вот именно. Я.

Суворов весь задрожал. Взгляд его обошел комнату, ничего не видя, уперся в листок, словно в какую-то ядовитую нечисть.

В полной тишине Кротов проговорил:

— По-моему, информация неплохая. Факт интересный. Только написана убого. Я ее сократил, выделил главное в первом абзаце и убрал мишуру. В таком виде она пойдет.

Суворов захрипел:

— Ты... учишь... меня?

— А вы что, господе бог?

— Учишь?.. Меня?.. Ты?.. — Он скомкал бумагу и швырнул ее в лицо Кротову. — Вот тебе! Нос утри своей писаниной!

Тот поймал на лету бумажный комок, расправил и на всю комнату отчеканил:

— Как говорил Остап Бендер, вам, предводитель, пора лечиться электричеством.

— Молокосос! Сопляк! Ты еще на свет не появился, а я уже печатался!

— Отецественной журналистике это не пошло на пользу.

— Стиляга городская!

Кротов залился своим тонким смехом.

— ...Учить меня вздумал! Жизни еще не нюхал, а учить взялся! Я тебе такую учебу покажу, что в штанах мокро станет.

Кротов оборвал смех.

— Не понял,— сказал он.— Это как же?

— А вот тогда увидишь, как! На готовенькое, понимаешь, привыкли жить, у папы с мамой за пазухой. Войны не нюхали, жизни не пробовали... уже учить вздумал!

Суворов пошел вразнос. Кротов внимательно слушал, склонив набок голову с рассыпавшимися по плечу светлыми волосами. Наконец выбрал секунду и влил ответ:

— На курсах ликбеза, дядя, вас явно не учили вежливости.

Суворов кинулся на него. Диктор Голубев схватил Ивана Ивановича за рукав, оттащил. Вмешались другие сотрудники, стали его уговаривать, отпоили водой, увели... Подтянутая сорокалетняя Юлия Павловна Миусова взялась отчитывать Кротова:

— Вы должны были отдать заметку Борису Антоновичу. Борис Антонович сам правит Ивана Ивановича. Вы не имеете морального права этого делать. Мало того, что он опытный вас, он же старший редактор... Неужели вы не понимаете? Нужно соблюдать субординацию хотя бы.

— В творчестве субординация? Как это?

— Ах, оставьте, пожалуйста! — разволновалась Миусова. — Вы без года неделю работаете у нас и уже хотите править старшего редактора. Это просто смешно и неэтично наконец.

Кротов потряс смятым листком.

— Я должен пустить в эфир ахинею? Почитайте! «Капающие слюны медведя!» «Разъяренные клыки!» «Объятые ужасом лица разведчиков недр!»

— Да поймите же, это не ваше дело, не ваше дело. Согласно, вам поручены последние известия, поскольку редактора нет. Но ведь вы всего лишь корреспондент. Есть старшие редакторы, есть, наконец, Борис Антонович.

— А я за что получаю деньги?

— Брось, старик, — миролюбиво вмешался двухметровый диктор Голубев. — Не лезь в бутылку.

— Вы можете править нештатных авторов. Это ваше право. Но старшего редактора с тридцатилетним стажем...

— Понял, — сказал Кротов.

— Слава богу, поняли!

— Надо было не править, а выкинуть в урну.

— Брось, старик, — повторил Голубев, — не зарывайся.

Кротов схватил наушники, яростно нацепил их, спутав волосы, и включил стационарный магнитофон. Через минуту в комнату влетела Катя. Никого не замечая, она встала рядом с мужем и принялась гладить его по плечу...

Об этой семейной сценке и о конфликте с Кротовым Юлия Павловна Миусова рассказала мне, недоуменно вскидывая брови и поджимая губы.

— Вы должны принять меры, Борис Антонович.

Я пообещал.

Взволнованная Миусова удалилась.

После обеда Суворов не появился в редакции. Это меня беспокоило. Я позвонил ему домой. Жена Ивана Ивановича ответила, что обедать он не приходил.

Я вызвал к себе Кротова.

Он вошел с бобиной пленки в руках, увешанный длинными разноцветными лентами раккордов. Волосы взлохмачены, в руке дымится сигарета.

— Вызывали?

— Вызывал. Ты что, курить начал?

— Пробую.

— Иди выкинь сигарету, сними с себя эти елочные украшения, причешись — тогда приходи. Ты работаешь в редакции или в цирке?

Он безмятежно улыбнулся:

— А разве не одно и то же?

— Хватит острить! Делай, как я сказал. И принеси эту злосчастную заметку.

Он пожал плечами и ушел. Через минуту раздался стук в дверь (обычно ко мне в кабинет не стучат).

— Да!

Заглянула светловолосая голова Кротова.

— Разрешите?

— Входи.

— Разрешите сесть?

— Ты чего паясничает?

— Я не паясничую. Соблюдаю субординацию. Разрешите сесть?

— Садись.

Он бухнулся на стул.

— Можно курить?

— Ты что, действительно курить начал?

— Первый опыт. В школе не пробовал.

— Так ты начнешь пить, чего доброго.

— Точно! Табак, алкоголь, наркотики. Цепочка.

— Довольно балаганить. Где заметка?

Он подал мне измятое, исчерканное произведение Суворова. Я внимательно прочитал оба варианта: машинописный суворовский и рукописный — между строчек — кротовский.

— Так. Все ясно. Теперь слушай внимательно. — Я поднял трубку и попросил телефонистку соединить с редакционной бухгалтерией; она размещалась в соседнем доме. — Клавдия Ильинична? Здравствуйте. Воронин. У нас есть деньги в кассе? Есть! Очень хорошо. Сейчас к вам придет новоиспеченный журналист. Да, да, тот самый, молоденький, но с задатками крупного скандалиста. Так вот. Выпишете ему командировку в Улэки. На десять дней, начиная с завтрашнего дня. Выдайте денег сколько полагается и гоните его в шею, пока он не успел наговорить вам грубостей. — Я положил трубку и обратился к Кротову: — Иди оформляй командировку, а завтра с утра в аэропорт, и чтобы духу твоего здесь не было. Позднее зайдешь ко мне, получишь задание. Возможно, придется поехать в стадо. Нужны материалы об оленеводах. Усидишь тайгу, развеешь свои детские иллюзии. Все ясно?

Кротов с ошеломленным видом покачал головой.

— Что тебе не ясно?

— Это как... в награду или в наказание?

— Ни то, ни другое, умник. Мы оперативный орган. Нужно — лети без разговоров. Что касается сегодняшней стычки, то совершенно официально тебя предупреждаю: укороти язык.

— Вырезать?

— Укороти, я сказал! И попробуй разобраться, в чем разница между гордостью и гонором, принципиальностью и мальчишеством. Все. Полемики не будет. Укатывай отсюда!

Сергей вылетел из кабинета, страшно обрадованный.

Я снова поднял трубку и вызвал отдел культуры окрисполкома.

— Зина? — узнал я голос секретарши. — Здравствуйте. Воронин. У вас там случайно не появлялся такой мрачный человек с густыми бровями, в очень широких брюках?

— Суворов, что ли? — недолго думала она.

— Он самый.

— Сидит у Вениамина Ивановича в кабинете. Ворвался весь взбудораженный, вбежал к Вениамину Ивановичу, даже пальто не снял.

— Неужели?

— Уже полчаса сидит там... в пальто. Позвать?

— Нет, не надо. Ему вообще лучше не знать, что я звонил. Можно это сделать?

— Конечно.

— Вот спасибо. Всего доброго.

Я повесил трубку и закурил. В аппаратной истощено визжала перекручиваемая через головки магнитофона пленка.

А ведь сколько раз предупреждал операторов, чтобы не перематывали таким образом!

У

тром Кротов улетел.

В полдень раздался звонок из отдела культуры. Меня и Кротова вызывали к Бухареву.

Вениамин Иванович Бухарев сидел в просторном кабинете с видом на реку. Это был маленький, щуплый человек с черными гладкими волосами, с лицом згорелым, плоским и в отметинах оспин. Он встал со своего места, пожал мне руку и предложил садиться. Узкие глаза Бухарева глянули на меня поверх стола из-под припухших век.

— Редко заходишь, Воронин. Забыл начальство. Начало не предвещало ничего хорошего. Я достал сигареты, закурил. Некурящий Бухарев поморщился, но, подумав, пододвинул пепельницу. Довольно миролюбиво он спросил, какие новости в редакции, как идет работа. Я начал рассказывать о новой сетке вещания, о специальном выпуске на эвенкийском языке, поделился ближайшими редакционными планами... Он слушал, скосив глаза, глядя куда-то мимо моего плеча. Лицо его мрачнело. Я напомнил, что в конце октября мы должны подготовить часовую передачу для Москвы, предполагается выступление заведующего отделом культуры.

Бухарев легонько ударил ладонью по столу.

— Не о том говоришь, не о том говоришь! Я замолчал.

— Самоуправствуешь, Воронин?

Он резко встал из-за стола, маленький, щуплый и опасный, как незакрытый порох. Суворов поработал хорошо, подумал я.

— Либерализм в редакции развел! — выкрикнул Бухарев. — У тебя идеологический орган или заготовконтора? Почему нас в известность не ставишь, кого на работу берешь?

— Еще не успел.

— Как так не успел! Кого принял?

— Паренек один приехал, очень способный паренек. У нас вакансии. Я взял.

— На какую должность?

— Корреспондент последних известий.

— Партийный?

— Нет, комсомолец, Вениамин Иванович. Ему всего семнадцать, паренку.

— Если в редакции разводишь! Почему не проконсультировался? Порядка не знаешь?

— Порядок мне известен. Я посчитал, что корреспондента могу принять самостоятельно. Все-таки это не редактор и не старший редактор.

— Хитришь, Воронин. А жену его зачем взял?

— Девочка после десятого класса, приехала вместе с ним. У нас вакансии фонотекаря целый год. Никто не идет из-за маленькой ставки. Она согласилась.

— А почему с Суворовым не ладишь? Обидел его, увольняться хочет. А человек он заслуженный, в нашем округе тридцать лет.

— Знаю. Я его не обижал. Человек он, сами знаете, мнительный и неуживчивый. А если собирается уходить, я его отговаривать не буду. Как журналист он большой ценности не представляет. Стаж у него действительно солидный, но этого мало. В нашем деле, Вениамин Иванович, нужно еще, чтобы человек умел писать, был творчески инициативным. Не знаю, как раньше, а сейчас Суворов дисквалифицировался. Это я с полной ответственностью говорю.

Бухарев не на шутку рассердился.

— Неправильно рассуждаешь! Старые кадры беречь надо. А ты мальчишке позволяешь заслуженно человека обижать. Хорошо делаешь?

— Они поссорились из-за пустяка. Кротова я предупредил, чтобы больше такого не повторялось. Суворову тоже следует быть повежливей.

— Выгораживаешь мальчишку! Почему он не пришел? Я вас вместе вызывал.

— Он в командировке, Вениамин Иванович.

— Когда уехал?

— Сегодня утром. Послал его за материалом об оленеводах.

— Приедет — приведи ко мне. Поговорю с ним. Бухарев сел, остывая. Лицо его разгладилось. Еще минут пятнадцать мы поговорили о всяких делах, он отпустил меня.

Шагая в редакцию, я думал о том, что нелетная погода не повредила бы ни мне, ни Кротову...

Суворов был на своем месте. Он сидел за столом в сатиновых черных налокотниках, со сдвинутыми на нос очками. Я пригласил его к себе.

Он зашел уже без очков и без налокотников, хмурый, как проторговавшийся старьевщик; сел, сдвинул к переносице густые брови. Я достал из стола злополучный листок.

— Так вот, Иван Иванович, стало мне известно о вашем конфликте с Кротовым. Я прочитал вашу заметку, ознакомился с его правкой. Считаю, что стилистически она вполне оправданна.

Суворов побагровел и тотчас поднялся.

— В таком случае говорить с вами на эту тему не желаю. Благодарствую!

— Подождите. Правка, повторяю, оправданна. Я сам не посчитаю зазорным отдать ему на корректуру свой материал. Парень чуток к языку, к стилю. Но ваши труды он больше править не будет. Удовлетворены?

— Нет, не удовлетворен! Пускай извинения мне принесет, сопляк.

— Называя его сопляком, вы вряд ли дождетесь извинений.

— Это что ж, я, что ли, перед ним извиняться должен, перед сопляком?

— Может быть. Вы не правы.

— Ну как же! Ясное дело! Как я могу быть перед вами прав, если вы его под свое крылышко взяли, сопляка. В командировку даже его отправили, подалее от греха.

— Слушайте, Суворов, — сказал я. — Мы с вами не первый год вместе работаем и друг друга успели изучить. Человек вы трудный. Пишете плохо. Тем не менее я ни разу не предложил вам подать заявление об увольнении. Не вернее ли будет сказать, что под своим крылышком я пригрел вас, а не Кротова? Он работник перспективный. За него любая редакция ухватится после первого материала.

— Знаем таких бойки! Не первый год на свете живем! А заявление мое получите, получите. Я у сопляков в учениках ходить не намерен. Не для того седые волосы наживал, чтобы у сопляков в учениках ходить.

— Как вам угодно.

— Заметку давай!

— Пожалуйста.

Он схватил листок, двинулся к дверям, но замешкался на выходе.

— Славно поговорили! Знал бы, не приходил лучше...

Я прикрыл за ним дверь и принялся за дела. Была пятница, день суматошный и трудный. После обеда пришлось прочесть и прослушать несколько субботних и воскресных передач, помочь в выпуске новостей, навести порядок в очередности студийных записей, уладить несколько мелких обычных ссор между операторами. В седьмом часу, когда все сотрудники разошлись по домам, я постучал в комнату Кротовых.

Катя сидела в одиночестве за канцелярским столом, подперев голову руками, и разглядывала свое грустное отражение в зеркале. Увидев меня, она растерянно вскочила, кинулась прибирать разобранную постель, разбросанные повсюду книги — засуетилась. Я ее усадил.

— Ну что, Катя? Скучно без Сергея?

Она кивнула с потерянным видом.

— Ну, так нельзя! Теперь вам часто придется разлучаться. Такую уж он работу себе выбрал. Привыкайте, Катя!

Губы ее жалобно дрогнули.

— Знаете, я, наверно, не смогу. Он на час уходит, а я уже начинаю волноваться. Здесь самолеты не падают?

— Что за мысли, Катя!

— Я целый день хожу и думаю: а вдруг самолет свалится? Здесь же тайга, ему сесть некуда. А вдруг на него медведь нападет? А вдруг он заблудится? Думаю, думаю...

— А вы бы в кино сходили, развеались. Сегодня в клубе как раз французская комедия с Луи де Фюнесом.

— Знаю. Нет, в кино я не хочу. Там смеяться нужно, а я не могу сейчас. Хотела книгу почитать... вот, видите, «Буллет-парк», мне Сережа посоветовал... начала читать, а между строчек... Вот посмотрите. Вы ничего не видите?

— Нет, ничего.

— А я вижу,— сказала она серьезно, нахмутив брови.— Тут написано: «Сережа, Сережа, Сережа»... Извините, что я вам так откровенно говорю.

— Ничего, я понимаю.

— Наверно, это глупо, но я ничего не могу с собой поделать. Сижу и думаю: а вдруг он там с кем-нибудь поссорился? Он же такой несдержанный. А вдруг его ножом ударили? А вдруг он ногу сломал?

— Ну, это уж смешно! Нельзя себя так изводить. Он парень самостоятельный и за себя может постоять.

— Вот именно может! Вот именно! — воскликнула она горячо.— Он никогда не промолчит, ни за что. Мы в поезде ехали до Красноярска в общем вагоне, а там трое хулиганов стали ругаться и шуметь. Все пассажиры молчат, а Сережа с ними связался, чуть до драки не дошло. Он, когда злится, о своей безопасности забывает.

— В этом я уже мог убедиться...

— Вы его еще мало знаете, а я уже три месяца! Он совсем как ребенок бывает. Подавай ему справедливость — и все! Мы вам не говорили... не потому, что не хотели, а просто не успели сказать... мы ведь в Красноярске на всякий случай заходили в редакции, и его нигде не взяли. Он не умеет разговаривать с людьми. Он всех против себя восстанавливает.

— Да, верно. Тактика у него не из лучших. Вам, Катя, когда он напишет свой роман, надо будет стать его литературным агентом,— пошутил я.

— Ой, что вы! Я такая неумеха. Вот Сережа деловой. Правда, он деньги считать не умеет, а во всем остальном ужасно деловой. Он все помнит, все знает... У него память просто удивительная. Он книгу прочтет, а потом может цитировать целые страницы.

Она разгорячилась и стала очень хорошенькой, с живыми карими глазами, с рассыпавшимися по плечам каштановыми волосами.

— Вы все о Сергее, Катя. Давайте-ка о вас поговорим.

— Вы смеетесь? Что обо мне говорить? Я совершенно, ну совершенно заурядный человек.

— Не скромничайте.

— Нет, правда! Вот Сережа, например, имеет первый разряд по настольному теннису и боксу. А я даже в спорте ничем себя не проявила.

— Вы куда хотели поступать?

— Сережа хотел поступать в Институт кинематографии на сценарный факультет.

— Нет, куда вы хотели поступать, Катя?

— Я в медицинский. Даже, вернее, не я, а мама. Сережа говорит, что я сама не знаю, чего хочу.

— И что же, он прав?

— Ну конечно! Я действительно очень разбросанная. Сережа говорит, что во мне скрыто много способностей, но все они находятся в рахитичном состоянии. Вот он совершенно точно знает свою цель и никогда не слушает чужие мнения. Он их просто отбрасывает.

— Ну, с Сережей мне все ясно. Вы, значит, собирались поступать в медицинский?

— Да, хотела, то есть мама хотела. Сережа говорит, что моя мама хотела бы жить вместо меня. Он, конечно, шутит. Сережа и мама не поняли друг друга. Сережа считает, что моя мама слишком консервативна. А она его считает хиппи...— Катя рассмее-лась, потерла ладонями горящие щеки.

— А сами-то вы где хотели бы учиться?

— До встречи с Сережей?

— Да, да, до встречи с Сережей.

— Я одно время мечтала стать модельером. Сама шила, придумывала модели, просматривала все журналы. Но мама сказала, что я в лучшем случае могу стать закройщицей в ателье. Маме это не по душе. Между прочим, Сережа в этом с ней сходится.

— А он что бы хотел?

— Сережа? Он считает, что я должна стать специалистом по компьютерам.

— Oго!

— Да, видите ли, у меня есть способности к математике. В школе я меньше пятерки не получала. А потом одно время я увлеклась кибернетикой, читала даже Винера и многое понимала. Вот он и агитирует меня.

— И как? Успешно?

Она задумалась, опустила глаза и стала накручивать на руку свои длинные волосы.

— Я не знаю, как у нас сейчас получится... Но вообще-то я думаю, что на математическом факультете я смогла бы учиться. Мне математика больше нравится, чем медицина.

— Что ж, поработаете год — и поступайте.

— Сережа так и думает...

Я осуждающе покачал головой:

— Ох, уж этот мыслитель Сережа! Не слишком ли много внимания вы ему уделяете?

Мгновенное недоумение в ее глазах сменилось энергичным протестом.

— Что вы! Совсем немного. Он обо мне гораздо больше заботится.

— Может быть, не стану спорить. А воду, я видел, вы сами однажды носили. И по магазинам бегаєте. И умывальник у вас кое-как висит. И книжной полки нет. А ведь это мужское дело, правда?

— Да, Сережа сказал, что, как только приедет, все сразу сделает. Он по вечерам пишет, ему некогда заниматься всякими пустяками.

— А, вон что! Ну, тогда понятно. Но все-таки, Катя, мой вам совет, хотя Сергей советов не любит, да и вы, наверно, тоже... Не спешите соглашаться с его решениями.

— Почему?

— Так будет лучше,— туманно ответил я и поднялся со стула.

— Вы уже уходите? — огорчилась Катя.

— Да, и вас хочу с собой забрать.

— Меня?

— Совершенно верно. Одевайтесь побыстрее и пойдем прожигать нерабочее время. Моя жена приготовила таймень котлеты.

— Ой! — вырвалось у нее.

— Что «ой», Катя?

— Как хорошо!



— Что хорошо?

— Котлеты и вообще... А то одной, знаете, как скучно.

За ужином Катя была оживленной, весело болтала с моей дочерью о Москве и очень понравилась моей жене.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОВОГА

«Красный свет — неприязнь, испуг.

Желтый — раздумье, колебание.

Зеленый — доверие.

Три раза мигнул светофор в ее глазах. И вот уже я держу авоську, как победный трофей преследования.

Почему смолк город? Куда пропали прохожие? Их нет; мы — два космонавта под одним шлемом в безвоздушном пространстве.

На выпускном вечере я целовался в темном углу с Наташей П., толстушкой-одноклассницей. Было любопытно, нестрашно и весело. В паузах между поцелуями я тайком корчил дикие рожи. Она спрашивала: люблю ли я ее? Еще бы, отвечал я, до гробовой доски! Забуду ли я ее? Нет, никогда, никогда! Дурочка всему верила. Чмок-чмок-чмок. Цинично и

весело. Наташа П. была толстенькой и плотной, как ливерка. Что самое смешное — она лгала не меньше, чем я. Ей просто-напросто хотелось оставить память о выпускном вечере. Чмок-чмок-чмок. Наконец, мне надоело это. Я удрал в компанию.

В чем дело сейчас? Почему я гляжу и не нагляжусь? А в ее глазах мое отражение.

— Ты москвичка?

— Да.

— Поступаешь?

— Угу.

— Как тебя зовут?

— Катя. А тебя?

— Сергей.

Мы несем яблоки к ней домой, двадцать минут ходьбы от метро. На лестничной площадке я передаю ей авоську.

— Подожду?

— Подожди, я быстро.

— А тебя отпустят?

— Отпущусь.

Щелчок замка. Минут через пятнадцать опять щелчок. Она выскочила из квартиры с криком:

— ...не беспокойтесь, не беспокойтесь!

На ней короткая клетчатая юбка, зеленая кофточка. Волосы расчесаны, струятся чуть не до пояса. С ума можно сойти!

Два человека живут на противоположных концах земного шара. Случайная встреча потрясает их. Предопределение? Судьба? Непланированное столкновение атомов? Не знаю.

Йоги верят во множественность жизней. Может, мы встречались уже с предыдущей жизни? Не знаю, не хочу знать!

Мои приятели оглядывали, обмеривали взглядами наших одноклассниц. Но ни одной серьезной школьной любви! Увлечений — тьма. Поцелуи, клятвы, слезы, обещания — неременное школьное многоборье. Я чемпион по многоборью. Я в отличной спортивной форме.

Катя, Ка-тя...

Визг тормозов. Таксист вопит:

— Ослепли! Жить надоело!

А в ее глазах зеленые огоньки: путь открыт.

— Почему ты пошел за мной?

— Это мое хобби. Я преследую всех красивых девушек.

— Ах, всех!

— Всех преследую, но заговорил только с тобой.

— Я подумала, что ты какой-то хулиган.

— А я сразу понял, что ты марсианка. На Земле таких не бывает.

— Вруша и лстец!

— Я чемпион по многоборью.

— Какому такому еще многоборью?

— Вздохи, покаяния рук, нежные слова, клятвы. Знаешь, что это такое? Ничего не будет!

— А что будет?

— Правда. Только правда.

— «Вы обязаны говорить правду, только правду». Так?

— Да, я приведу тебя под присягу. Вот на этой скамейке.

— Она покрашена.

— Тогда на этой. Сядьте! Положите руку на мою ладонь, как на библию. Поклянитесь!

— Обещаю говорить правду и только правду.

— Итак, ваше имя?

— Катя. То есть Екатерина.

— Фамилия?

— Наумова.

— Возраст?

— Семнадцать и еще немножечко.

— Вы не замужем, Катерина Наумова?

Она прыснула.

— Отвечайте! — потребовал я.

— Нет, не замужем.

— Не помолвлены?

— Нет.

— Под судом были?

— Никогда!

— Родственники за границей? Это пропустим... Любите читать, Катерина Наумова?

— Да, очень!

— Ваш любимый писатель?

— Ох, это трудно! Из классиков я люблю Голсуорси, а из современных... пожалуй, Паустовского.

— Достоевский? Михаил Булгаков? Леонов? Фолкнер? Стерн? Эти имена вам о чем-нибудь говорят?

— Да... я читала, но не всех.

— Ваши увлечения?

— Шитье и вязание. И еще... шахматы.

— Как вы относитесь к фильму «Андрей Рублев»?

— Мне понравилось...

— Только-то? Гениальный фильм. Читали Марио Варгаса Льюса?

— Что? Нет, не читала.

— Большой пробел. Бываете на Таганке?

— О, еще бы! Недавно смотрела «Гамлета». Девочкам не понравилось, а мне очень.

— Лем? Брэдли? Стругацкие?

— Ничего не читала. Не люблю фантастики.

— Печально. Ну ладно! Я удовлетворен. В каких отношениях вы находитесь с неким Сергеем?

Она рассмеялась, закинув голову.

— Мы знакомы.

— Давно?

— Не очень... А мне кажется, очень давно.

Я положил ладонь поверх ее руки.

— Теперь поменяемся ролями. Клянусь говорить правду и только правду!

Она закусил губу, словно решая трудную задачу.

— Ну-ка отвечайте, как ваша фамилия?

— Кротог, ваша честь.

— Кротов... Кротов... Это такой слепешарый зверек, да?

— Так точно, ваша честь.

— Мне не нравится эта фамилия. Нет, не нравится!

— Ваша честь, я сменю ее ради вас!

— Ну-ка отвечайте, Сережа Кротов, сколько у вас троек в аттестате?

— Ни одной.

— А пятерок?

— Русский язык и литература.

— Ой, самые трудные предметы! А скажите-ка, сколько раз вы сидели с девушками на скамейке?

— Несчетное число, ваша честь.

— Так я и знала. Вы ловелас?

— А как же!

— Ну-ка отпустите мою руку!

— Ни за что.

— Ладно уж. Это ведь не рука, а библия. Скажите-ка лучше: кто ваши мама и папа?

— Родители.

— Да нет же! Какой вы глупый! Кем они работали?

— Отец — строитель, мать — домашняя хозяйка.

Мы прикусили языки: мимо скамейки двигалась, глядя в упор на нас, подозрительная старуха с клюкой. А едва она прошла...

— Катя...

— Что?

— Пойдем куда-нибудь.

— Куда?

— Где нет ни одной живой души.

— Что ты! Таких мест в Москве нет.

— Есть. Я знаю одно.

6

Кротов отсутствовал две недели. На пятый день он позвонил из Улэки. Слышимость была отвратительная: эфир трещал, словно в небесных сферах шла пулеметная стрельба. Мне удалось понять, что он выезжает в оленеводческую бригаду на озеро Харпиши.

После телефонного разговора я зашел в фонотеку, где Катя наводила порядок в пленках, и передал ей привет от мужа. Весь этот день оттуда доносилось негромкое Катино пение.

Затем Кротов надолго замолчал, словно пропал, сгинул в ягельных пустошах. Катя перестала выходить из глухой прохладной комнатухи, заставленной полками с коробочками пленок. Целыми днями она в полном одиночестве печатала карточки. «П. И. Чайковский. Первый концерт», — выстукивала она двумя пальцами. Чтобы успокоить ее, я опять наведалься в фонотеку и объяснил, что все бригады находятся очень далеко от населенных пунктов, в глухой тайге.

— А рация? — проявила она неожиданные познания.

Пришлось выдумать, что рация могла испортиться или нет проходимость для волн — это часто бывает на наших широтах. Но, кажется, я не убедил ее.

В эти дни вместе с редакционной почтой пришло письмо из Москвы на имя Наумозой. Я не сразу сообразил, что оно адресовано Кате. Взяв конверт, я отправился в фонотеку и застал Катю за обычным занятием — перепечатыванием карточек. Я предложил ей на несколько минут прекратить работу и немедленно, сейчас же станцевать. Она стиснула руки на груди.

— Письмо?

Я помахал в воздухе конвертом.

Катя так и взлетела со стула.

— От Сережи?

— По-моему, от вашей мамы.

— А-а! — протянула она, словно вместо шоколадной конфеты получила пустой фантик.

Я по-настоящему разозлился на Кротова. Он мог, конечно, дать о себе знать. В это время года рации в оленеводческих бригадах работают надежно, туда нередко летают вертолеты. Не случилось ли в самом деле что-нибудь с этим шалопаем? Он позвонил на двенадцатый день из Улэкиста. На этот раз слышимость была неплохой. Бодрым, напористым голосом Кротов сообщил, что съездил очень удачно, исписал восемь кассет пленки, встретился с оленеводами и первым самолетом вылетает.

— Меня здесь торопят, очередь большая. До свидания, Борис Антонович!

— До свидания, — сказал я и шмякнул трубку на рычаг.

В обеденный перерыв я заглянул в комнату Кротовых. Катя стояла в фартуке перед плиткой и вяло помешивала что-то ложкой в кастрюльке.

— Ну, Катерина Алексеевна, — заговорил я с порога, — перестаньте хандрить. Только что звонил Сергей. Он жив-здоров, вернулся из тайги и передает вам пламенный привет и поцелуи.

Она даже подпрыгнула:

— Правда?

— Послезавтра будет здесь, если не помешает погода.

— Как хорошо! Я так рада! Спасибо, что сказали.

— Это мой редакторский долг — поднимать дух своих подчиненных. Но мой вам совет, Катя, на будущее... кажется, я его уже давал... Постарайтесь сделать так, чтобы в отъездах он скучал больше, чем вы. Понимаете?

— Не-ет... Вы думаете, он не скучает?

— Не сомневаюсь, что скучает. Но не теряет ни бодрости духа, ни вкуса к жизни. Теперь понимаете?

— Кажется, да... Я постараюсь. Конечно, вам противно смотреть на мою кислую физиономию. Уже все смеются. Я случайно услышала разговор в аппаратурной. Говорят, что я по Сереже сохну. Это, конечно, правда, но я не понимаю, что тут смешного? Даже в греческих трагедиях жены всегда волновались, когда их мужья уезжали куда-нибудь. Вот Пенелопа всю жизнь Одиссея ждала. Удивляюсь только, как она не умерла от горя.

Я улыбнулся.

— Ну, параллель не совсем уместная... Скажите лучше: почему вы в столовую не ходите? Здесь не очень удобно готовить.

— Там люди.

— Вот и прекрасно. Вы что, человеконенавистница?

— Нет, что вы! Просто Сережа просил меня не ходить.

— Это что за новости?

Она замялась. Видно было, что ей не очень хочется разглашать маленькую семейную тайну.

— Просто так... Мы решили всегда везде ходить вместе.

— Выходит, что вам и в кино нельзя одной по-яситься?

— Нет, почему же. Я, конечно, могу сходить в кино. Но мне не хочется обижать Сережу.

— Обижать?

— Ну... понимаете, это будет нечестно по отношению к нему.

— Нечестно?

— Ну да, нехорошо! — окреп ее голос. — Как будто я сама по себе, а он сам по себе... Понимаете?

— Пытаюсь. Вы извините, Катя, он что, современный Отелло?

Она опустила голову. Тонкая нога в босоножке принялась чертить по полу.

— Не в этом дело... Сережа, конечно, ревнивый, как все мужчины. — («Гм...» — кашлянул я, не вполне согласный с этим заключением.) — Но если хотите знать, мне самой без него никуда не хочется ходить. Мне скучно без него.

— И поэтому вы сидите вечерами в этой келье или на завалинке, так?

Кивок Кати подтвердил, что именно так.

— Ясно, — подытожил я. — Возможно, у меня устаревшие представления о семейной жизни, но, должен сказать, я не совсем вас понимаю... Что пишут из дома, если не секрет?

Ее босоножка замерла, потом опять начала вычерчивать на полу петли и зигзаги.

— Ругают...

— Все еще? Кажется, пора бы перестать.

— Нет, мама очень сердится. Она такая впечатлительная, даже заболела от огорчения. Знаете, она пишет, что приедет сюда и заберет меня силой. И вам хочет написать. Вы не получали от нее письма?

— Нет, ничего не было.

— Еще получите, — обнадежила меня Катя. — Она обязательно напишет. Но вы не беспокойтесь, пожалуйста!

— Да я и не беспокоюсь. А чем, собственно, я могу помочь вашей маме? Запечатать вас, как бандероль, и отправить по почте в Москву?

Катя засмеялась, верхняя губа у нее вздернулась, как у симпатичного зверька.

— Сережа вам не даст меня отправить.

— Опять Сережа! Да я и не спрощу вашего Сережу. Очень он мне нужен, ваш Сережа! Кстати, а его родители как относятся к вашему браку?

— О, они молодцы!

— Вот как?

— Они просто молодцы! А Сережа смеется. Он говорит, что у всех родителей наступает стрессовая ситуация, когда их дети уезжают. Он считает, что чем раньше это случится, тем лучше.

— Да он философ к тому же!

Она не приняла моей легкой иронии.

— У него есть такая теория насчет отцов и детей, не хуже, чем у Тургенева. Например, он считает, что сейчас у взрослых людей очень развито чувство конъюнктуры. Все борются за теплые места, очень большое значение уделяют деньгам. А нам всякое приспособление противно. И поэтому родители нас не понимают. Они стараются сделать как лучше, а нам это претит... Я с ним спорю, но он всегда побеждает. Я в логике очень слаба.

— А он, безусловно, силен?

— Да, с ним трудно спорить.

— Так-так... Приводите его как-нибудь ко мне в гости, хочу послушать его логические упражнения.

После обеда, проходя по коридору мимо фонотеки, я услышал, как за дверью стучит машинка. Понудилось, что онз выбивает: «Сережа... Сережа...»

Накануне прилета Кротова мне пришлось услышать о нем.

Рабочий день был в разгаре: стучали машинки, крутились на магнитофонах километры пленки, ревели динамики, звонили телефоны — все, как водится в любой редакции радио, даже в такой захолустной, как наша.

Я просматривал и правил в своем кабинете выступление председателя охотничье-промыслового управления, когда вошел Иван Иванович Суворов. В последние дни мы встречались с ним лишь мельком — на утренних летучках да еще случайно в кабинетах. О злополучной заметке не вспоминали. Как обычно, Суворов передавал мне свои материалы на подпись; я нередко вычеркивал целые страницы; он принимал правку без возражений.

Итак, Суворов вошел. Он был в новом черном костюме, ворот белой рубашки сдавливал его шею. Маленькие глаза необычно посверкивали.

— Разговор к вам имеется... дозволите?

— Садитесь, Иван Иванович.

Он уселся, потер руки, расправил морщины на лбу.

— Даже два разговора. Первый такой. Заметку-то помните о медведе, которую этот сопляк исчеркал? Помните?

— Заметку помню. Сопляка не знаю.

— Ишь как! Опять защищаете его... Ну, да ладно, пускай не сопляк, пускай Кротов. Так вот, Кротов-то этот, сопляк, исчеркал, а вы его писанину одобрили. А я заметку эту в Москву послал, прямо в редакцию «Маяка». И что бы вы думали?

— Судя по вашему виду, она прошла в эфир.

— Совершенно точно. Правильно угадали. Вот так-то! — Он удовлетворенно хмыкнул.

— Поздравляю. Я думаю, вы понимаете, что после этого триумфа снисхождения к вашим материалам тем не менее не будет?

— Правьте, правьте! Правду не зачеркнешь, она всегда наружу вылезет.

— Этот афоризм стилистически не безгрешен. Что еще, Иван Иванович?

Он помрачнел, насунил, но только на мгновение.

— А еще вот что. Возвратился на днях из Улэки-та один человек. Был он там по делам и прослышал про сопляка нашего.

— Последний раз предупреждаю...

— Ладно, ладно... не буду уж! Прослышал он, значит, про нашего командировочного и до сих пор, представьте себе, очухаться не может.

— Что вы этим хотите сказать?

— Да любимец ваш умудрил такое, что теперь не знаю уж, как это на вас лично отразится.

— Обо мне не беспокойтесь. Что случилось? Говорите яснее. — Я полез в карман за сигаретами.

Суворов с удовольствием проследил, как я закурил. Густые его брови сдвинулись к переносице, как два враждебных мне облачка.

— Да что тут долго говорить-то! Вам лучше должно быть известно, откуда у вашего подопечного церковный крестик взялся.

— Что такое? Какой крестик?

— Какие бывают крестики! Видели, поди, какие крестики верующие люди носят. Вот у вашего такой же оказался, хотя для сопляка этого Иисус Христос все равно что для оленя квашеная капуста... Проторговал он крестик, вот что! Обменял на шкурку! — выложил Суворов свою новость.

Я смотрел на него в полном замешательстве. Суворов сидел с тихой улыбкой на губах. В груди у него явственно похрипывало. Перехваченный воротом шея была в складках, как пересеченная местность.



— Вы отвечаете за свои слова, Иван Иванович?

— Коли мне не доверяете, расспросите Вениамина Ивановича Бухарева. Ему тоже стало известно.

— Это плохая новость.

— Да уж что ж тут хорошего,— согласился он.

— Подробностей не знаете?

— Всего не знаю, а известно только, что продал он этот крестик Филипповым-староверам. А те, надо полагать, кому-то проговорились, и слух до Бухарева дошел.— Суворов как-то горестно помолчал.— Предупреждал вас, что добра с ним не наживете. Теперь расхлебывайте кашу. Жалко вас даже... посочувствовал он.

— У вас все?

— А вам мало?

— Достаточно. Можете идти работать.

— Сейчас пойду. Только хочу напоследок узнать, какие меры вы собираетесь принять против этого боголюбца. Неужто и это ему с рук сойдет?

— Идите, занимайтесь своими делами. И, если сумеете, поменьше рассказывайте об этой истории.

— Это просьба или приказ? — хмуро уточнил Суворов.

— Просьба.

— Ну, коли просьба, так куда еще ни шло. Могу и помолчать. Я не зверь какой-нибудь, как некоторые думают. Могу и помолчать.— Он ушел на прямых, негнущихся ногах.

Час от часу не легче!

Через пятнадцать минут, предварительно позволив и договорившись о встрече, я вошел в кабинет заведующего отделом культуры.

Вениамин Иванович Бухарев стоял около окна, заложив руки за спину, и разглядывал октябрьский пейзаж — замерзшую реку, поблескивающую льдом, а на той стороне ее — пустые снежные сопки. Когда он повернулся на стук двери, его темное, в отблесках оспин лицо было странно печальным.

— Хорошая погода,— заговорил Бухарев вместо приветствия.— Сейчас самая охота — снежок мелкий, собаки идут, не тонут. А тут сидишь, как лисица в клетке. Кабинетным человеком стал! — вдруг пожаловался он.

— Не вы один,— понял я настроение Бухарева.

Не отвечая, он некоторое время расхаживал вдоль своего длинного стола мягкой, неслышной походкой.

— Тянет меня в тайгу, Воронин. Я двадцать лет соболишку промыслил.

— Слышал об этом.

— По сотне хвостов таскал за сезон. Больше всех добывал. В Ленинграде на аукционе моих соболей хвалили. А сейчас... Ну ладно! — оборвал он себя и свои воспоминания.— Зачем пришел?

— Сами знаете.

Бухарев сел в широкое кресло и сразу стал казаться мельче и невзрачней.

— Я все знаю. Фарцовщика взял на работу?

— Ерунда, Вениамин Иванович. Не может быть.

— Как не может быть! Люди говорят. Крест откуда взял?

— Крестик,— поправил я.— Не знаю.

— Обменял на шкурку. А шкурка — утаенная, от государства. Это так? Судебное дело может выйти. А ты что говорил про него?

— Я и сейчас повторю. Славный парень. Способный. Ершистый, разумеется.

Бухарев отшвырнул карандаш, который крутил в пальцах, он звякнул о настольное стекло.

— А шкурки берет?

— Не верю, Вениамин Иванович. Сами знаете, маленькая фактория — замочная скважина. Языки чешут таежники!

— Инструктор врёт?

— Инструктор может ошибаться.

Бухарев нажал кнопку звонка. Вошла секретарь — нескладная высокая девушка. Бухарев попросил пригласить инструктора Потапова. Сидели молча, не глядя друг на друга. Вениамин Иванович барабанил пальцами по столу и тоскливо косился в окно. Появился коренастый молодой человек с румяным лицом, новичок у нас в столице.

— Слушаю, Вениамин Иванович.

— Рассказывай, что в Улэките слышал.

Молодой человек сел, прокашлялся, попрашил узел галстука и бойко изложил такую историю.

На фактории Улэkit к нему пришел заведующий местным красным чумом и сообщил, что старовер Филиппов, всегда подрывающий его лекционную пропаганду, приобрел у приезжего человека крестик в обмен на соболью шкурку. Заведующий красным чумом был слегка пьян («ма-аленько выпил бражки»). Инструктор выслушал его, махнул рукой и отпустил. В тот же день он вторично услышал о крестике — на этот раз от охотоведа. Видимо, слух распространился по фактории, где всех домов было двадцать два, не считая пустых летних чумов. Охотвед назвал фамилию — Кротов — и должность — корреспондент окружного радио. Тут инструктор призадумался: черт его знает, все-таки идеологический работник... неудобно. Он хотел переговорить с Кротовым, но тот уже уехал в стадо.

— Вот и все. Следствия я не вел.

Бухарев из-под припухших век взглянул на меня, словно проверяя, какое впечатление произвел рассказ инструктора. Я достал сигареты, закурил и хмуро уставился на розовощекого молодого человека.

— Вы верите в эту версию?

— Да как вам сказать... — пожал он плечами.

— Тем не менее Суворову вы ее изложили. А это все равно, что объявили по радио.

Он замялся, сконфузился. Бухарев резко поднялся из-за стола.

— Тут рассуждать нечего. Проверить надо. Виноват — принимай меры.

— Если виноват — пинком выгоню.

— Вот так! — припечатал он разговор шлепком ладони по столу и бросил быстрый, нетерпеливый взгляд в окно.

Вдруг я подумал, что для него этот разговор не менее тягостен, чем для меня.

Молодой человек продолжал сидеть в выжидающей позе. Я поднялся и пошел к двери. Меня остановил голос Бухарева.

— Да, Воронин! Говоришь, он женат, твой парень?

Я обернулся. Бухарев стоял около окна. Глаза его превратились в совершенные щелки, лицо казалось вдвое шире от улыбки.

— Ну да, женат.

— А на фактории говорят, он медичку приглядел. Хорошая девка. Он не дурак, твой парень!

Я устало привалился плечом к косяку и посмотрел на бдительного молодого человека, облитого великолепным румянцем.

— Вранье это! Вранье и вранье! Трижды вранье!

— Почему не веришь? Молодой парень — молодая девка. Мог присмотреть?

— Не мог!

— Сам разве молодым не был?

Я лишь махнул рукой и вышел из кабинета.

А на завтра появился Кротов. Сначала я услышал его голос за дверью, в общей комнате редакторов. Кротов что-то рассказывал взахлеб. Я отложил в

сторону рукопись нештатного автора. Дверь распахнулась, вошел... нет, влетел!.. нет, ворвался Кротов.

— Здравствуйте, Борис Антонович.— Он был в распахнутой меховой куртке, свитере, рубчатых туристских ботинках, джинсах; на голове лихо сидел сдвинутый к уху берет. Лицо его сильно обветрилось, губы потрескались, голубые глаза лучились. Весь он, казалось, был еще заполнен ветром движения.

Я отрывисто поздоровался, предложил садиться. Кротов рухнул на стул, вытянул длинные ноги, шумно перевел дух. Я молча разглядывал его. Он сдернул берет, ладонью прибил рассыпавшиеся волосы.

— Рассказывай,— потребовал я.

— В двух словах так: задание ваше выполнил. Впечатлений — тьма! Спасибо за поездку, Борис Антонович. Очень интересно.

— Напишешь официальный отчет. Благодарностей в нем не требуется, эмоций — тоже. Укажешь, какие материалы записал на пленку, авторов, хронометраж. Приложи авансовые документы. Дашь мне на подпись.

— Ясно!

— Теперь рассказывай.

Мой тон сбил его с толку...

— Не знаю, с чего начать. Был в стаде у Чапогира. Потрясающе! Не хотелось уезжать. Вот бы где я поработал!

— Впечатления твои меня не интересуют. Оставь их для мемуаров. Начинай с самого главного — с крестика.

Кротов на мгновение онемел и стал похож на голубоглазого, светловолосого ребенка, сокровенный секрет которого раскрыт...

— Откуда вы знаете?

— Как я узнал, не твое дело. Рассказывай.

— Ерунда, Борис Антонович! Обычный благородный поступок.

— Что-что?

— Подходит под рубрику «Так поступают советские люди», — охотно разъяснил он.

Я тяжело задыхался.

— Послушайте, Кротов, надоели мне ваши остро- ты. Я, черт побери, не намерен их больше выслушивать. Перед вами не приятель. Извольте отвечать как положено. Здесь редакция. Я разговариваю с вами как официальное лицо. Сядьте нормально, не разваливайтесь, здесь не соларий.

Он подобрал ноги, выпрямился. Он был, кажется, ошеломлен моим натиском.

— Что у вас за история с крестиком? Только без вранья.

— Да я и не думаю врать, Борис Антонович!

Зазвонил телефон. Я сдернул трубку и несколько минут разговаривал с окружкой партии. Кротов рассеянно смотрел в окно. Я положил трубку, чиркнул спичкой. Отлетевший кусочек серы обжег щеку. Я выругался. Кротов фыркнул. Он уже пришел в себя.

— Можно рассказывать?

— Говори.

— Вы только не сердитесь. Дело было так. Шел я по улице, смотрю, валяется крестик. Ну, я его поднял и положил в карман.

— Ты что, верующий?

— Да что вы, Борис Антонович! Я убежденный атеист. Мой бог — интеллект. А крестик собирался выкинуть, да забыл... Честное слово! — Он перекрестился с самым дурашливым видом. — На фактории пошел к Филиппову. Он в прошлом сезоне восемьдесят пять соболей добыл. Отрекомендовался, как вы меня учили. Он сидит, жрет медвежатину, сам



на медведя похож. Стали есть вместе. Я болтаю, он молчит. Из него слово вытянуть, как деньги стащить из сейфа. Интервью я все-таки взял... Потом выпили немного браги. Я ему про Москву рассказал. Мужик хороший! Он бобыль. Родственников нет, одна мать старая. Ей девяносто лет. Славная такая бабка... удивительно! С кровати не встает, но в памяти и рассуждает так интересно! В космонавтов, между прочим, верит, но жалеет их... такая славная бабка! — Он задумался, переносясь мысленно в Улэ-кит. — Ну вот. А потом говорит, что ей умирать пора, этой зимой умрет, а крестика нет. Потеряла. А без него боится умирать. Попросила где-нибудь достать. А я пошарил в кармане и наткнулся... — Он помолчал и добавил с какой-то внезапной серьезностью: — Знаете, она мне руку поцеловала... не успел помешать... — И совсем умолк.

— Дальше! — поторопил я.

— Что дальше?

— Дальше что было?

— А ничего. Мы с Филипповым выпили еще по стакану браги за бабушкино здоровье. Я ушел.

— Все?

— Все.

— Ничего не забыл?

— Да нет... что еще?

— Тогда я скажу. Мне стало известно, что вы унесли из дома Филиппова соболью шкурку, что получил ты ее в обмен на свой крестик, что душеспасительная беседа имела для вас меркантильный интерес. Так или нет? Только без вранья!

Скулы Кротова подтвердили, под тонкой кожей вспухли желваки. Он вдруг стал заикаться.

— Кто... в-вам эт-то... сказал?

— Неважно. Отвечай.

— Я... ему... м-морду... набью!

— Сомневаюсь. Да или нет?

— Я... в-вам... отвечать не намерен.

— Вот как!

— Я... от вас... этого не ожидал. — Он стал подниматься, не спуская с меня глаз. — Не ожидал... Я д-думал... вы умнее.

— Да или нет?

— Я у в-вас работать не желаю. — Он выпрямился во весь рост.

Я обошел стол и преградил ему дорогу к двери.

— Садись, прекрати истерику. Слушай! До меня дошли разговоры. Я должен их проверить. Мне противно это делать, но я вынужден.

— Рюкзак... показать?

— На черта мне нужен твой рюкзак!

— А что вам нужно?

— Ни черта мне не нужно! Садись. — Я подтолкнул его к столу, а сам заходил по кабинету. — Я не верю, что ты мог взять эту поганую шкурку. Но сам факт, что у тебя оказался крестик, оброс фантастическими деталями... Пойми, ты новый здесь человек, броский к тому же. Каждый твой шаг заметен. — Невидимкой... статье... не могу.

— Этого и не требуется! Элементарное чувство меры — вот что нужно. Ты уже представляешь не только Кротова, а всю редакцию. На кой черт нужно было таскать с собой этот крестик, а тем более презентовать его умирающей старухе! Ей нужны лекарства, больница, а не крестик.

— А вы бы что сделали на моем месте?

— Не знаю, что я сделал бы на твоём месте! Понятия не имею, что я на твоём месте сделал бы! Я в такие ситуации вообще не попадаю. Я в семнадцать лет не женился, не ехал к черту на кулички по велению указательного пальца, не писал романов... Все это достаточно экстравагантно и без церковных амулетов, пойми.

— Что вы от меня хотите?

— Только одного: веди себя разумней. Если бы это сделал я, то лишился бы своего кресла. Тсбо еще делается скидка на молодость.

— Мне скидок не нужно. Можете меня уволить.

— Да перестань ты, как попугай, твердить: уволить, уволить! Я тебя не увольню пока. Я тебе делаю предупреждение. Учти, что твое умение писать — это ненадежная броня. На все случаи жизни она не годится. Подумай о Кате! Ты женатый человек.

— Я о ней думаю. Я ей шкурку на манто наторговал.

— Ладно, побереги свою иронию. Курить будешь?

— Буду.

— Вот держи. И чтобы покончить с этой историей, хочу тебя предупредить, что Иван Иванович Суворов знает о ней. Хорошего в этом мало, но не вздумай устраивать ему сцены.

Он промолчал с подавленным видом. Я подсел к нему на соседний стул.

— Есть у меня к тебе еще вопрос, Сергей... деликатного свойства. — Он молчал, не проявляя интереса. — Можно, что ли, спросить?

— Спрашивайте.

— Только не кидайся на меня с кулаками. Что за знакомство ты завел в медпункте на фактории?

— Отчет написать?

— Не глупи. Я спрашиваю по-товарищески.

Он покосился на меня, недоверчиво так...

— Интервью брал.

— Для молодежного журнала?

Он вяло пожал плечами.

— Мне все равно, для чего. Интересная девочка. Приехала после училища из Горно-Алтайска. А в чем дело?

— Да ни в чем. Тебя не удивляет моя осведомленность?

— Еще как!

— А странного в этом ничего нет. Я тебе, кажется, говорил, что здесь каждый новый человек на виду. Вот доказательство. Будь осмотрительней в своих знакомствах.

— Удивляюсь я!

— Чему, объясни.

— Шагу нельзя сделать без оглядки. В яслях — правила, в детсаде — правила, в школе — целый свод. Я свободный человек?

— Конечно.

— Могу я поступать, как хочу?

— Допустим.

— Вот и все! Никому нет дела до моих знакомств.

— Даже Кате?

Он крунулся на стуле.

— При чем тут Катя?

— Она твоя жена. Как ты думаешь, безразлично ей или нет, с кем ты познакомишься? Или, скажем, так: как бы ты отнесся к ее знакомству с молодым человеком, одиноким и скучающим? Это предположение, разумеется, — добавил я поспешно, так как он сразу насторожился.

Кротов отрезал:

— Это останется предположением!

— Не сомневаюсь. И все же?

— Сначала Катя спросит меня. И поступит так, как я посоветую. У нас договор.

— Хороший договор. Двусторонний?

— Я от нее ничего не скрываю. О медпункте тоже скажу.

— Правильно сделаешь. Но ты недоучитываешь силу домыслов. Они способны превращать муху в слона.

— Катя не дура.

— Но она женщина, молодая женщина.
— Катя не ревнивая.
— Но впечатлительная, правда? Хватит уже того, что для ее спокойствия я вынужден передавать ей от тебя приветы.

Кротов крепко стукнул себя кулаком по голове.
— Ох, черт! Извините, пожалуйста.
— Ерунда. Перед женой извинись.
— Я заматался совсем. Можно, я пойду? Она, наверно, ждет.

— Ты разве ее не видел?
— Нет, я сразу к вам.
С полминуты я молча рассматривал его под каким-то новым для себя углом зрения...

— Ну, знаешь, Кротов, я, конечно, ценю такую добросовестность, но она выше моего разума! Жена сидит в двух шагах, считает каждую минуту, ждет тебя как манну небесную, а ты вначале являешься докладывать о своих дурацких впечатлениях.

— Да я же хотел как лучше...
— Пошел отсюда! И больше не появляйся сегодня. Сходи в баню, смой грехи.
Он кинулся к двери, но замер на пороге.

— Один вопрос... можно?
— Ну?
— Почему вы послали меня в командировку?
— Чтобы поменьше тебя видеть, романист. Ты в больших дозах приедаешься.

Кротов устремил глаза в потолок, усиленно что-то соображая, потом преподнес:

— Вы неплохой человек, Борис Антонович! Ладно, подожду еще увольняться!

И, одарив меня таким образом, исчез.
А я остался сидеть, негодующий и растерянный, с погасшей сигаретой, и вдруг почувствовал себя старым, как сама земля, усталым и больным, и зависть заполнила мое сердце...

Из коридора долетел восторженный дикий крик: Кротов приветствовал свою жену.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОВОТА

«Москва — огромная матрешка, а внутри нее — крошечное подобие. Москва — улей из миллионов сот, один из них — комната моей дальней родственницы. Она уехала лечиться на юг. Ключи брэнчат в моем кармане.

Киношки забыты.
Библиотеку лобок.

Москва съехала, усохла до десяти квадратных метров. На этой площади — кровать, стол, сервант, стулья.

Окна выходят в глухой двор.
За стенами — суета, бряканье кастрюль, сварливый голос, кухонный чад коммунальной квартиры.

Еще дальше — день и ночь бьет прибой Арбатской площади.

Дверь на ключ. Мы внутри барокмеры. Здесь — безвременье, тишина, шепот.

— Ты любишь меня?
— Очень! А ты?
— Люблю.

Кто спрашивает, кто отвечает? Что за магическое слово «люблю»? Миллиарды раз его произносят миллиарды людей, а оно не тускнеет; не стирается. Слово-бессмертник.

Первый раз в жизни, говоря «люблю», понимаю, что это значит.

Прикосновение ее руки — дрожь.

Ее губы — затемнение.

А дальше — обморок.

Как все произошло?

Наши губы боролись.

Вдруг мои руки стали агрессивными.

Одежда, одежда — проклятье ей! Фигурный листок Адама. Набедренная повязка туземца. Костюм просвещенного европейца. Проклятье одежде!

Вдруг пахнуло холодом ее тела.

Мы стали новорожденными, близнецами в люльке.

Минуты, вычеркнутые из жизни. Или наоборот — жизнь, спрессованная в минуты.

Наши новые имена — мужчина и женщина.

А она бормотала так беспомощно, сквозь слезы: что делать теперь, любовь, мама, я боюсь, люблю, это необыкновенно, какой выход, жизнь, мама, несчастье, люблю.

А я говорил: люблю, никогда в жизни, первый раз, плевать на всех, люблю, самая красивая, никто, никогда, случилось, не бойся, твой...

7

Дни шли; солнце меркло. Давно остановились реки. Темнело быстро и надолго. Соболь нагулял меховую шубку; в тайге сухо щелкали винтовочные выстрелы. Олени отъелись на осенних грибах, теперь копытили ягель. По ночам из труб нашей столицы в небо тянулись длинные и прямые дымы. Градусники начали зашкаливать.

В редакции жизнь шла своим чередом. Каждый день в 18.15 по местному времени в эфире раздавались звуки национального инструмента, открывавшего наши передачи. С девяти до шести крутились магнитофоны, приходили и уходили авторы, загоралось и потухало световое табло над дверью дикторской: «ТИШЕ! ЗАПИСЬ!», заполнялись бумагами и вновь пустели редакционные урны, не стихал шум в аппаратуре, где три женщины с помощью иглы и клея превращали косноязычие в красноречие, созывались летучки, улетали и прилетали сотрудники — настольный календарь становился все тоньше.

Потянулась моя девятая зима в этих краях.

Кротовы по-прежнему жили в редакционной комнате. Кто-то пошутил, что им по совместительству нужно платить ставку сторожа. К Кате привыкли и, кажется, полюбили ее. Она держалась очень скромно, почти незаметно, охотно помогала машинисткам и стала неплохо разбираться в нашей фонотеке. Я подумывал о том, чтобы поручить ей готовить концерты по заявкам.

Из того, что Катя держалась тихо и скромно, кто-то сделал неправильный вывод об ее безответности. Как-то Юлия Павловна Миусова, сорокалетняя молодая женщина, завела с Катей разговор и шуточно посоветовала ей «сделать из Сергея чело- века — постричь его и стесать острые углы». Катя заявила с неожиданным гневом:

— Не смейте так говорить!

Миусова захлопала зелеными веками:

— Почему, Катюша?

— Сережа не нуждается в приглашении. Он незаурядная личность. Ему все позволено.

— Да это Раскольников какой-то! — воскликнула Миусова.

Кротов в последнее время затих, замкнулся. На летучках он сидел молча, и мысли его блуждали где-то далеко. Он заметно похудел. Я предполагал, что он мало спит, и осторожно расспросил сторо-

жиху, которая всю ночь дежурила в редакции. Она подтвердила мои догадки: Кротов работал на машинке до глубокой ночи.

История с крестиком не получила дальнейшей огласки, и я стал по-иному поглядывать на Ивана Ивановича Суворова. Он с наступлением зимы заболел (рецидив застарелого радикулита) и уже долгое время находился на бюллетене. Другие сотрудники принимали Кротова как нечто неизбежное. Отношение к нему было прохладным и настороженным. Кротов умел создавать вокруг себя какой-то вакуум, безвоздушное пространство, в котором гибли доброжелательность и участие. Открыто восхищался Кротовым лишь наш диктор Голубев, шумный, бесшабашный мужчина, чем-то иногда напоминающий извозчика. С ним у Кротова сложились приятельские отношения, но в дружбу они вряд ли могли перейти.

Из командировки Кротов привез великолепные магнитофонные записи. Я дал распоряжение техникам передать ему для постоянной работы магнитофон «Репортер-5», новейшую модель. Он умело им пользовался, и от наших последних известий как будто пахло свежим ветерком... Теперь в каждом выпуске звучали живые голоса (интервью, короткие беседы, репортажи). Я пытался усмотреть в них поверхность, но придраться было нелегко. Странное дело, он трудно уживался с людьми в стенах редакции и быстро, цепко, без видимых усилий находил общий язык с авторами.

Конец октября Кротов отметил небольшой сенсацией. Мы подготовили часовую программу для Москвы. Она прошла успешно. Как по закону детонации, редакция передачи «Земля и люди» Всесоюзного радио запросила у нас десятиминутный сюжет о местных оленеводах.

Я вызвал Кротова и спросил, не осталось ли у него в запасе подходящих записей. Он ответил утвердительно и через несколько дней принес мне готовый, смонтированный и начитанный кадр. На восемь минут слушатель переносился в тишину тайги, где протяжно звенят ботала на оленьих шеях, раздается хорканье пасущихся животных, заливаются лаем собака-оленегонка, быстрая, как чума, гибнут сучья в костре, и неторопливый, хриплый голос старика звенка ведет рассказ о жизни... Авторский текст был прост, непатетичен, в тон медленно гаснущему костру и неслепным мыслям старика. В нем ощущалось какое-то затаенное дыхание, странная грусть и взволнованность горожанина, сердце которого растревожено и бьется утешенно. Я подумал, что Кротов не преувеличивал, когда говорил о своих сильных впечатлениях после поездки в стадо.

Рассказ кончался печально; старик вздыхал, кричал и говорил, что «скоро, однако, умирать пора», беспокоился о том, кому оставит свое бригадирское место, и тонкий вой собаки как бы уже оплакивал его.

Материал был послан с сопроводительной бумагой в Москву и вскоре прозвучал в эфире. Затем Москва сообщила, что радиорассказ Кротова, помимо гонорара, отмечен солидной комитетской премией. Я обрадовался и встревожился. С одной стороны, подтверждались мои надежды и риск оказался не напрасным; с другой — возникали опасения, что у Кротова закружится голова от первого успеха.

Он воспринял известие о премии странно: что-то прикинул в уме и хладнокровно сказал, что этих денег хватит на новое пальто Кате. И все. Телеграмму из комитета он сунул в карман, а несколько дней спустя ее принесла мне уборщица, найдя в урне с бумагами. Я вызвал Кротова и раздраженно отчитал

его. Это пижонство, внушал я, мальчишество — бросать такие документы в корзины для бумаг. Он пожал плечами: зачем она? Я объяснил, что это своего рода гарантия на черный день, подтверждение его журналистской квалификации. Он опять пожал плечами. Раз так, сказал я, он ее больше не получит. И сунул телеграмму в стол.

С Кротовым что-то происходило. Да и Катя в последние дни ходила подавленная. Целыми днями она почти безвыходно сидела в фонотеке, и машинка стучала, как дятел.

В начале ноября на мое имя пришло письмо из Москвы. Только вскрыв его и прочитав первые строки, я сообразил, что пишет мать Кати.

«Уважаемый Борис Антонович!

У Вас с августа работает моя дочь Екатерина Наумова (сейчас по паспорту она Кротова). Из ее писем я знаю, что Вы приняли большое участие в устройстве Катиной судьбы. Я думаю, Вы понимаете (у Вас, вероятно, тоже есть дети) необходимость для Кати высшего образования. Поэтому Вы поймете мое резко отрицательное отношение к необдуманному и раннему замужеству моей дочери. Не стоит от Вас скрывать, что ее так называемый муж Сергей Кротов как личность мне глубоко антипатичен. Это в высшей степени, как Вы могли уже, наверно, убедиться, легкомысленный молодой человек. Он не в состоянии устроить свою жизнь, не говоря уже о жизни Екатерины. Ее замужество — результат детского увлечения. А это ни к чему хорошему не может привести.

Я убедительно прошу Вас, Борис Антонович, помочь мне. От расстройства я заболела. Я врач и знаю, что моя болезнь серьезна. Ради бога, уважаемый Борис Антонович! Умоляю Вас, приложите весь свой авторитет, все свое влияние, убедите Екатерину возвратиться в Москву. Иначе ее жизнь будет загублена.

С глубоким уважением
НАУМОВА».

Приписка меня рассердила. Она была такова:

«Готова быть Вам полезна во всем».

Письмо я спрятал в ящик своего стола. Я не знал, чем могу помочь матери Кати.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОВОТА

«Родственница с баулами и авоськами вернулась с юга.

Наш необитаемый остров осквернен.

Что нам оставлено? Кафе, многолюдные улицы, скамейки в парках, темные кинозалы. Всюду — глаза и уши. Столица следит за нами. Мы мятущиеся, бесприютные единицы народонаселения.

Каждый вечер мы прощаемся в подъезде Катиного дома. Мы стерли все меловые надписи со стен. Наш лексикон ужасался в одно слово: «люблю».

До экзаменов пятнадцать дней.

Десять дней.

— Мы провалимся, Сережа.

— Ерунда!

— Что нам делать?

— Действовать!

— Ты любишь меня?

— Люблю.

— Ты что-нибудь придумашь?

— Придумаю.

Не узнаю себя. Не я ли издевался над Эмилем Чижом, бредившим на школьной скамье Вaley Голу-

бенко, девочкой с такими кудрявыми волосами, как дети рисуют дым? Не я ли произносил монологи в компаниях, называя любовь старомодным чувством?

«В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал наизубок, шатаюсь по городу и репетировал». Пастернак писал про меня.

Однажды Катя не явилась на свидание. Я ждал. Я просмотрел кипу газет, выпил два стакана газировки, в тоске сожрал фруктовое мороженое.

Двухкопеечная монета юркнула в щель телефона-автомата, как зверек в нору.

— Алё! — возник приятный женский голос.

— Здравствуйте. Можно Катю?

— Кто ее спрашивает?

— Сергей.

— Катерины нет дома и в ближайшие дни ее не будет. Она уехала на дачу. Прошу вас больше не звонить.

Гудки отбоя — это невысказанные слова проклятия. Классический прием отваживания! Трубка в моей руке, как сломанный посох переходящего калики.

Вера Александровна Наумова взывает к знакомству. Пора, пора! Рога трубят! Меня бросило в жар.

За две минуты крутого взлета на восьмой этаж я сбил дыхание. Плевать!

Звонок, щелчок английского замка. Передо мной в проеме двери — Прекрасная Дама. Она высока ростом, лицо строгое, как у богородицы, в каштановых волосах одна седая прядь.

— Вера Александровна?

— Да, это я.

— Я Сергей. Я вам звонил. Мне нужна Катя.

Секундная растерянность в лице Прекрасной Дамы.

— Разве я не сказала вам, что Катерины нет дома?

— Неправда!

— Повторяю: ее нет дома. Вы назойливы.

А по длинному коридору к двери уже летит Катя в распахнутом халатике, точно выпущенная из прачи.

— Сережа!

Щеки Прекрасной Дамы слегка зарумянились.

— Входите, — сказала она.

И я вошел.

— Катерина, ступай в свою комнату. Я хочу поговорить с твоим приятелем.

— Мама!

— Ступай. Я позову тебя, когда понадобишься. Я не съем его.

— Иди, — сказал я.

И она ушла, оглядываясь, босая, голоногая, в коротком халатике.

Прекрасная Дама. Прекрасная комната с прекрасным видом из окон. И прекрасный разговор.

— Вы заставили меня солгать. Это не в моих правилах. Я сделала это ради Катерины. Она сошла с ума. Я засадила ее за книги. Вы, кажется, тоже абитуриент?

— Да.

— Это будет и вам на пользу.

— Почему?

— Ваше стремительное знакомство отнимает у вас слишком много времени. У вас есть родители?

— Я подкидыш.

— Вы дерзки. Я этого не люблю.

— Кате нравится.

— Катерина — глупая девчонка. Она увлекающаяся натура. В седьмом классе ей нравился музыкант, в девятом — футболист, а теперь остряк. У нее портится вкус. — Я проглотил пилюлю. Она продолжала: — Вы должны оставить ее в покое.

— Почему?

— Снова объясняю вам: у Катерины на носу экзамены. Она их сдаст, если будет заниматься. Встречаясь с вами, она забывает об учебниках.

— Мы читаем книги и говорим о книгах.

— На экзаменах это не поможет. Кроме того, — начала нервничать Прекрасная Дама, — я не сторонница случайных знакомств.

— Это должно нравиться вашему мужу! — выпалил я. У меня иногда слова опережают мысли.

Она была шокирована.

— Да вы просто хулиган!

— А почему вы говорите за Катю?

— Как почему! Она моя дочь.

— Катя — взрослый человек, с паспортом. Она может отвечать за себя.

— Позвольте мне знать, может она или нет. Я не желаю с вами дискутировать. Сегодня она никуда не выйдет.

— А завтра?

— И завтра тоже.

— А послезавтра?

— Она будет вести себя так, как я захочу.

— Это чушь! — вырвалось у меня.

Прекрасная Дама горько усмехнулась.

— Современный молодой человек... Что ожидать! Я думала, у Катерины лучшие знакомства. До свидания! — Она встала.

Прием был окончен.

— Я хочу видеть Катю!

— Можете с ней попрощаться.

— Вы поступаете деспотично!

Опять горькая усмешка на прекрасном, холеном лице.

— Когда вы станете родителем, вы меня поймете.

— Этого не долго ждать!

— Что такое?!

— Я люблю Катю. Она меня тоже любит.

— Мальчик, опомнитесь! Вы смешны. Катерина влюблялась столько раз, что вам и не снилось.

— На этот раз серьезно.

— Должна вас огорчить: этот раз ничем не отличается от других.

— Катя!! — заорал я на всю квартиру.

И она была тут как тут, точно я потерял лампу Аладдина. В том же халатике, голоногая и яростная.

— Сережа!

— Ты любишь меня? Вера Александровна не верит. Ты любишь меня?

— Мама!

— Что «мама»? — спросила мама, слегка потерявшись.

— Неужели ты ничего не понимаешь!

— Что я должна понимать? Позволить, чтобы ты провалилась на экзаменах? Чтобы ты испортила себе жизнь? Чтобы твои глупые увлечения я считала любовью?

— Я люблю Сережу.

— Ерунда.

— Я люблю Катю.

— Бред! Слушать вас не желаю даже!

Я потерял голову. В глазах поплыло.

— Вера Александровна, вы Кабаниха. Деспот и ханжа!

— Ступайте вон из моего дома!

— Мама! Не смей его прогонять!

— Катя, я жду тебя на площадке.

— Мама, извинись!

— Только этого мне не хватало! Уходите оба, дурачье.

И с этим напутственным словом Прекрасной Дамы я скатился по лестнице.

Через пять минут появилась Катя, зареванная, с одной туфлей на ноге, с другой в руке. Я обнял ее.
— Мне понравилась твоя мать. У нее есть характер. Она будет отличной тещей.

— Ох, Сережа!...

8

В один из первых ноябрьских дней в редакции появилась молодая девушка. Она была в пушистом собачьем полушубке, камусных унтиках, меховой шапке с длинными ушами.

Девушка хотела видеть Кротова. Его не оказалось на месте. Заинтересованная Юлия Павловна Миусова предложила госте раздеться и подождать. Девушка сняла шапку и присела на стул. У нее было милостивое скуластое лицо с решительно сжатым маленьким ротиком. Она быстро освоилась в незнакомой обстановке и уже минут через пять заинтересовалась у Ивана Ивановича Суворова, почему он курит в присутствии женщин, да еще в закрытом помещении. Это антисанитарно, заявила девушка. Суворов подавился дымом и захрипел.

Поскушав еще минут пять, гостя обратилась к Миусовой. Она хотела знать, где Юлия Павловна покупает тени для век. Выслушав объяснение, она удовлетворенно кивнула и замолчала. Но ненадолго.

— А Сережа скоро вернется?

«Сережа»!

Миусова отложила ручку.

Чрезвычайно заинтересованная, она осторожно спросила, по какому делу ей нужен Кротов.

— Просто поболтать, — сказала девушка.

— Вы хорошо знакомы?

Девушка кивнула. Да, очень хорошо знакомы. Она познакомилась с Сережей в Улэките, где работает фельдшером.

Суворов закричал и заворочался на своем стуле. Скуластая девушка метнула на него сердитый взгляд. В этот момент в кабинет вошел, весь в инее с мороза, Кротов. Девушка слетела со стула.

— Сережа!

Кротов увидел ее и присвистнул.

— Черт! Тоня! Ты откуда взялась?

Раскосые глаза девушки радостно поблескивали.

— Села на самолет и прилетела.

Миусова уткнулась в лист бумаги. Суворов был плотно вбит в стол, как сторожевой знак добродетели.

Кротов сдернул с плеча магнитофон.

— Отлично! Пошли, познакомлю с Катей. — И за руку вывел девушку из комнаты.

Больше она в редакции не появлялась. Кротов вернулся через полчаса один, очень оживленный, сел за машинку и припустился печатать.

Вскоре до меня дошли слухи, что кто-то где-то когда-то заметил Катю с заплаканными глазами, а кто-то видел, как Кротов поздно вечером выходил из Дома приезжих. Иван Иванович Суворов, передавая мне на визу очередной материал, не удержался и заметил:

— Слышал, что вундеркинд-то наш хвост от жены отворотил. Или врут люди?

— Я слухи не обсуждаю, Иван Иванович.

— Про шкурку-то я смолчал. Теперь тоже, значит, молчать? Все, выходит, прощается нашему герою?

Затем в кабинете у меня появилась Юлия Павловна Миусова. Она начала издали, очень осторожно и пришла к тому же, что и Суворов.

— Понимаете, Борис Антонович, если все это



правда, то я, как профорг, не могу остаться в стороне. Да мне просто жаль девочку.

— А вы поговорите с Катей,— предложил я.— Только не как профорг, а просто как женщина с женщиной.

— Я уже поговорила. Она ни в чем не хочет признаваться. Делает вид, что ничего не понимает. Твердит, что у них все хорошо, а сама подурнела и глаза заплаканные. Я уж по-всякому... Но вы же знаете, как она боготворит своего Сережу. Это настоящий культ!

Я обещал ей потолковать с Кротовым.

Но уже на следующий день он сам пришел ко мне, причем не в рабочий кабинет, а домой.

Впрочем, сначала был телефонный звонок.

— Борис Антонович? Мне нужно с вами поговорить. Срочно!

— Что случилось?

— По телефону не объяснишь. Можно зайти?

— Ну, заходи, раз срочно.

В семнадцать лет, как я заметил, не срочных дел не бывает.

Кротов явился мгновенно, словно стоял за дверью. Он был сильно возбужден; рот приоткрыт после быстрого бега, глаза напряженные. Пока жена накрывала чай на стол, он весь извертелся в кресле, выкурив две сигареты. Я встревожился, поскорее выпроводил жену в другую комнату, плотно прикрыл дверь.

— Ну, в чем дело? Что стряслось?

— Катя уезжает! — выпалил Кротов.

— Что за новости? Как уезжает? Куда?

— В Москву, к матери.

— Ничего не понимаю. Я ей отпуска, кажется, не давал.

— А теперь дадите. У нее телеграмма. «Мама тяжело больна. Срочно выезжай. Отец», — процитировал Кротов. — И заверена поликлиникой. Все честь по чести.

Он замолк и уставился на меня с приоткрытым ртом. На лбу у него выступила испарина.

— Неприятная новость, — сказал я.

Кротова подбросило на стуле.

— Это фальсификация, Борис Антонович!

— Что-о?

— Телеграмма фальшивая! Подделка! Вранье! Они хотят забрать Катю, понимаете?

— Нет, не понимаю. И не думаю, что это вранье. Даже уверен, что не вранье. Сядь, успокойся. Какие у тебя основания подозревать Катиных родителей?

— Они меня ненавидят. Считают, что я испортил ей жизнь.

— Для этого у них есть кое-какие основания, правда?

— Ни фиги у них нет! Катя счастлива!

— Ты уверен?

— Уверен, еще как! А они считают, что Катя — вещь. Хотят распоряжаться ею, как вещью.

— Не очень-то ты высокого мнения о родителях своей жены... Мне это не нравится.

— А мне противно, что они ретрограды, снобы! Я нахмурился.

— Ты что, выпил?

— Выпил! Пол-литра водки!

— Молодец! Прогрессируешь. Вот что я тебе скажу: умерь свой пыл. Ты несправедлив и необъективен. Для писателя, а ты им, кажется, себя считаешь, это огромный порок, а для человека — непростительный.

— Да вы бы знали, что это за люди! Особенно мать!

— Ну, расскажи. Я послушаю. Только не кричи и не бей посуду.

— Да они даже Бенджамина Спока готовы запретить! Читали его книгу?

— Читал отрывки.

— Они ее сжечь готовы! А знаете почему? Потому что Спок, по их мнению, вольнодумствует, приписывает роль родителям.

— Мне он тоже кажется спорным.

— Спорным — да, но не жечь же! У них при слове «хиппи» нервный тик начинается. Они «Треугольную грушу» Вознесенского за поэзию не считают! Для них Фолкнер — маразматик.

— Бенджамин Спок, хиппи, Вознесенский, Фолкнер. При чем тут Катя?

— Как вы не понимаете, это же целая система! Они закоснели, не хотят думать, не чувствуют времени. Понимаете?

— Отчасти. И все-таки какая связь между Фолкнером и Катей?

Кротов как будто не услышал.

— Для них любовь — только благополучие! — отчаянно выкрикнул он.

Моя жена заглянула в комнату, я махнул рукой, и она исчезла.

— А для тебя что такое любовь?

— А для меня — потери и приобретения!

— Голая фраза, Сергей. Отдает литературщиной.

— Нет. Это — убеждение!

— У родителей Кати тоже, вероятно, убеждение. У них расчет. Они все планируют. Все рассчитали наперед. Сначала Катя кончит школу, потом кончит институт, потом выйдет замуж, потом они ей купят квартиру, потом обставят ее мебелью, потом появится ребенок, потом они выйдут на пенсию, потом будут нянчить внуков, потом они умрут, потом умрет Катя, потом все сгниют.

— Утрировать ты мастер.

Он опять не услышал.

— Не жизнь, а плановое хозяйство!

— А сам ты разве не планируешь? Сначала ты напишешь роман, потом его опубликуешь, потом завоеешь популярность, потом станешь членом Союза писателей. И так далее.

— Это совсем другое, совсем другое!

— Да, верно. У них здравый смысл, у тебя — прожектерство. Вот они и тревожатся. Это естественно для родителей.

— Они преследуют Катю. Эта телеграмма — ловушка! Катя любит мать. Они этим пользуются. Развести ее со мной хотят!

— Ну, ты действительно пьян. Хлебни-ка чаю.

— Не хочу я чаю! Борис Антонович!

— Ну?

— Не давайте Кате отпуска.

Глаза у него стали жалобно-просящими. Он смотрел, помаргивая, как потерявшийся щенок. Я покачал головой.

— Не могу этого сделать, Сергей, и не хочу.

— Эх! — выдохнул он.

— Единственное, что в моих силах, — предоставить тебе также отпуск без содержания. Это в обход правил, но я это сделаю.

Он угрюмо отказался.

— Почему? Раз ты не хочешь отпускать ее одну...

— Дело не в этом. Я не боюсь. Я уверен в Кате. Я Катю не хочу отпускать, потому что они ее издевают, измучают. А если я буду рядом, еще хуже будет.

— Да, больной матери твое присутствие на пользу не пойдет. Это ты правильно рассудил.

— У нас и денег нет вдвоем ехать.

— Также резон, хотя я мог бы одолжить. Отдал бы когда-нибудь.

— Нет, спасибо,— с той же угрюмостью отказался он.

Мы помолчали. Он сидел, опустив голову. Я обошел стол и положил ему руку на плечо.

— Ну, чего скис?

Он сидел не шевелясь.

— Фантазер ты большой. Навыдумывал черт те что. И Катю, наверно, расстроил.

— Я Кате ничего не говорил. Я ей сказал, что она должна ехать.

— Правильно.

— А они ее замучают.

— Ну вот. Опять воображение! Конечно, они попробуют ее убедить, чтобы она осталась в Москве. Это вполне разумно.

Он вскинул голову. Глаза были злые.

— Вы тоже на их стороне! — Я убрал руку с его плеча. — Вы их защищаете!

— Ерунда, Сергей. Я стараюсь мыслить здраво, только и всего. Пытаюсь поставить себя на их место. У меня в конце концов тоже взрослая дочь. Она всего на два года моложе твоей Кати. И я, откровенно говоря, не хотел бы, чтобы через два года появилась такой симпатичный парень, как ты, обворожил ее и умыкнул куда-нибудь на Чукотку. Нет, не хотел бы!

— Почему?

«В самом деле, почему?»

— Ну-у... хотя бы потому, что не очень верю в прочность ранних браков. Статистика, между прочим, в мою пользу.

Он зло перебил:

— Я читаю «Литературку».

— Ну вот, ты сам знаешь. А главное, раннее замужество для женщины — это, по-моему, потеря юности. На учебе обычно ставится крест, если пойдут пеленки и распашонки. Ты думал об этом?

— Думал. Мы с Катей хотим ребенка.

— Я тоже не против внука. Но лучше, если это случится чуть позже.

— Почему?

«В самом деле, почему?»

— Ну-у... моя дочь успеет окончить институт, посмотрит на белый свет, наберется житейского опыта... вот почему.

Кротов скривил губы.

— Как предусмотрительно!

— А ты как думал? Все родители, Сергей, стараются в меру своих сил быть предусмотрительными.

— Мои не стараются!

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что они меня понимают! Они только пареглянулись, когда я им сказал о Кате. И все. Потом мама заплакала. И все. А отец сказал: если будет трудно, сообщи. И все.

— С перьями легче... — вздохнул я, неубедительно так вздохнул.

— Посадите вашу дочь под замок, и все будет о'кэй!

— Спасибо за совет.

— Вы все рассчитали. А если она полюбит?

Я замахал руками и оглянулся на закрытую дверь.

— Окстись! Какая любовь в пятнадцать лет?!

— А если полюбит?

— Слушай, ты это слово «любовь» произносишь с легкостью необыкновенной...

— А все-таки? — настаивал он.

Я стал серьезным.

— Если это случится, то я, конечно, не буду ей мешать. Хотя ругаться не могу.

— И дадите им свободу?

— Вероятно.

— И разрешите жить самостоятельно?

— Видимо.

— И не будете нудить в письмах?

— Постараюсь.

— Вы еще не совсем пропащий человек! — заключил Кротов.

И, честное слово, мне было приятно это услышать. Вскоре я выпроводил его домой.

О скуластой девушке в тот раз не было сказано ни слова.

ИЗ ДНЕВНИКА КРОВОТА

«Умопомрачительно звучит: запись актов гражданского состояния! Загс!

Катя изменилась в лице.

Я усадил ее на стул.

Седовласая женщина в очках с прозрачной оправой, отчего и глаза ее казались прозрачными, как чистейшая аш-два-о, просмотрела наши документы: паспорта, медицинскую справку Кати, заявление.

— Господи, ребятки, как это вас угораздило!

Я сделал сладкую физиономию, словно окунул ее в тазик с вареньем. Я залебезил, как профессиональный подхалим. Я стал до отвращения слащавым. Сю-сю-сю... Нам так повезло, что мы попали именно к ней. От нее зависит наша судьба.

— Вы бы знали, ребятки, сколько вас таких. И все торопятся, все спешат. Куда вы торопитесь? Куда вы спешите? Вам еще жить и жить.

Катя готова была заплакать.

— А процедура очень сложная, ребятки, — причитала бедная старушка. Как она переживала за нас! Как она хотела нам счастья... поодиночке!

Документы... райисполком... заседание... постановление...

— Без согласия родителей, ребятки, ничего не получится. И все равно не раньше, чем через месяц.

Месяц!

Я обалдел.

Месяц!

А почему не вечность?

Мы «спутники, летящие по орбите вокруг своих родителей. От их притяжения не уйдешь. Вера Александровна Наумова. — Юпитер среди планет.

Сю-сю-сю... Я источал фарахат-лукум и какаву.

— Хорошо, мальчик, я постараюсь ускорить все формальности.

Да здравствует вежливость! Да здравствует обходительность!

На улице Катя пришла в себя.

— Что с тобой было? — спросил я.

— Сама не знаю. Мне вдруг захотелось кислой капусты.

— Как я себя вел?

— Ой, ты был неподражаем!

— Я обольститель пожилых женщин.

— А меня ты любишь?

Вместо ответа я ухватил за руку пробежавшего мимо малолетнего москвича с портфелем.

— Пацан, погоди!

— Чё? — вытаращился он.

— Запомни, эту девушку зовут Катя. Я ее очень люблю. Она будет моей женой. Понял?

Он вырвался, захихикал, как сумасшедший, и пустился прочь, оглядываясь.

В овощном магазине мы съели кулек квашеной капусты.

Вперед, вперед, рога трубят! Держись, Катя! Твоя мама, моя теща, твой отец, мой тесть, моя мать, твоя свекровь, мой отец, твой свекор, — все перепуталось в этом мире!

Вера Александровна с порога квартиры глянула на нас и обмерла.

Я услышал, как застучало ее сердце.

Я понял, что у нас на лицах крупными буквами проступает жуткое слово: «ЗАГС».

А где мой тесть?

Нет моего тестя!

— Мама...— начала Катя непослушными губами.— Ты только, пожалуйста, не волнуйся...

— Вера Александровна! — перехватил я инициативу.— Мы должны вам сообщить...— (и вдруг сообщил, что изъясняюсь гоголевским стилем: «Господа, я должен сообщить вам пренеприятное известие...») —...мы решили пожениться. Катя беременна. В загсе требуют вашего согласия. Дайте нам его!

В прихожей стояло кресло, широкое, удобное. Если падать в обморок, то только в него.

Теща моя отступила и медленно осела именно туда.

— Вы негодяй! А ты безмозглая, испорченная, погибшая девчонка!

— Мамочка!

— Ты загонишь меня в могилу. Скорее я умру, чем...

Держись, Катя! И я буду держаться. Ни слова против! Твою мать, мою тещу, можно понять. Она сидит в кресле пыток.

— Убирайтесь!

Это мне. Или обоим?

— Сережа, уйди...— шевельнула губами Катя. Глаза опомные, как у той андерсеновской собаки.— Иди домой... я сама... пожалуйста...

Любимая! Держись!

Я поцеловал ее на глазах Прекрасной Дамы и вышел.

Я мчался домой, не соблюдая правил уличного движения. Ветер свистел в ушах. Ни одна машина не задавила. Город был пуст.

9

Катя улетела.

Перед самолетом она зашла ко мне в кабинет попрощаться. В коротеньком овчинном полушубке, с укутанной головой, в валенках, она была неуклюжа и трогательна. Я пожелал ей всего доброго, просил передавать привет матери. На пороге Катя замешкалась.

— Борис Антонович, присматривайте, пожалуйста, за Сережей.

Так и сказала: «присматривайте»,— словно оставляла мне на попечение маленького ребенка. Я обещал присмотреть.

Потом наш оператор Нина Иванова, оказавшаяся в тот день в аэропорту, ходила по кабинетам и рассказывала, как Кротовы прощались. По ее словам, Катя ревела, точно уезжала навечно, а Кротов, не скрываясь, целовал ее, успокаивал, они обнимались, и служащая аэропорта кое-как расцепила их у трапа, пассажиры хохотали, а Кротов бежал за самолетом, и вообще это была комедия...

Я сидел в сельскохозяйственном отделе окружка партии, когда зазвонил телефон. Инструктор передал мне трубку. В ней раздался взволнованный голос Миусовой:

— Борис Антонович, я вас ищу! У нас тут форменное безобразие! Приходите быстрей!

— В чем дело?

— Кротов явился пьяным, сцепился с Суворовым, никак не можем их успокоить, вот-вот подерутся!

От окружка до радиодома пять минут быстрой ходьбы. Когда я ворвался в редакцию, самое главное было уже позади. Иван Иванович Суворов сидел на диванчике, откинув голову, держа ладонь на сердце. Миусова крутилась вокруг него с графином воды. В комнате толпилось еще человек пять сотрудников. Все галдели.

Кротова в кабинете не было.

— Где он?

— Ушел к себе. Только что. Он совершенно невменяем! — суетилась Миусова.

В несколько шагов я оказался у двери жилого кабинета, распахнул ее и без стука вошел. Кротов одетый лежал на кровати лицом вниз.

Я рывкнул:

— А ну-ка встань!

Он медленно повернулся на бок, тяжело приподнялся, сел. Пьян он был основательно: губы перекошены, глаза пустые, как стекляшки. Меня затрясло.

— Хочешь в ухо?

— Т-только п-попробуйте...

— Мозгляк! Слюнтяй! Сопляк! Ты уволен! — И вышел, хлопнув дверь.

Суворов уже отдышался. Я попросил сотрудников разойтись по своим местам, подсел к нему на диван.

— Что произошло, Иван Иванович?

Вмешалась Миусова. Ей не терпелось рассказать:

— Иван Иванович спокойно работал. Я тоже. Тут вошел Кротов. Я прямо ахнула. Он был в непотребном виде. Сел на свое место и уставился в окно... Иван Иванович пошутил. Как вы пошутили, Иван Иванович?

— Я сказал: с радости, что жену проводил, напилсь, что ли?

— Да, да, именно так! А Кротов как будто с цепи сорвался. Вскочил, кинулся с кулаками на Ивана Ивановича, начал его оскорблять...

— Сказал, что мне на свалку истории пора,— мрачно усмехнулся Суворов.— Мол, таким, как я, место в музее, в разделе пушной рухляди. Пушной! Почему пушной-то? Соболь я, что ли, какой?

— Он и почище говорил, Борис Антонович! Заявил, что ненавидит таких, как Иван Иванович. Я прямо ахнула. Откуда у него мысли такие?

— Сказал, что таким, как я, надо специальным указом запретить детей рожать... Вот как! — констатировал Суворов.

— И творческое бесплодие приплел, представьте себе, Борис Антонович!

— Мол, такие, как я, тормозят прогресс и все живое и свежее сожрать готовы... Вот как!

— Ужас, что говорил, Борис Антонович! Иван Иванович, конечно, вскипел и хотел ему затрещину дать. А он его за руку схватил.

— Сказал, что может мне скулу переставить на место задницы, потому что спортсмен... Вот как! — Суворов закашлялся.

Встрепанная Миусова достала из сумочки зеркало и стала нервно подкрашивать губы.

— Все ясно,— сказал я.— Он уволен, Иван Иванович.

Суворов собрал лоб в складки, переваривая эту новость.

— Неужто?

— Да. Напишите официальную докладную с изложением всех обстоятельств. Вы тоже, Юлия Павловна.

— Я напишу! — вскинулась Миусова.

Суворов закричал, словно кости его ломало.

— Да чего писать-то... Не мастер я такие бумажки составлять.

Я сухо отмахнулся сомнениями:

— Не скромничайте. У вас получится.

Он бросил на меня тяжелый взгляд из-под очков.

— А вам почему известно, что получится? Я, может, и не захочу такую Зумагу писать... Вот как!

Миусова отложила зеркальце; зеленые веки ее затрепетали.

— Вот вы сразу решились увольнять, — ерзая на диване, продолжал Суворов. — Уволить просто, чего проще! Да и надо бы уволить стервеца, чтобы впредь неповадно было. Так он же, стервец, жену имеет! Как он ее, безработный, кормить будет? Это продумать надо хорошо... Вот как!

Миусова подпрыгнула на стуле.

— Иван Иванович! Неужели вы ему такое простите? Он же вас чуть до инфаркта не довел!

Суворов напустился, помрачнел еще больше.

— До инфаркта меня такой сопляк не доведет, больно чести ему будет много. Я войну пережил, там почище переживания были. К нему у меня жалости нет, к сопляку. Его в детстве мало пороли, вот что! Я об его жене думаю. Девчонка на глазах пропадает. Мало того, что он от нее на сторону гуляет, сам видел, как он по поселку шляется с этой залетной птахой, она, я слышал, к нам уже переселилась на постоянное жительство... А уволить — так и денег же ну лишит! Нет, я такую бумажку писать не буду. И вам, Юлия Павловна, не советую.

— Иван Иванович, это благородно, но...

Суворов грубо прервал ее:

— А коли благородно, то и поступайте по-благородному. На вас он, кажись, не орал.

— Моя совесть, Иван Иванович...

— Да чего вы раскудахтались, Юлия Павловна! Я сам, небось, не бессовестливый. Еще больше вашего совестливый. Выговор — и хватит ему, сопляку!

Миусова оскорбленно поджала губы. Она была потрясена. Да и я тоже.

— Выговор сопляку, чтобы неповадно было на будущее, — как заклясть, повторил Суворов. Встал с дивана и, шаркая ногами, удалился из комнаты.

Чуть позднее я сочинил по горячим следам приказ, где Сергею Кротову объявлялся строгий выговор за появление на работе в нетрезвом виде и прогул. «При повторении подобного случая, — написал я, — будет отстранен от занимаемой должности».

«Вот так Суворов! — неотступно преследовала меня мысль. — Вот так Иван Иванович!»

До обеда я вместо Кротова подбирал информации для выпуска новостей. Не хотелось просить об этом других сотрудников. Выпуск получился тощий.

В перерыве я отправился к Кротову. Дверь была приоткрыта, комната пуста. В шесть часов, уходя домой, я опять заглянул — никого. Кротов исчез.

10

На следующий день я пришел в редакцию пораньше, чтобы до начала работы успеть переговорить с Кротовым. Дверь его комнаты была закрыта, на стук никто не отзывался. Редакционная сторожиха на мой вопрос, ночевал ли Кротов у себя, ворчливо ответила, что, дескать, был, баламут, целную ночь на машинке трещал, как окаменный, спать не давал, а ушел только что...

К началу рабочего дня Кротов не явился. В десять его тоже не было. В половине одиннадцатого я снял трубку и позвонил главному врачу окружной больницы, своему знакомому Савостину. Минут пять мы беседовали о разных пустяках: о погоде, зимней ры-

балке; потом я перешел к делу. Известна ли ему молодая фельдшерица из Улэкиста? Да, известно. Где она сейчас работает? Здесь, в столице. Давно переверели? Полмесяца назад. Предоставили квартиру? Да, нашли небольшую комнатку. Не знает ли он адреса? Савостин помолчал озадаченно. Адрес он, конечно, знает, сам помогал устраивать девочку, но в чем, собственно, дело? Нужен молодой специалист, кандидатура для очерка. А, вон что! Улица Тунгусская, сорок два, как раз около бани. Как ее фамилия? Салаткина, Тоня Салаткина. Подходит кандидатура для очерка? А почему и нет — деловая девочка! Ну и прекрасно. Спасибо.

Городок наш невелик. Дома стоят кучно на высоком берегу, на стрелке двух полноводных рек. За ними круто поднимаются сопки, склоны их белы от снега. Еще дальше — прокопленная стужей тайга, на десятки километров ни одного дыма. Небо туманно. Прохожие торопливо бегут по скрипучим деревянным тротуарам.

Я быстро нашел нужный дом на улице Тунгусской. Он стоял особняком на спуске к реке. Это была покосившаяся, выдавшая виды избушка с двумя замерзшими окнами. Из трубы курился дымок. Я вошел в темные сени и постучал во вторую дверь.

— Открыто! — раздался голос Кротова.

В избушке была одна комната, разделенная ядовито-зеленой перегородкой на кухню и жилую половину. Кротов лежал в свитере и брюках на застеленной одеялом кровати. Руки закинута за голову. Во рту торчит погасшая сигарета. Рядом на табурете стакан с недопитым чаем, блюдечко с горькой окурков. Увидев меня, он поднялся было на локте, но раздумал и опять лег. Глаза его уперлись в потолок.

— Привет, — сказал я.

Он ответил равнодушно, не глядя:

— Здравствуйте.

Я огляделся. В жарко натопленной комнате был беспорядок. Перед печкой разбросаны дрова, на полу мусор, на спинке кровати грудой висят женские платья и кофты, кухонный стол завален немытой посудой.

— А ну-ка поднимись, посмотрю на тебя! — Он не двинулся. — Поднимись, говорю. Лежа гостей не принимают.

Поморщившись, Кротов спустил ноги с кровати, сел, оперся локтями о колени, уткнул подбородок в ладони и уставился в пол. В светло-льняных взъерошенных волосах торчали перышки от подушки.

— Думаешь являться на работу?

Молчание. Ногой в носке Кротов растер пепел на полу.

— Думаешь являться на работу, спрашиваю?

— Зачем?

— На работу ходят, чтобы работать. У тебя мозги после вчерашнего набекрень. Где твоя приятельница?

— Моя приятельница пошла в магазин.

— А ты ждешь, когда она притащит тебе поесть и выпить?

Он вскинул на меня глаза.

— Вы полегче, пожалуйста.

— Вчера я хотел дать тебе в ухо. Это желание не пропало. Ты слюняй.

— Полегче, Борис Антонович! — взлетел его голос. Голубые глаза потемнели.

— А как прикажешь говорить с тобой? Являешься пьяным на работу, скандалишь... Вполне заслуживаешь оплеухи.

— У меня первый разряд по боксу.

— Плевать я хотел на твои разряды! Ты и старику Суворову грозился переставить части тела. Так вот! Перед Иваном Ивановичем ты извинишься. Са-

мым лучшим образом. В присутствии Миусовой. Он тебя спас от увольнения. Это — первое. Второе: сейчас соберешься и пойдешь на работу. Ясно?

Он молчал, угрюмо глядя в пол.

— Ясно или нет?

— Подождите немного. Сейчас Тоня придет.

— Зачем она тебе?

— Попрощаться надо.

— Обойдешься! Собирайся!

Кротов лениво поднялся, пригладил ладонями волосы, подтянул свитер и пошлепал в носках за перегородку. Я придвинул ногой табурет, уселся и закурил. Он возился, одеваясь. Наконец, я не выдержал.

— Тебе перед Катей не стыдно?

Из-за перегородки донеслось:

— Нет!

В замешательстве я крикнул:

— В самом деле или представляешься?

— Думайте, как хотите!

И тут, легка на помине, появилась хозяйка дома. Она впрорхнула из сеней и, увидев меня, замерла на пороге.

Кротов вышел одетый, в унтах и полушубке. Он поглядел на девочку, покосился на меня и усмехнулся:

— Познакомьтесь. Борис Антонович Воронин, мой шеф. Тоня.

— Здравствуйте, — смело сказала скуластая.

Я кивнул. Кивнул-таки. А не хотел ведь.

— Мы уходим, — объяснил Кротов. — Борис Антонович пришел, чтобы спасти нас от разврата. — Черные раскосые глаза уставились на меня. — Борис Антонович считает, — рапортовал Кротов с той же кривой усмешкой, — что мы ведем себя предсудительно. Оба. Ты и я. — Глаза девочки разгорелись, как раздутые угли. — Борис Антонович прочитал мне мораль за то, что я у тебя сижу. Ну пока! Мы пошли.

— Зайдешь сегодня?

— Не знаю. Забегай сама.

— Ты поел?

— Appetita нет.

— Тебя не выгнали? — Она обращалась только к нему.

— Еще нет.

Черные раскосые глаза воинственно глянули на меня.

— Вы не имеете права его увольнять!

Я встал. Каким старым я себя чувствовал! Усталым и старым.

— Не имею права?

— Да, не имеете!

— И все-таки он будет уволен, если еще раз попытается или прогуляет.

Она залилась гневным румянцем.

— Вы ничего не понимаете! Ничего!

— Возможно. С вами сойдешь с ума. Обалдеешь. Свихнешься. Меняю одного Кротова на десять Суворовых. Надоели вы мне все!

— Ничего не понимаете!

Кротов хохотал, как полоумный. Я с треском шаркнул дверью.

Он догнал меня почти сразу, пристроился сбоку. В горле у него посвистывал еле сдерживаемый смех.

— Борис Антонович!

Я шагнул.

— Борис Антонович!

Я остановился.

— Только посмей мне сказать, что я ничего не понимаю, я тебе так врежу...

— Вы ничего не понимаете!

— А ты пьяница! — заорал я. — Потенциальный алкаш! При первой трудности хватаешься за рюмку.

Вместо того чтобы писать свою паршивую повесть, шляешься по девочкам, ищешь у них утешения. О чем вы с ней толковали? О Фолкнере?

— Мы говорили о Кате.

— Врешь ты! — завопил я на всю окрестность.

Кротов согнулся от смеха. Я ему наподдал плечом, он с хохотом повалился в снег, а я пошел, трясясь, напрямик по снежным колдобинам.

Так и прибрел в редакцию, едва живой от злости. Минут через пять из своего кабинета услышал его голос. Вскоре вошла Миусова, зеленовакая, деловая, подтянутая, как струна.

— Борис Антонович...

— Ну что еще? — спросил я грубо.

— Он явился. Принес извинения Ивану Ивановичу.

— Какое событие! Об этом надо сообщить по радио! Вот приказ о выговоре. Вывесьте.

— Хорошо, Борис Антонович. Это не все. Бухарев требует вас и Кротова к себе. Звонила секретарь. Вы уже опоздали на пятнадцать минут.

— Опоздаю еще на пятнадцать. Не умрет Бухарев.

Глаза ее широко раскрылись.

— Не советую, Борис Антонович.

— Слушайте, Юлия Павловна, я не прошу у вас советов.

— Как вам угодно... — опала Миусова и направилась к двери.

Я остановил ее:

— Помните, пожалуйста, сколько лет вашим детям?

Тонкие, тщательно выписанные брови взлетели.

— Юрию двадцать, Лене семнадцать.

— Вы их понимаете?

Юлии Павловне показалось, наверное, что она ослышалась. Нет, слух ее не подвел.

— Понимаю ли я своих детей? Безусловно!

— Все их поступки?

— Безусловно, все.

— Ну, вам медаль нужно выдать за проницательность! Можете идти.

Оскорбленная, в смятении Миусова удалилась.

Я выкурил подряд две сигареты. Раздался звонок. Из приемной Бухарева настойчиво просили явиться.

ПИСЬМО КАТИ

«Сережа, милый! Ты бы знал, как я измучилась. Я думаю о тебе, думаю и больше ни о чем не могу думать. Я люблю тебя больше жизни. Знаешь, я даже ловлю себя на мысли, что стала меньше любить папу и маму. Это ужасно, но я ничего не могу с собой поделать. А мои школьные подруги стали мне почти чужими. Я перестала их понимать. Они болтают о нарядах, я слушаю и думаю: какие пустяки! Они страшны интересуются, как мы живем, ужасаются, что мы забрались в такую глушь, а я думаю: вы ничего не понимаете!

Сереженька, если наша разлука продлится долго, я умру, честное слово! Настоящего разговора дома еще не было, но он будет, и я помню все твои наставления. Мне ужасно не хочется расстраивать маму, и поэтому я мучаюсь еще больше.

Я была у тебя дома, и меня встретили замечательно. Как хорошо, когда родители без предрассудков! Твой папа просто молодец. Он был ко мне очень ласков и внимателен и советовал быть с тобой строже. Как будто я и так не строгая! А какая хорошая женщина твоя мама! Ведь я ее, по существу, не знаю, а она приняла меня, как родного человека. И главное, она не считает, что я задурела тебе голову



и сгубила твою жизнь. Ты должен очень любить своих родителей. Родителей, говорят, не выбирают, а если бы и выбирали, то лучше бы ты все равно не выбрал.

А ты меня еще любишь? Часто меня вспоминаешь? Сколько раз в день? Один или два? Я тебя вспоминаю каждую секунду. Наверно, ты меня заколдовал или загипнотизировал, а бороться с колдовством и гипнозом бесполезно. Я и не хочу! Я все больше и больше тебя люблю. Я хочу расцеловать каждую твою клеточку, мой славный, милый, любимый, золотой мой муж! Наконец-то я перестала этого слова стыдиться. Ты мой муж, и если ты вдруг исчезнешь, то сразу исчезну и я. Без тебя мне не надо ни ребенка, ни Москвы, ни солнца — ничего!

Ну вот, меня мама зовет. А я ничего не успела написать. Мама в самом деле очень больна, хотя находится не в больнице, а дома. У нее глубокое нервное расстройство.

Сореженька, милый, до свидания! Пожалуйста, пожалуйста, хорошенько ешь. Ты ведь можешь все есть, не то что я — одно соленое. Видишь, какие глупости я пишу? Не то, что Патрик Кемпбел Бернardu Шоу. Но ведь они, кажется, по-настоящему не любили друг друга?

Целую, целую, целую, целую, целую.
ТВОЯ КАТЯ.

Передай от меня привет Тоне. То, что она просила, я купила».

II

В конце ноября я улетел в командировку. Сначала побывал в Красноярске, а затем дела привели меня в Москву. Хлопот и беготни по этажам Всесоюзного комитета было много. Я кланчил аппаратуру, подписывал всякие бумажки, уточнял сетку вещания, знакомился с редакциями. После трех лет безвыездного сидения в нашем тихом округе Москва ошеломила и подавила меня. К вечеру я без ног валился на гостиничную кровать и засыпал. Но однажды выдалось свободное время, я позвонил в справочную и узнал номер квартирного телефона Наумовых. На звонок ответил мужской голос. Я попросил пригласить Катю.

— Кто ее спрашивает?

Пришлось представиться.

— Одну минуту! — сказал мужчина и пропал.

После небольшой паузы в трубке раздался приятный женский голос:

— Борис Антонович?

Это была не Катя, а ее мать, Вера Александровна. Она выразила живейшее удовольствие, что говорит со мной, заинтересовалась, где я остановился, и трагическим тоном сообщила, что Катерина четыре дня назад уехала... Я справился о здоровье Веры Александровны и услышал, что «до поправки еще далеко». Собственно, говорить больше было не о чем.

— Если вы располагаете свободным временем, мы с мужем будем очень рады видеть вас сейчас у себя.

Я выразил сомнение, удобно ли это, ведь до правки еще далеко... Вера Александровна заверила меня, что вполне удобно, чувствует она себя сегодня сносно, они много слышали обо мне от Кати и давно хотели познакомиться.

— Муж будет у вас через полчаса на своей машине. Вы не имеете права отказываться, Борис Антонович.

Точно через тридцать минут в мой номер раздался стук. На пороге стоял сухощавый щеголеватый мужчина в коричневой дубленке с темными отворотами.

— Борис Антонович?

— Да, это я.

— Алексей Викторович Наумов.

Мы пожали друг другу руки.

— Вера Александровна вас ждет.

Он сказал это так, как будто сам был всего лишь шофером Веры Александровны.

Наумова нельзя было назвать разговорчивым человеком. Пока мы пробрались на его «Москвиче» среди блестящего вечернего потока машин (как будто рыба шла на икромет), он обмолвился лишь парой ничего не значащих фраз.

— Транспорта становится все больше, — заметил он. И еще через несколько светофоров: — Давно вы в Москве?

— Пять дней.

Остальное время мы проехали молча. Наумов хорошо вел машину, действительно, как заправский шофер. Я с любопытством поглядывал на его точеный профиль. В своей модной дубленке, такой же шапке с козырьком он выглядел очень молодо. Чем-то он напоминал изящную фигурку из кости, отполированную, покрытую лаком. Увы, я признавал, что рядом с ним неказист и провинциален.

Мы подъехали к высокому зданию. Алексей Викторович поставил машину на стоянку, закрыл дверцы на ключ, и мы вошли в просторный вестибюль. В лифте Наумов кашлянул и обронил:

— Вера Александровна больна.

— Я знаю.

— Волнение ей противопоказано.

Я вопросительно посмотрел на него. Наумов ничего не пояснил, точно этими фразами его полномочия на беседу со мной исчерпывались.

Мы вышли из лифта на площадке восьмого этажа. Наумов открыл дверь своим ключом и пропустил меня в прихожую. Вошел следом и негромко позвал:

— Вера! Мы приехали.

Раздались легкие шаги. Из глубины большой квартиры появилась высокая, очень представительная и красивая женщина. На бледном лице играла приветливая улыбка. Она протянула мне руку.

— Очень рада. Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали. Алексей, дай, пожалуйста, Борису Антоновичу свои шлепанцы. Надеюсь, мой муж хорошо вас довез?

Я сказал, что доехали мы прекрасно, но мне не совсем удобно...

— Пустяки, — сказала Наумова. — Мы вам очень рады. Проходите, пожалуйста. Алексей, ты наконец нашел шлепанцы? Вечно одна и та же история. Мой муж сейчас за домохозяйку, но от мужчин трудно ждать порядка, вы согласны?

— Да, пожалуй...

Алексей Викторович принес замечательные шлепанцы. Вера Александровна провела меня в просторную, с широкими окнами комнату. Посредине стоял, освещивая хрусталем, уже накрытый к ужину стол. Пол был застелен пушистым ковром. Еще один ковер покрывал стену и спускался на низкую

софу с подушками. Вся мебель была коричневого мягкого цвета. Презосходная это была комната!

На пианино стояла большая фотография Кати. Закинув голову, щурясь от солнца, Катя смеялась. Мне стало уютней.

Вера Александровна предложила сразу, без церемоний садиться за стол. Она расположилась напротив меня, спиной к окну и внимательно оглядела сервировку.

— Надеюсь, вы нас извините за скромный ужин. Из-за болезни я не имею возможности ходить по магазинам.

Я сказал, что она напрасно беспокоится.

— Олениной мы вас не можем угостить, к сожалению, — с улыбкой заметила хозяйка.

Алексей Викторович внес салатницу. Вера Александровна и ему предложила садиться. Он кивнул, сел с очень серьезным лицом и начал тщательно приспосабливать на груди салфетку.

— Разливай, пожалуйста, — с некоторым нетерпением сказала Вера Александровна.

— Одну секунду, Вера, я кое-что забыл.

Наумов с салфеткой на груди удалился на кухню. Вера Александровна проводила его улыбкой, рука ее легонько постукивала вилкой по тарелке.

— Давно в Москве? — спросила она после паузы.

— Пять дней.

— И не позвонили нам раньше? Почему, Борис Антонович? Вы могли прекрасно устроиться у нас.

— Ну что вы, Вера Александровна! Зачем вас стеснять? Мне хорошо в гостинице.

— Надеюсь, вам дали отдельный номер?

— На двоих, но очень хороший.

— Вы могли бы позвонить, и Алексей Викторович устроил бы вам отдельный номер. У него есть связи в гостиничном мире.

— У Алексея Викторовича и без меня, наверно, много забот.

— Пустяки. Он бы сделал все, что нужно. Вы напрасно поскромничали. Нужно было без церемоний позвонить.

Алексей Викторович внес судок с приправой, уселся, поправил салфетку на груди и наполнил рюмки коньяком. Вера Александровна предложила выпить за знакомство. Рюмки зазвенели.

— Пододвинь Борису Антоновичу заливное. Пожалуйста, ешьте без церемоний.

В этом доме, кажется, ненавидели церемонии. Не оттого ли я чувствовал себя стесненно?

Несколько секунд мы молча позвякивали вилками. В открытую форточку долетал шум вечерней улицы. Алексей Викторович кашлянул, он чуть не подавился кусочком хлеба. Вера Александровна строго взглянула на него, затем улыбнулась мне, как бы извиняясь за мужа.

— Расскажите, пожалуйста, Борис Антонович, о вашем городе. Нам будет интересно послушать.

— Да что ж рассказывать, Вера Александровна? Это даже не город, а маленький поселок на три тысячи человек. В одном вашем доме, может быть, наберется столько же. Катя вам, наверно, рассказывала.

— Да, она нам рассказывала, но из ее рассказа мы только и смогли понять, что на земном шаре нет места лучше, чем ваш поселок. Ей нельзя верить, Борис Антонович. Она говорит с чужого голоса.

— Вы имеете в виду Сергея?

Имя было названо. Красивое лицо Наумовой стало сумрачным и скорбным. Прямая спина Алексея Викторовича напряглась.

— Да, я говорю о ее так называемом муже. Вас удивляет, что я его так называю?

— Признаться, да.

— А как, скажите, пожалуйста, Борис Антонович, называть человека, который поступает безответственно, как безмозглый мальчишка? Мало того, что он увез ее в самую, извините, захудалую Тмутаракань, лишил ее возможности учиться, всякой перспектив, превратил, по существу, в домашнюю хозяйку, но еще и внушил ей, что это наилучший образ жизни? Разве я могу называть его иначе и относиться к нему с уважением?

— Пожалуй, со своей точки зрения вы правы.

— Со своей точки зрения? А вы какого мнения о нем, Борис Антонович? Вы можете говорить открыто, без церемоний.

Я задумался. Конечно, следовало ожидать именно такого разговора, когда я согласился пойти сюда.

— Сергей — человек очень сложный, Вера Александровна. Он не однозначная личность. Во всяком случае, я с вами согласен, что для семейной жизни он не вполне созрел.

Алексей Викторович наконец открыл рот.

— Вы повторяете слова моей жены, — громко сказал он.

— Да, я говорила именно так, Борис Антонович. Я сотни раз повторила это Катерине. Но она живет в каком-то тумане, не принимает реальности. Девочка она впечатлительная, а он сумел задурманить ей голову рассуждениями о своей мнимой талантливости. Он умеет, видите ли, связать пару слов на бумаге — вот его дар, на котором он рассчитывает построить свою и ее жизнь. Сколько он зарабатывает, Борис Антонович?

— Я думаю... с учетом коэффициента и гонорара... рублей двести двадцать.

На щеках Веры Александровны выступили красные пятна.

— Катерина мне лгала, что он зарабатывает триста рублей в среднем. Дело даже не в деньгах, Борис Антонович. Мы в состоянии помогать Катерине материально, если это понадобится. Алексей Викторович зарабатывает вполне достаточно. Речь идет о полнейшей бесперспективности всей их жизни.

— Я слышал, Катя собирается поступать на будущий год, на заочный. Да и Сергей, кажется, тоже.

— Какая замечательная ахинея! — воскликнула Вера Александровна. — А почему они не стали поступать в этом году, он вам объяснил?

— Хотят пожить самостоятельно.

— То же говорила нам Катерина. Он решительно закружил ей голову. Пожить самостоятельно! Вы понимаете, что это значит, Борис Антонович?

— Это, видимо, означает — пожить одним, в стороне от родителей, — сказал я как можно мягче.

— Ешьте, пожалуйста, без церемоний. Вы ничего не едите. Налей, пожалуйста, Борису Антоновичу... Какой блеф! Какие мыльные пузыри он выдает ей за смысл жизни! Борис Антонович, я вам скажу откровенно: я не узнаю Катерину. Она всегда была благообразной девочкой. Не хочу ее хвалить, но у нее всегда было достаточно здравого смысла. Она прекрасно училась в школе, имела реальные шансы с моей помощью поступить в медицинский институт. И тут явился этот прожектер, белокрытый хвастунышка, беспардонный тип — и все полетело прахом!

Я промолчал, поспешно выпил налитую рюмку. Вера Александровна теребила в тонких, длинных пальцах салфетку.

— Скажу вам откровенно, Борис Антонович. Я вызвала сюда Катерину не только из-за своей болезни, хотя я действительно больна, у меня нервное истощение... Я рассчитывала уговорить ее остаться дома. Мы ничего не могли поделать в августе, когда возник вопрос о загсе. Я поставила перед Катериной

вопрос об аборте, но она чуть на себя руки не наложила. Мы вынуждены были согласиться на этот дикий, нелепый брак. Но сейчас, когда она хлебнула семейной жизни в периферийном захолустье! Я рассчитывала уговорить ее остаться дома. Я убеждала, что этот брак не принесет ей счастья, советовала подать на развод, да, да, на развод! Лучшее развед, чем такая жизнь. Она в конце концов еще может составить себе неплохую партию, даже с ребенком на руках. У нее все впереди! И что вы думаете? Она смотрела на меня пустыми глазами и качала головой. Она не может освободиться от своей эфемерной любви!

Вера Александровна скомкала салфетку и поднесла ее ко рту. Алексей Викторович тревожно посмотрел на нее. Наступило тягостное молчание. Я покосился на солнечную фотографию Кати.

— Она испортила себе жизнь, — горько заключила Наумова.

Глаза ее заплыли слезами, она порывисто поднялась и вышла из комнаты.

Наумов наполнил рюмки, и мы молча, словно в трауре, выпили.

— Извините мою жену. Она очень расстроена. Мы возлагали на Катерину большие надежды. Еще не все было потеряно. Перед ее приездом я навел справки, поговорил с нужными людьми. Развод можно было оформить легко, в несколько дней.

Это прозвучало как-то очень сокровенно, как будто я был членом семьи. Мне стало не по себе.

— А разве Катя допускала возможность развода?

— Мы допускали возможность развода. Мы! Все равно он когда-нибудь произойдет. Такие связи не бывают длительными.

Внезапно Наумов стукнул маленьким кулаком об стол.

— Вы понимаете современную молодежь? Понимаете, чего они хотят? — Я молчал. — Они бесятся от жира. Акселерация! Чушь! Вместо высоких чувств им нужен суррогат любви. Классическую литературу они подменили шизофреническими изысками. Культура позедения для них тождественна снобизму. Они поклоняются своим битникам, молятся на мотоциклы, на гитары со шнурками. Чо для них семейный очаг, положение в обществе, материальная обеспеченность! Им нужно потуже натянуть джинсы на зады и поорать около костра с полелкой. Служебная карьера для них ругательное слово. Им нужно совокупляться, как обезьянам!

Он еще раз ударил сухим кулачком по столу. Вошла Вера Александровна. Наумов тут же встал и удалился на кухню. Вера Александровна села на свое место. Лоб и щеки у нее были припудрены, глаза слегка покраснели.

— Извините, Борис Антонович, меня и моего мужа. Дочь выбила нас из колеи. Скажите, пожалуйста, откровенно: чем мы можем быть вам полезны?

Такого вопроса я ожидал меньше всего...

— Помилуйте, Вера Александровна! Что вы имеете в виду?

— Вы много сделали для Катерины. Хотя она нас глубоко оскорбила, мы с мужем ценим ваше участие в ее судьбе. Скажите, она имеет возможность получить квартиру?

— До весны или лета вряд ли.

— Нельзя ли это как-то ускорить?

— Боюсь, что нет. Кооперативных домов у нас не строят. Поселок мал, строительство ведется слабо.

— Как же ей быть, Борис Антонович?

— Ждать, Вера Александровна.

Наумов внес блюдо, прикрытое крышкой. Жена искося взглянула на него.

— Я слышала, у вас есть дочь?
— Да, и всего на два года моложе вашей Кати. А ростом чуть не с меня.
Наумова вежливо улыбнулась.
— Взрослая девочка. Она, вероятно, после школы будет поступать в институт?

— Боюсь загадывать, Вера Александровна. Так планируется, но...— Я развел руками.

Супругам моя легкомысленность, кажется, не пришлась по вкусу.

— Вы не надеетесь на свою дочь? — спросила Наумова.

— С некоторых пор я стал фаталистом.

— Вы можете рассчитывать на нашу помощь, если ваша дочь будет поступать в Москве. У Алексея Викторовича есть знакомства в институтской среде.

От жаркого я отказался. Вера Александровна настаивала, я остался тверд. Она предложила кофе. Я отказался от кофе, посмотрел на часы и заспешил. Она пригласила меня посмотреть домашнюю библиотеку. Я сослался на деловое свидание. Вера Александровна заверила, что ее муж довезет меня. Поблагодарив, я сказал, что с удовольствием пройду пешком. Она отступилась с чувством досады.

Оба вышли в прихожую проводить меня. Прощаясь, Наумов коротко поклонился. Вера Александровна протянула руку.

— Я рассчитываю, что в следующий свой приезд в Москву вы обязательно к нам зайдете. Наш дом открыт для вас.

— Спасибо.

— Передайте, пожалуйста, Катерине, что мы всегда готовы принять ее.

— Хорошо, я скажу.

— Мы рассчитываем на ваше содействие...

Этой слегка загадочной фразой аудиенция была закончена.

Вечерняя столица, осыпанная снежком, шумела ровно и неумолчно, как тайга. На ближайшей скамейке я выкурил сигарету.

12

В Москве я пробыл еще пять дней. Результаты хлопот были довольно утешительные. Технический отдел комитета обязался поставить нам три новых стационарных магнитофона, венгерский пульт и выдать два портативных «Репортера». Главная бухгалтерия, смилостивившись, увеличила годовую сумму расходов на командировки, а редакция местного вещания пересмотрела сетку наших программ.

Перед отъездом мне понадобились деньги; я заказал междугородный разговор. Бухгалтерия не ответила, Миусовой на месте не оказалось, трубку поднял Суворов. Не очень любезным тоном он обещал передать мою просьбу Клавдии Ильиничне, старшему бухгалтеру. Я поинтересовался новостями в редакции. Иван Иванович сварливо отвечал, что новости у них одни и те же — каждый день сдавать материалы для эфира, пока начальство прогуливает казенные деньги. Я спросил, все ли в порядке. Суворов сказал, что Катю Кротову положили в больницу.

— Что с ней?

— Что с ней такое, не знаю, не врач, а если людей послушать, то на почве беременности.

— Кротов в редакции?

— Шляется где-то, — пробурчал Суворов.

— Как он? Номеров больше не выкидывает?

Через расстояние в четыре тысячи километров я как будто увидел ироническую ухмылку Ивана Ивановича.

— Разве сами не знаете... У него вся жизнь — цирковой номер, — проворчал старик.

В этот же день под вечер я позвонил Наумовым. Ответила Вера Александровна. Она удивилась, что я еще в Москве. Не вдаваясь в объяснения, я спросил, известно ли ей, что Катя в больнице. Наумова ничего не знала.

Вера Александровна, кажется, растерялась. В трубке слышалось ее короткое учащенное дыхание. Помедлив, я сказал, что, вероятно, целесообразно ей лично позвонить в окружную больницу и проконсультироваться с врачами. Я назвал ей фамилию Савостина — главного врача и дал номер его телефона.

— Да, да, я так и сделаю. Благодарю вас. Этого следовало ожидать.

— Что следовало ожидать? — не понял я.

— Преждевременное замужество, сумасбродство, беременность, а теперь болезнь... все одно к одному.

Я выразил надежду, что все обойдется. Вера Александровна задыхалась еще чаще. Тогда я спросил домашний адрес Кротовых. В трубке стало тихо. И молчание было долгим. Наконец, раздался ровный голос Наумовой:

— Вы хотите к ним зайти?

— Да, у меня есть поручение. — Я покривил душой.

— От него?

Имя Кротова было в ее устах запретным, как бранное слово.

Я записал адрес, который продиктовала Наумова, и поблагодарил:

— Спасибо.

— Спасибо, что позвонили, — сказала Вера Александровна.

Ее глубокий грудной голос прозвучал отчужденно.

Так я попал к родителям Сергея Кротова.

Зачем я пришел сюда? Кто меня просил об этом? Почему я принимал так близко к сердцу все, что было связано с Катей и Сергеем? Почему в отлучке, в Москве, я вспоминал о них так же часто, как о своей семье? Да кто они такие, в самом деле, эти Сергей и Катя, Катя и Сергей, что от их поспешных шагов дрожит земля и устоявшаяся жизнь расшатывается и колеблется? Что они воображают о себе! Кто им позволил врываться к нам, взрослым людям, которые уже задумываются о смерти, и саднить нам душу, и заставлять терзаться о прожитом?

Открыла мне женщина-невеличка в шали, накинутой на плечи. За ее спиной стоял худущий, постаревший, седоволосый Сергей Кротов.

— Анна Петровна? Леонид Иванович?

Женщина заморгала кроткими, слегка испуганными глазами и оглянулась на мужа.

Я назвал себя. Борис Антонович Воронин, приезжий человек, коллега Сергея.

— Входите, входите, пожалуйста! — певучим голосом заговорила маленькая женщина.

— Милости просим... раздевайтесь! — пробасил постаревший Сергей Кротов.

Анна Петровна вторила:

— Входите, входите! Вот сюда, в комнату. Отец, миглом беги в магазин. Одна нога здесь, другая там!

— Сейчас бегу, мать.

— Да вы не беспокойтесь!

— Как же не беспокоиться? Вы же с дороги. Купи колбаски, ветчины, сыру, сам знаешь чего...



Леонид Иванович ухватил меня под локоть.

— Водочку пьете?

— Пью.

— А может, коньячок?

— Да нет, водка лучше.

Леонид Иванович подмигнул мне, надел длинную шубу, позвенел мелочью в кармане — и только и видели его долговязую фигуру.

— Он быстро сбегает, — заверила меня Анна Петровна.

— Зря вы это, честное слово! Я сыт. И вовсе я не с дороги. Я в Москве уже десять дней.

Но она ничего слушать не желала. Хлопоты — это не мое дело, а вот не желаю ли я сесть на диван, где помягче, не включить ли телевизор, не посмотрю ли я газеты, пока она будет возиться на кухне, курящий ли я, а если курящий, то курите на здоровье, вот пепельница... Маленькая и живая, Анна Петровна убежала на кухню, где сразу загрела посуду, а я закурил, преспокойно осмотрелся.

Нет комнат, которые не рассказывали бы своим беззвучным языком о хозяевах. Мне показалось, что я уже бывал здесь. Чем дольше я смотрел на потертый диван, полки с книгами, газетами и журналами, неброские обои, тем сильнее ощущал, что где-то и не раз все это видел... Вдруг меня осенило: я вроде бы находился в собственной квартире, чудесным образом перенесенной в Москву. В ней не хватало только выступающей из стены уродливой печки. «Здравствуйте, пожалуйста!» — сказал я вслух. Затем появились кое-какие мелкие несходства. Например, половина библиотеки была явно моя, а вторая половина чужая, подобранная любителем современного зарубежного чтения. У меня к полкам были прикреплены любительские фотографии, а тут рядом с книгами стояли занятые фигурки из дерева. Зато магнитофон был точь-в-точь как у моей дочери, раскладное кресло точь-в-точь как у меня, а швейная машинка на полу в углу такая же, как у моей жены. «Ну и ну!» — пробормотал я удивленно.

Минут через пятнадцать Анна Петровна пришла накрывать на стол и, звеня вилками, принялась расспрашивать: хорошо ли я добрался до Москвы, не качало ли в самолете, люблю ли я маринованные малята или мне больше нравятся соленые грузди?.. Тут возвратился Леонид Иванович с целым ворохом покупок, оживленный, как ребенок после прогулки. Анна Петровна опять ускользнула на кухню. Леонид Иванович снял пиджак, уселся напротив меня, закурил, оперся большими ладонями о колени, пыхнул дымом, подался вперед, сказал:

— Так. Рыбалку любите?

— Очень.

— Завтра много дел?

— Не слишком.

— Знаю один водоем, удивительные окуни. Поехали после полудня на подледный лов?

— С удовольствием.

— Снасти есть, обмундирование найду.

— Отлично.

— Анну Петровну возьмем. Заядлая рыбачка.

— Прекрасно!

Леонид Иванович воодушевленно крикнул:

— Мать, гостя уморишь! — снова ко мне: — О вас Сергей писал. Как он? Не сильно шкодит?

— Сносно.

— Не щадите его. Больно везуч. Жену нашел превосходную, работу хорошую, в интересный край попал. Слишком везуч. Здоров?

— Здоров. А вот Катя заболела.

Оживленное лицо его в крупных морщинах сразу переменилось. Он вскинул палец, приложил к губам. Шепотом:

— Что с двочкой?

Я передал содержание телефонного разговора.

— Вот несчастье! Бедная девочка. Anne пока не говорите — разволнуется. Нужно Наумовым сообщить.

— Я уже сказал.

— Жаль их. Мать ее хворает. Девочку жаль. — Он озабоченно засопел.

— А здесь Катя не болела, не знаете?

— Заходила к нам в гости, расстроена была очень. Обещала заглянуть перед отъездом, да не зашла. Позвонила из Домодедова. Кинулся на такси, хотел проводить, опоздал. Сергей ее не обижает?

Я замаялся. Леонид Иванович сразу это уловил.

— Правду говорите.

Оглянувшись на дверь, я негромко рассказал ему о последних событиях. Леонид Иванович сосредоточенно выслушал, вздернул рукой редкие волосы — знакомый жест! — ткнул папиросу в пепельницу.

— Неужели врет, что просто знакомая? Врать не уметь. Может, научился? Я ему письмо напишу, личное.

— Неплохо бы.

— Матери сам скажу. Тут скрывать нечего. Неужели на такое способен? Не верю.

Вошла Анна Петровна с подносом, уставленным тарелочками с закусками. Она сняла шаль и в сером платье выглядела еще более маленькой и хрупкой. В волосах седые пряди, около глаз морщинки, но ясность и приветливость лица молодили ее.

Вскоре сели за стол. Леонид Иванович расслабился, повеселел, стал по-хозяйски командовать бутылкой; Анна Петровна то и дело подкладывала мне закуску на тарелку; появилась жареная рыба; разговор ни на секунду не смолкал. Они расспрашивали меня о тайге, и, вдохновившись, я, как мог, поведал о древесных наших пространствах, где дымят в небо островерхие чумы, щелкают капканы и хрипнут на бегу лайки... Хозяева ахали, удивлялись, интересовались моей жизнью, и пришлось рассказать скучную свою биографию. Они обменивались взглядами, завистливо вздыхали, словно был я бог вести каким путешественником. Леонид Иванович помолодел, крупные морщины на его лбу разгладились, он стал еще больше походить на Сергея, и в какое-то мгновение мне показалось, что рядом с ним сидит Катя.

Я обратился к Anne Петровне:

— А почему вы о Сергее не спрашиваете ничего? Все время, должно быть, думаете о нем, а не спрашиваете.

Она так смутилась, что мне стало даже неудобно, словно совершил бестактность.

— Правда, Боря... — И совсем потерявшись: — ...Борис Антонович.

— Можно и Боря. Меня давно так никто не называл.

— Поймали вы меня на мысли. Думаю о нем, а спросить боюсь. Вы и без того от него устали. Лучше скажите, как Катя?

На сердце у меня стало пьяно и молодо, как в лучшие времена юности, когда невесомость поднимает тело и весь белый свет населен славными и добрыми людьми. С неожиданным подъемом я рассказал о журналистских подвигах Сергея и о том, что Катя покорила всю редакцию, даже мизантропа Ивана Ивановича Суворова взяла за живое, и выразил убеждение, что ребенок скрепит их семью и все у них будет хорошо. Глаза Анны Петровны залучились, как цветные стеклышки на солнце;

Леонид Иванович расправил плечи; я засмеялся; мы выпили с Леонидом Ивановичем по рюмке, проглотили по соленому грибку, насели на Анну Петровну и заставили ее пригубить из своей рюмки — развеселились, одним словом.

13

В начале декабря я вернулся домой. Столица наша встретила туманным, морозным небом, собачьим лаем, дымами из труб и развороченными поленищами дров вдоль заборов... Приятно было глотнуть свежего воздуха и увидеть пустынные берега реки, где снег лежал, как большой незапятнанный холст. Было полутемно, бледное солнце стояло низко и совсем не грело, деревянные мостки, как всегда, напевали под ногами. Как хорошо было войти в свою квартиру, обнять жену, подхватить дочь, кинувшуюся на шею, а затем умыться, переодеться, сесть за стол и почувствовать, что жизнь все-таки неплохая штука... Домочадцы засыпали вопросами: где побывал? Что видел? Я охотно рассказывал о своей поездке. Они взялись разбирать московские подарки, а я подошел к телефону и попросил редакцию. Было около шести вечера.

Ответила Юлия Павловна Миусова.

— Сообщите в последних известиях: Воронин прибыл, — сказал я.

— Борис Антонович! — вскричала Миусова.

— Здравствуйте, Юлия Павловна.

— Вы дома, Борис Антонович?

— Да, в кругу семьи блаженствую.

— Как я рада, что вы приехали! Вы не представляете, как я рада! — ликовала Миусова.

— Гм... — хмыкнул я недоверчиво. — В самом деле?

— Безумно рада, Борис Антонович. Я так измучилась, так измучилась! Когда вы выйдете на работу?

— Завтра, вероятно. А собственно, почему вы измучились?

— Вы еще спрашиваете, Борис Антонович! Это не работа, а сумасшедший дом. Я похудела на два килограмма.

— Черт возьми! Зачем вы это сделали?

— Вы смеетесь, Борис Антонович, а мне совсем не до шуток. Положение серьезное, Борис Антонович.

Голос Миусовой зазвенел. Я насторожился.

— Что еще? Выкладывайте.

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович. Завтра я вам все расскажу.

— Надеюсь, не Кротов?

— Он, он!

— Что опять натворил?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович, — твердила свое Миусова.

— Катя в больнице?

— В больнице, Борис Антонович. Положение серьезное, Борис Антонович.

— Да что вы кликушескуете! — рассердился я. — Говорите спокойно. Что произошло?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович, — твердила свое Миусова.

— Слушайте, Юлия Павловна, я хочу знать, в чем дело. — Она замаялась, затянула «ээ... э...». — Да никто нас не подслушивает. Никаких шпионов нет. Говорите!

— Он уволился, Борис Антонович.

Как будто выстрелили над самым ухом...

— Как уволился? Когда? Почему?

— Это не телефонный разговор, Борис Антонович.

В эту секунду мне захотелось запустить трубку так, чтобы она влетела в кабинет и треснула. Юлию Павловну по лбу, не до смерти, но увесисто.

— Ждите меня! Сейчас буду!

Кабинеты и коридоры в редакции были пусты. Сотрудники разошлись по домам, над дверью студии горело табло; там Голубев вещал в эфир.

Еще с улицы я увидел, что Миусова бежит по редакторской комнате из угла в угол. Мой приход нарушил траекторию ее метаний. Она бросилась навстречу.

— Борис Антонович, я очень сожалею, но...

— Где приказ?

Подготовленная папка лежала на столе. На последнем подшитом листке черным по белому было написано: «Освободить от занимаемой должности Кротова Сергея Леонидовича по собственному желанию, в соответствии с его заявлением».

— Как вы смели это подписать?

Миусова перепугалась. Она редко видела меня таким, а может быть, никогда. Ее лицо плаксиво сморщилось.

— А что я могла поделать, Борис Антонович! Он подал заявление и на следующий день не вышел на работу. Я должна была засчитать прогул или...

— Вы должны были дожидаться меня. Вы должны были найти с ним общий язык. Почему вы не сумели его убедить? Почему? Почему он подал заявление? Почему он ушел? Почему, я спрашиваю?

— Я не знаю, право... Возможно, собрание...

— Что? Какое собрание?

— Профсоюзное. Мы хотели обсудить его поведение. Нам стало известно, что он морально нечистоплотен. Мы хотели сделать ему предупреждение, повлиять на него.

— Мы? Кто это «мы»? С каких пор у вас появились королевские замашки? Мы, Миусова первая! Ваша инициатива?

— Да, я посчитала необходимым как профорг...

Мне стало известно из авторитетных источников, что у него незаконная связь. И это в то время, когда его жена в больнице! Как я должна была поступить? Пройти мимо этого явления? Я не объявила повестки дня, пригласила его на собрание и выложила все начистоту. Я сказала, что его поведение — это позор, аморальность. Разве я была не права? Я не хотела применять к нему никаких санкций, только пристыдить. А он... — Миусова нервно забарабанила пальцами по столу. — Он заорал, что я людоедка, пещерный человек, и хлопнул дверью перед собранием, представляете? На следующий день он принес заявление.

В упавшей тишине я мысленно считал до десяти. Успокоительная система йогов, кажется, не помогла, потому что Миусова вскрикнула:

— Что вы так смотрите? — И еще раз: — Почему вы так смотрите?

Слова выходили из меня туго, как вода из проржавевшего насоса.

— И какие же... у вас... были авторитетные источники?

— Наша уборщица и сторожиха говорили, что эта девушка засиживалась тут допоздна. Многие видели, я сама видела, как он выходил из ее дома.

— И вы... решили... устроить общественный суд?

— Борис Антонович, не могла же я спокойно смотреть, как рушится семья!

— Рушится? Больше вам ничего не приходило в голову?

— А что же еще? Незаконная связь...

— Связь? А может быть, дружба? Вам это слово известно?

— Дружба? Вы шутите!— И снова:— Что вы на меня так смотрите?!

От злости язык у меня заплетался.

— А то я на вас так смотрю... что за пять лет... не смог разглядеть до конца. Вот почему я на вас так смотрю... Любоедда вы и пещерный человек!

— Вы с ума сошли! Вы меня оскорбляете!

Страница приказа затрещала в моих руках. Я скомкал обрывки, швырнул в корзину, промахнулся, распахнул дверь и вылетел из кабинета. Диктор Голубев попался мне в коридоре, куда он вышел перекурить в музыкальную паузу после выпуска известий. Двухметровый приветливый младенец...

— Борис Антонович! Здравсьте! С приездом!

— И ты тоже был на собрании, когда разбирали Кротова? И не мог их всех разогнать? И не мог его уговорить? И идешь зубы скалишь?

— Да, Борис Антонович, дак я...

Свежий воздух остудил меня, пока через весь поселок я шагал к больнице. Ее окна уже зажглись, два ряда тусклых квадратных светляков по фасаду длинного здания. На крылечке приемного покоя курило несколько мужчин. В самом приемном покое было многолюдно: больные в серых халатах, их родственники с авоськами и сумками.

Кротовы сидели на дальнем конце длинной скамейки. На Кате был перехваченный пояском унылый халат, на босых ногах огромные шлепанцы, волосы непривычно направлены под косынку. Она что-то горячо внушала Кротову. Он слушал, опустив голову, с мрачным видом мля в руках шапку.

Я подошел и поздоровался. Ребята вскочили было, но я их усадил и сам устроился на скамейке рядышком. Помолчали, разглядывая друг друга. Катя первая неуверенно попыталась завязать разговор:

— Как съездили, Борис Антонович?

— Спасибо, неплохо. Привет вам обоим от родителей. Познакомился с ними без вашего позволения.

Кротов пристально, исподлобья уставился на меня. Катя, как всегда в трудных случаях, закусила губу.

— Привез вам от них вкусные гостинцы. Интересно?

Но и этим расшевелить их не удалось. Видно было, что им сейчас не до подарков.

— Что ж вы, Катя, вздумали болеть? Без разрешения начальства... Нехорошо...

Она сразу занервничала, точно я сделал ей официальный выговор.

— Борис Антонович, как я хочу выписаться! Помогите, пожалуйста. У вас врачи знакомые.

— Не вздумайте! — враждебно предупредил Кротов.

— Сережа, как ты можешь? Тебя бы сюда!

— А что с вами, Катя?

— Я лежу на сохранении, Борис Антонович. Мне здесь хуже, чем в тюрьме.

— Ну-ну, не преувеличивайте. Поправляйтесь быстрее, и заключение ваше кончится. Как сейчас самочувствие?

— Хорошее. Я всем говорю, что хорошее. А они как будто сговорились, никто не верит. Полежи да полежи! Как они не понимают, что мне сейчас не до лечения!

— Полежи! — настойчиво сказал Кротов.

— Видите, он тоже заодно с ними! Никто ничего не понимает. Какие-то все тупые! Так бы и взорвала эту больницу! — вспыхнула она, сжав кулачки, но тут же сникла. — Извините... Я такая раздражительная стала.

— Это в порядке вещей, — попытался я ее ободрить. — Ешьте получше, слушайтесь врачей, и все будет в порядке. Имейте в виду, фонотека без вас скучает, — напомнил я, вставая.

Оба наблюдали, как я застегиваю пальто, надеваю шапку и перчатки. Я медлил. Из больничного коридора в приемный покой вышла молоденькая медсестра в белом халате. Я узнал Тоню Салаткину. Увидев меня, девушка замешкалась. На ее миловидном скуластом лице отразилось колебание: подойти или нет? Решительность взяла верх; Салаткина приблизилась к нам.

— Катюша, нельзя сидеть так долго. Здесь сквозняк.

Ее быстрый взгляд в мою сторону означал, что она не одобряет моего присутствия. Я мешал ей проявить в полной мере ту материнскую опеку, которую она установила над Кротовыми. Мелькнула мысль, что Тоня Салаткина, пожалуй, уже давно ревнует меня к Сергею и Кате, претендуя на единственную дружбу с ними...

— Сейчас, сейчас... — жалобно-просяще откликнулась Катя.

Тоня осуждающе покачала головой и ушла, четко стуча каблучками.

— Вот еще что, — сказал я таким тоном, словно речь шла о пустяке. — Будешь возвращаться из больницы, Сергей, загляни ко мне домой.

Он словно ждал этого, сразу весь подобрался.

— Зачем?

— Есть разговор.

— Какой разговор?

— Конфиденциальный, — буркнул я.

Но и это словечко не согнало с его лица застывшего упрямства.

— Если насчет работы, говорите здесь. Катя все знает.

В подтверждение его слов она торопливо, с потерянными кивнула.

— Раз так, — подвел я черту, — можешь не приходить. Завтра жду тебя в редакции, как обычно.

— Я уволился.

— Знаю. Приказ о твоём увольнении аннулирован. Считай, что его не было. Забудь о нём.

Кротов сильно побледнел. Я уже давно заметил, как странно быстро может меняться его лицо. Сейчас даже губы побелели и крылья носа. Катя схватила его за руки.

— Сережа!

— Подожди... — вымолвил он, не спуская с меня глаз. — Я подал заявление, а вы говорите, его не было. Я уволился, а вы говорите: забудь. Кто я, по-вашему? Марионетка, да?

Две женщины, сидевшие рядом, прервали разговор и с жадным любопытством оглянулись в нашу сторону. Я встал так, что заслонил от них спиной Сергея и Катю.

— Миусова не имела права тебя увольнять. Она превысила свои полномочия.

— А мне плевать! Я без приказа уйду.

— Не дури. Это — мальчишество. Катя, вы знаете, из-за чего разгорелся весь сыр-бор?

Она продолжала сжимать его руки. Бледное, нездоровое лицо страдальчески исказилось.

— Сережа мне все сказал. Это такая глупость!

— Правильно, Катя, глупость. У взрослых людей иногда бывает испорченное воображение. Я тоже не исключение. Над этой историей надо смеяться. Хохо-хотать. Нечего беситься, Сергей.

Я обернулся к двум женщинам, которые выглядывали из-за моей спины с разинутыми ртами... — Вам очень интересно?

Они снялись с места; я присел на скамейку.
— Слушай, Сергей, повоевали и хватит. Не валяй дурака, выходи завтра на работу.

— Я валяю дурака, да?

— О черт! Катя, скажите ему.

— Я не знаю, что сказать, Борис Антонович.

— Как не знаете? По-вашему, он поступает разумно?

— Сережа сам должен решать, — твердо сказала Катя.

Смешавшись, я чуть было не закурил, уже даже пачку вытащил — это в больнице-то! Но вовремя опомнился. Они сидели, держась за руки, очень взволнованные, нерасторжимые, как сиамские близнецы. Дверь приемного покоя хлопала, впуская и выпуская посетителей.

— Вот что я скажу вам, ребята. Вспомните песенку: на каждого умного по дураку, все поровну, все справедливо. С глупостью нужно бороться, а не бежать от нее. Сам посуди, Сергей. Если уж дело в Юлии Павловне...

— Дело в принципе! — оборвал он.

— Что за принцип?

— Объяснять надо?

— Пожалуй.

— Я не могу работать, когда обо мне сплетничают.

— Черт возьми! Так ты, пожалуй, всю жизнь будешь безработным.

— Пусть! И хватит об этом. Я решил.

— И это принцип? — усомнился я. — Нет, это упрямство, помноженное на самолюбие. А ты подумал о Кате? Она больна. На что вы будете жить?

— Мне ничего не надо! — так и подалась вперед Катя.

Он обнял ее за плечи.

— Не бойся, я найду работу.

— Я не боюсь, Сережа.

Оба забыли обо мне. Я почувствовал себя совершенно лишним, каким-то инородным телом в их отношениях, какой-то опухолью... Я встал. Следом поспешно поднялась Катя, запахнув халатик на груди, и потянула за руку Сергея.

— Большое спасибо, что зашли, Борис Антонович, — поблагодарила она.

— Выздоровливайте, — пожелал я.

— Старики... — неожиданно мирным тоном заговорил Кротов. — Как они там?

— Старики? Не знаю никаких стариков.

— Здоровы?

— Все в порядке. Скоро получишь письмо. А вам, Катя, мать должна позвонить.

Мы попрощались. Напоследок я не утерпел и сказал:

— Подумай еще, Сергей. Если захочешь вернуться, редакция для тебя всегда открыта. Я тебя жду. Учти это.

— Учту, — ответил он.

Прошел день, два, три... Кротов не пришел.

ративный материал с телетайпа, которого в радиодоме нет; но тесного сотрудничества почему-то не получается. Может быть, потому, что у газеты своя специфика.

В десятом часу утра, в будний день я без предупреждения появился в кабинете Панковой. Перед Елизаветой Дмитриевной лежала стопка конвертов с пометкой «ТАСС» — свежая почта, прибывшая вечерним самолетом.

Я не подготовил отвлекающего маневра и чувствовал себя не совсем уютно под внимательным, изучающим взглядом Панковой. В чужих кабинетах я теряюсь, ощущая скованность и неловкость, и поэтому, наверно, хорошо понимаю людей, которые робеют в моем кабинете... Сначала мы погоеорили о делах на промысле и в оленеводстве, обсудили — довольно вяло, впрочем, — слухи о предстоящем повышении заработной платы журналистской братии. Я попросил разрешения закурить. Панкова пожала прямыми плечами: пожалуйста.

— Как у вас со штатом, Елизавета Дмитриевна?

— Что вы имеете в виду?

— В работах нуждается?

— Как всегда. Сами знаете.

— Да, знаю. Люди к нам едут не очень охотно.

— К сожалению.

Мы помолчали. На строгом, серьезном лице Панковой мелькнуло нетерпение.

— Борис Антонович, говорите, пожалуйста, в чем дело. Не хитрите. У вас это не получается.

Мне стало неудобно; я занервничал, словно пойманный с поличным на вранье...

— Дело не совсем обычное... Да что уж там! Совсем необычное. Хочу вам порекомендовать одного отменного парня, журналиста.

— Интересно.

— Вы, конечно, спросите, почему я его рекомендую вам, а сам не беру.

— Конечно, спрошу.

— Журналист по всем статьям отличный. Можете мне поверить. Специального образования у него нет, но вам ведь не диплом нужен, а пишущее перо.

— Правильно.

— Восемнадцать лет, — я прибавил Сергею год. — Оперативный, как черт. В ладах со всеми жанрами.

— И фамилия этого вундеркинда, если не ошибаюсь, Кротов? — сказала Панкова. — А зовут его... дай бог памяти... или Виталий или Юрий?

— Сергей.

— Да, да, Сергей. И у него есть миловидная жена или подруга... Соня?

— Катя. Жена.

— Да, Катя, правильно. И всех людей старше двадцати лет он считает консерваторами? А меня старой девой?

— Гм...

— У вас он не сработался. Вы его уволили, а теперь решили подсунуть мне. Как видите, я в курсе дела. У нас в поселке трудно что-либо скрыть.

— Что верно, то верно.

— К тому же, кажется, у него какие-то амурные дела... Так говорят.

— Это неправда, болтовня! Мальчишка горяч, неосторожен, только и всего.

— Предположим. Что дальше?

— Послушайте, Елизавета Дмитриевна! Вы в своем кресле уже пятнадцать лет сидите. Припомните, сколько за это время через ваши руки прошло бездарей, недотеп, подонков настоящих, случайных людей, подвизающихся в нашем деле!

— Я такой статистики не веду.

— И со всеми с ними вы так или иначе возились, нянчились, тратили на них время и нервы, проща-

14

В нашем округе три раза в неделю выходит газета «Огни тайги». Редактирует ее Елизавета Дмитриевна Панкова, пятидесятилетняя, редко улыбающаяся женщина. Я встречаюсь с ней на заседаниях и совещаниях; случается, мы разговариваем по телефону, когда нужно дать в эфир опе-

ли их, пытались спасти, выручить. Это обычная участь редакторов. Так неужели нельзя рискнуть ради действительно талантливого человека? Работать с ним нелегко, но если его понять... Он не пуст, у него есть характер, мысли.

— Вы, кажется, от него без ума,— сухо заметила Панкова.

— Да нет! Он мне просто интересен. Знаете, что я вам скажу? Я ему, пожалуй, даже завидую.

Панкова откинулась на спинку стула.

— Не понимаю.

— А вы поработайте с ним и поймете! Он флюиды свежести излучает, честное слово!

— Это звучит инфантильно,— сказала Панкова.

Я осекся. Сразу стало грустно. Сигарета погасла.

— Мне все-таки неясно, почему вы уволили такого ценного работника?— прервала паузу Панкова.

Очень сжато я рассказал историю Кротова.

— И чем он теперь занимается?— спросила она.

— Ничем. А жена в больнице.

— Что с ней?

Я сказал, что с Катей.

Панкова задумалась, повертела в руках толстый конверт с броской надписью «Правительственная. ТАСС».

— А почему бы им не вернуться в Москву к родителям?

— Исключено. У ребят свои принципы.

Она надорвала конверт, и оттуда посыпались на стол тоненькие полоски клише.

— Хорошо, пускай ко мне пойдет. Я ничего не обещаю. Пускай пойдет, поговорим.

Сигарета в моей руке разгорелась сама собой.

— Спасибо, Елизавета Дмитриевна!

— За что?

— Кто знает, не исключено, что отечественная литература вам тоже когда-нибудь скажет спасибо. Ведь этот Кротов пишет тайком роман.

Она вздохнула. Это был вздох усталой женщины. — А вы действительно ребячливы. Странно. Раньше я этого не замечала.

Деревянные тротуары скрипели под ногами. Воздух был жгучий, хватающий при каждом вздохе за горло. На вымороженной улице ни одной живой души. Протащился вдалеке трактор с санями, словно какой-то мастодонт, разбуженный от спячки. Дымы из труб тянулись в небо, как тонкие нити жизни... Почему я живу здесь? Что связывает меня с этой землей, где и похоронить человека зимой нельзя без аммонала? Отточенный штык лопаты отскакивает от мерзлоты, выстрел звучит сухо, как кашель чахоточного, тишина, анабисз, ладони простираются над пламенем костра... А мне срок два. Если сбросить двадцать, поехал бы я сюда? О, как бы я цеплялся за каждый день, за миг мимолетный, дрожал бы, как скупец, над махонькой секундой! Как широко бы я шагал! Как ослепительно мыслил! Как ни одной поблажки не сделал бы своей совести! Как жил бы!

Главный редактор, вы инфантильны.

15

Кротов в полушубке сидел на корточках перед печкой и подбрасывал в нее поленья. В комнате было холодно; стекла покрылись льдом. Из рта Кротова вырывались клубы пара.

— Ты здесь околеешь, чего доброго,— сказал я вместо приветствия.

Он поднял сумрачное, невыспавшееся лицо.

— Здравствуйте.

— Здравствуй. Говорю, околеешь здесь. Или воспаление легких получишь.

— Я морозостойкий.

— Редакционные дрова бережешь? Напрасно. То-пи — не стесняйся.

— Спасибо. Теперь все сожгу.

Я огляделся. Вид у комнаты был запущенный, не-жилой.

— Порядок у тебя здесь, как при эвакуации. Ты бы хоть прибрал, подмел бы.

— А чем так плохо?

— Катя вернется, расстроится.

Он кинул полешко в печку.

— Катя не скоро вернется.

— Не каркай. Чем занимаешься?

— Видите, топлю.

— Вижу, что топишь. У тебя деньги есть?

Еще полешко полетело в печку...

— Деньгами надо топить?— последовал вопрос.

— Так уж и деньгами... Нашелся Ротшильд! Карикатуру видел: один тип сидит за столиком в ресторане и прикуривает сигару от долларовой купюры. А девица за столиком говорит ему: «Если вы хотите произвести на меня впечатление, прикуривайте от другой валюты».

— Ясно. Девальвация.

— Ты что, юмор разучился понимать?

— Почему же... Я смеюсь. Ха-ха.

— Ну, ладно. Есть в самом деле деньги?

— Я расчет получил. Отвалили полный карман.

— Кончатся — скажи. Без церемоний, как говорит одна наша общая знакомая. А теперь брось эти палки. Поговорить надо.

Он всунул в печку еще одно полешко.

— Опять говорить... Когда вы только работаете?.. Все со мной говорите.

— Не твое дело, умник. У меня новости хорошие.

Он впихнул последнее полешко, прикрыл дверцу. Разогнулся, встал. Лицо хмурое, помятое.

— Стул бы хоть предложил главному редактору. Ни черта у тебя такта нет.

— Вот, садитесь...

— То-то. А новости такие. Внимай! Елизавета Дмитриевна Панкова, редактор наших «Огней тайги»... Помнишь такую? — Он молчал. — Так вот, она не прочь поговорить с тобой насчет работы. Помой физиономию, оденется, как приличный человек, и отправляйся к ней. Чем быстрее, тем лучше, ясно?

Поленья в печке затрещали, схватились пламенем. Кротов, засунув руки в карманы распахнутого полушубка, смотрел куда-то мимо моего плеча.

— Не пойду я к вашей Панковой.

— Это еще почему?

— Не пойду — и все. Зря старались, хлопотали.

— Кто тебе сказал, что я хлопотал? Она сама мне позвонила. Узнала, что ты не у дел, и позвонила. Видимо, слушала твои материалы, поняла, что ты умеешь мало-мальски писать. А у нее вакансия.

Он скрестил руки на груди. Наполеон, да и только!

— Не пойду я к ней. И знаете что: не хлопочи-те зз моря.

Я почувствовал, что выдохся; выдохся, как тот бегун Высоцкого, который «на десять тысяч рванул, как на пятьсот, и спекся».

«Послушай, приятель!» — взмолился я мысленно. Нет, не так. «Послушай, Сережа, дружисе...» И не так даже. «Послушай, сукин ты сын, что же ты со мной делаешь!»

— Я на работу уже устроился.

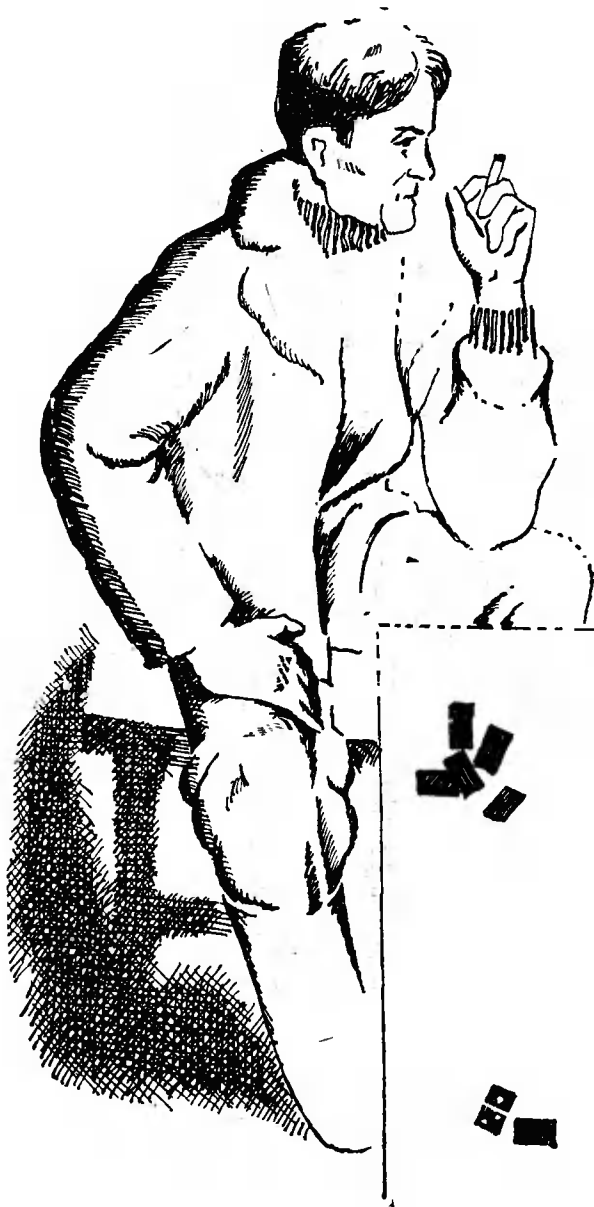
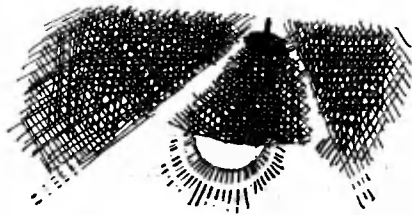
— А?

— Завтра выхожу.
 — Куда?
 — Истопником в котельную.
 Я повторил, как маленькое эхо: истопником в котельную. И засмеялся. Давно я так не смеялся над самим собой... И давно не закуривал с такой жаждой. Чуть не полсигареты за одну затажку.
 — Так, понятно. А журналистику, выходит, побойку?
 — Она от меня не сбежит.
 — А Катя? Катя знает?
 — Нет еще. Скажу.
 — Думаешь, одобрит?
 — Уверен.
 — Одобрит, одобрит, Катя одобрит! Она за тебя, психа, горой стоит. А почему истопником в котельную? Почему не кассиром в баню? Почему не служителем в морг? Почему не кучером на ту кобылу, что воду развозит?
 — Мне деньги нужны. Там платят хорошо. Поработаю временно. А потом видно будет.
 — Сережа, — сказал я. — Ты мне нравишься.
 — Ирония?
 — Ты мне нравишься, Сережа, честное слово. Но не вздумай в ближайшие дни попадаться мне на дороге. А то я тебя пристукну, Сережа.
 Я встал, поплелся к двери.
 — Кстати, Борис Антонович, — проводил меня его голос, — в вашем доме тоже паровое отопление. Учитите!
 — Спаси нас господи и помилуй... — пробормотал я уже на пороге.
 Елизавета Дмитриевна Панкова не удивилась моему сообщению.
 — Я почему-то так и думала, что он не придет.
 — Вам повезло, — искренне сказал я.
 ...Во второй половине дня ко мне в кабинет зашла бухгалтер Клавдия Ильинична. Она с озабоченным видом присела на краешек стула и положила мне на стол несколько листов.
 — Гонорарные ведомости, Борис Антонович.
 — Вижу. Что-нибудь не так?
 — Да понимаете... — замялась старушка. — Кротов отказался получать гонорар.
 — Это что за новости?
 — По ведомостям за ноябрь вы ему начислили семьдесят рублей сорок шесть копеек. Он не берет.
 — Как? Почему?
 — Считает, что вы неправильно сделали разметку.
 — А, вот что! Мало ему?
 — Много, Борис Антонович.
 — Много? — опешил я.
 Вместо ответа она взяла в руки листки.
 — Вот посмотрите. Здесь вы поставили тринадцатый параграф и оценили материал как репортаж. А он утверждает, что это обычный отчет и стоит дешево. Вот здесь четырнадцатый параграф, очерк. А он доказывает, что по жанру это зарисовка. Соответственно меньше гонорар. Здесь вы оцениваете его информации, а он говорит, хроника. Всего на сорок пять рублей вместо семидесяти.
 — Сам насчитал?
 Клавдия Ильинична подтвердила: собственноручно, с карандашом на бумаге.
 — Скажите этому умнику, чтобы не лез не в свои дела и забирал деньги, пока я не передумал. И добавь, что упрямство — не лучшая черта характера.
 — Я говорила...
 — Не берет?
 — Нет.
 — Пошлите по почте!

— Я хотела. Он заявил, что вернет назад.
 — Врет, не вернет.
 — Боюсь, что вернет, Борис Антонович, — возразила бухгалтер.
 — Что ж делать? — растерялся я.
 — Он просит пересчитать. А если оставите в таком виде, грозитесь пожаловаться в райфо.
 — Неужели?
 — Так и сказал. А что, Борис Антонович, он прав? Вы ему переплатили?
 — Материалы того стоят. Дело не в жанре, а в качестве. Он это знает. А уперся, черт возьми, не хочет, видите ли, никаких привилегий.
 — Понимаю.
 — За иной очерк и пяти рублей заплатить жалко. А он, негодяй, умеет писать.
 Я погрузился в раздумье. Клавдия Ильинична терпеливо ждала.
 — Сделаем так, — поразмыслив, взял я ручку. — Коли он такой буквоед, этот Кротов, пусть получает свои сорск пять. — Я перечеркнул параграфы и поставил новые. — А на двадцать пять я издам особый приказ — премия за высокое качество материалов. Если откажется от премии, черт с ним. Расчет он получил?
 — Получил.
 — Не придрался, что зачислен на работу за неделю до своего приезда?
 — Слава богу, не заметил.
 Мы оба рассмеялись.

16

Несколько дней я ничего не слышал о Кротове, не видел его. Навалились предновогодние дела: большие передачи, различная документация, совещания в окружке. Моя дочь напросилась в больницу проведать Катю Кротову. Она вернулась очень озабоченная, словно врач после трудной операции, долго шепталась с матерью на кухне и на мой вопрос, как здоровье Кати, ответила, что мужчины в таких делах ничего не понимают. Кротов напомнил о себе неожиданным образом. Обычно в сильные морозы, когда даже градусники зашкаливает, паровое отопление в нашем деревянном двухэтажном доме не обогревает квартиру, приходится раз в сутки топить печку. В нашей семье эта обязанность лежит на мне. Как-то вечером, вывалив охапку дров на железный лист, я принялся привычно стружить сухое полено для растопки и вдруг ощутил, что в квартире необычно тепло. Как раз возвратилась из школы жена.
 — Удивительное дело, — поделился я с ней открытием. — В печке сегодня нет надобности. Мы потрогали трубы; они обжигали руку.
 — Если это Кротов, — предположил я, — то он, кажется, действительно нашел свое призвание.
 Жена посмотрела на меня осуждающе. Она болезненно переживала все, что так или иначе касалось Кати, и не видела повода для шуток.
 — Пока ты ужин готовишь, схожу-ка я в котельную, поблагодарю истопника от имени жильцов.
 — Лучше бы навестил девочку, — посоветовала жена. — Забыл о ней.
 Я пообещал, что в субботу загляну в больницу. Добросовестным истопником оказался в самом деле Кротов. Он сидел в одиночестве в слабо освещенном, жарком помещении котельной за грязным столом, перед кучей угля, наваленного на цементном полу, в шапке-ушанке, черном комбинезоне и



в резиновых калошах, надетых поверх шерстяных носков. В топке котла сильно гудело пламя.

Некоторое время я наблюдал, как Кротов составляет на столе длинной шеренгой костяшки домино и сбивает их щелчком. Он так был занят этим интересным делом, что не расслышал, как я спустился с железной лесенки и подошел к нему.

— Добрый вечер, Сергей Леонидович.— Он повернул голову и окинул меня равнодушным взглядом, словно я был рядовым посетителем котельной, а еще лучше — каким-то ведром с углем. Худое лицо его и руки были черны от вьевшейся сажи.

— Жаловаться пришли?

— Благодарность пришел тебе высказать. От имени всех жильцов. Топишь ты отменно.

— Спасибо на добром слове, гражданин жилец. Премного вам благодарны. Стараемся,— протянул он высоким, злым голосом.

Я слегка смутился.

— Ну-ну, старайся. Посидеть у тебя тут можно?

— Испачкается. У нас в чистом не ходят.

— Ладно, брось! — Я придвинул железный табурет, мазнул по нему пальцем, вынул платок и в одно мгновение превратил его в грязную тряпицу, затем утвердился на железке.

Кротов пересыпал из ладони в ладонь костяшки домино.

— Ну, как дела?

— Дела, как сажка бела. Так мы, истопники, говорим.

— Трудно?

— Нам, истопникам, к трудностям не привыкать. Лопата — наш друг.

— Вижу, «козла» сам с собой забиваешь?

— Пасьянс раскладываю. Карты жизни.— Он пересыпал костяшки.

— Мог бы читать или писать. Все пользы больше.

— Нам, истопникам, грамота ни к чему.

— Хватит тебе... Работа как работа, не хуже других. Вспомни, Марк Твен разносчиком газет был, лощманом, Лондон белье гладил в прачечной, твой любимый Фолкнер хлопок выращивал.

— Нам, истопникам, литература до фени.

— Вот заладил! Ты посменно?

— Так точно. В ночь работаем.

Он уходил от меня, ускользал, не подпуская к себе. Когда он успел, подобно водяному пауку, создать вокруг себя воздушный пузырь, через который не проникали мои слова?

В резиновых своих калошах Кротов прошлепал к ревущей топке. Из-под маленькой шапки с дурацким кожаным верхом торчали светлые пряди. Он распахнул кочергой дверцу, поплевал на ладони, вытащил из угольной кучи совковую лопату и — раз! раз! — принялся метать топливо в огненный зев... Вскоре на лбу его выступил пот. Он не разгибался. Раз! Раз! Топись, преисподняя! Мучайтесь, грешники! Раз-раз! Для вас лопатку, Юлия Павловна! Раз-раз! Для вас, Борис Антонович! Для вас, Прекрасная Дама!

— Уймись! — закричал я.

С грязным лицом, струйками пота на лбу Кротов вернулся к столу, сел и вытащил из комбинезона смятую пачку «Севера».

— Лихо работаешь, Сергей. Не надорвись.

Он сплюнул табачинку, прилипшую к языку.

— У меня пуп крепкий.

— И сколько, прости за любопытство, ты получаешь за эту адову работу?

— На водочку хватает.

— А Катю прокормить хватит? Об этом ты подумал?

Вот я и дождался. Глаза его сузились, на скулах

под тонкой кожей напряглись желваки. Он начал задыхаться.

— Вы... зачем... сюда пришли? Что... вам... нужно?

Я встревожился.

— Спокойно, Сережа. Просто так зашел.

Он весь дрожал, ухватившись руками за стол.

— Просто так... зашли? А кто... вас... просил? Редакторский долг повелел?

— Да ты что, Сережа...

— Не нужно мне ваших утешений! Без них обойдусь! Что вы за мной ходите по пятам? Надоело! Затылок у меня сразу отяжелел.

— Опротивело! — отчаянно выкрикнул Кротов.

Видит бог, я неисправим. Я не ушел. И только когда он закричал мне в лицо совсем уж дикое и несуразное: «Я знаю, почему вы ко мне пристааете! Вы за Катей ухлестываете!» — я встал, плохо видя окружающее, точно котельная вдруг заполнилась дымом, и — хватя, хватя за поручни — полез по железной лесенке вверх, на свежий воздух.

Труба котельной дымила в ясное морозное небо. Улица была пуста. Я пришел домой, сел, не раздеваясь, на пол перед печкой и принялся, как слепец, толкать в нее дрова. Жена всплеснула руками.

— Ты чего это? Жарко ведь.

— А пусть знает! Пусть знает! Его теплом не воспользуюсь!

— Боря, что с тобой? Ты печку ломаешь.

— Верка! — закричал я. Вбежала дочь. — Выбери себе жениха, — сказал я ей, — с железной вегетативной нервной системой. Чтобы был тупой, как пень, чтобы книг не читал, не писал, чтоб только на гармони брямкал. Поняла?

Она захлопала глазами.

— Бежи отсюда! — скомандовал я.

— Беги, — хладнокровно поправила жена.

— Все спать! — сказал я. — Буду топить, пока все не сожгу, потом сам туда залезу.

— Вера, дай папе брусничного сока.

— Керосину дайте. Запалю дом.

Они принялись хохотать. Я посидел перед печкой, как Будда со скрещенными ногами, встал и пошел. Куда? В котельную, конечно.

Кротов опять швырял уголь в топку. Я спустился с лесенки и встал перед ним.

— Слушай, Кротов, или мы опять с тобой крупно поссоримся и кто-нибудь кого-нибудь засунет в печку, или ты мне немедленно скажешь, где лежит твой чертов роман, а я пойду возьму его и почи-таю.

— Нет!

— Тогда имей в виду, Кротов, я его выкраду.

— Не сможете. Его нет.

— Где же он?

— Сжег.

— Когда?

— Сегодня.

— А черновик?

— Нет черновика!

— Тоже спалил?

— Спалил.

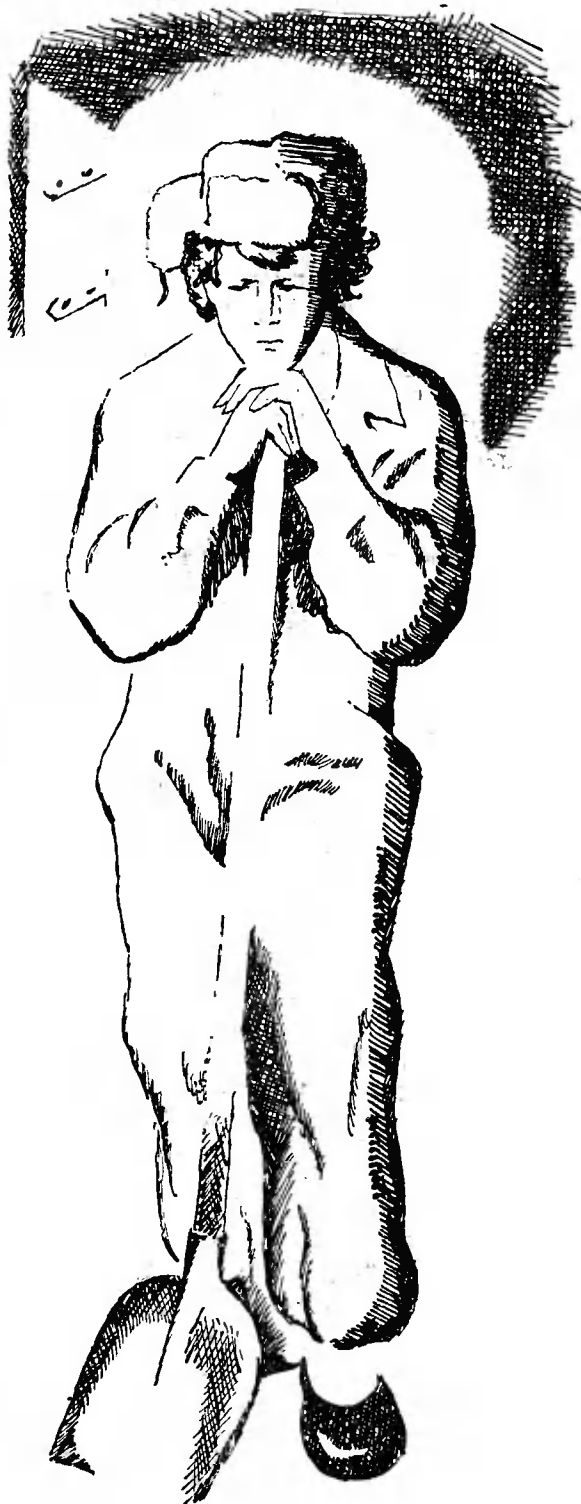
— Тут? — ткнул я рукой в топку.

— Тут!

— Так я и знал, Кротов, что ты дикий парень. Сердцем чуял: ты что-то умудрил... Теперь я засну спокойно. А ты можешь до конца жизни ворочать этой лопатой. Это легче и проще. Легче и проще.

Я пошел прочь.

— Кате не говорите! — прокричал он вслед.



«Уважаемые Анна Петровна и Леонид Иванович! Я обещал написать вам о Сергее и Кате, ничего не скрывая. Думаю, будет правильно, если я изложу факты, а вы их сами осмыслите. Мои комментарии излишни.

Восьмого декабря Сергей уволился из нашей редакции. Это произошло незадолго до моего приезда. Причина — не поладил с некоторыми членами коллектива.

Я предложил ему вернуться в редакцию. Сергей категорически отказался.

Через некоторое время у него появилась возможность получить работу в нашей местной газете. Он не захотел ею воспользоваться.

Десять дней назад Сергей стал работать кочегаром в местной котельной. Работа посменная — и днем и ночью.

Все это время — до позавчерашнего дня — Катя находилась в больнице. Она плохо переносит беременность и лежала, как выражаются медики, на сохранении. Сейчас ей лучше, ее выписали, и она уже приступила к работе.

Живут они по-прежнему в редакционном кабинете. Появилась надежда, что райисполком в ближайшие три-четыре месяца выделит для редакции квартиру. Тогда Катя как наш штатный работник ее непременно получит.

Знакомых у Сергея и Кати мало. Сергей их не ищет. (Вот и не удержался, высказал свое мнение.) Насколько мне известно, Сергей до последнего времени запоем писал повесть или роман. По его словам, он сжег рукопись. Сейчас он, кажется, ничего не пишет.

Вот такие факты.

Скоро наступит Новый год. Я собираюсь пригласить Сергея и Катю к себе домой, но не уверен, согласится ли Сергей.

Поздравляю вас с этим ясным и чистым праздником. Желаю вам хорошо его провести.

С большим удовольствием вспоминаю, как гостил у вас. Сколько уже окуней на вашем счету, Анна Петровна?

Всего доброго.

Воронин».

17

Катя узнала и без моей помощи. Впервые я увидел ее после больницы вместе с Тоней Салаткиной. Был сумрачный, теплый и тихий денек. Они неторопливо шли в сторону редакции. Тоня Салаткина несла хозяйственную сумку, Катя прогуливалась налегке. Молоденькая медсестра с ее свежим скуластым лицом, ладной фигуркой в меховой шубке и нарядных унтиках бережно вела подругу под руку. Рядом с ней Катя выглядела измученной. Она пополнела и подурнела. На щеках появились некрасивые пятна, на лбу залегли морщинки, только глаза были такие же, как раньше, ясные, словно обточенные камешки янтара.

Я заговорил с Катей. Тоня Салаткина нетерпеливо переминалась на месте, косила в нашу сторону черными глазами. Из какого-то упрямства, чтобы позлить девчонку, я отвел Катю в сторону и стал спрашивать, что ей пишут из дома. Оказывается,

Бера Александровна дважды звонила в больницу главному врачу Савостину и настаивала, чтобы Катю перевели в московскую клинику, где место ей обеспечено. Савостин, человек умный и рассудительный, необходимости в этом не видел, но на всякий случай переговорил с Катей и получил отказ.

— Может быть, напрасно. Вид у вас неважный, — сказал я.

— Да, знаю... Совсем дурнушкой стала... — пригорюнилась она и как-то по-старушечьи вздохнула. — Ох, Борис Антонович! Разве во мне дело? Я все вытерплю. Вот Сережа... Я за него боюсь. Он стал такой нервный, издерганный. Раньше был просто вспыльчивый. А сейчас весь как на иголках. Он не жалуется, но я чувствую. Эта работа...

— Он сам ее выбрал.

— Вот именно сам. А знаете почему? Из-за меня. Чтобы деньги были. И еще, знаете... — Она оглянулась на Тоню Салаткину, которая носком унтика расшвыривала сугроб снега, — знаете... — и глаза у нее стали огромные и испуганные, — ...он ведь сжег свою рукопись.

— Слышал об этом. Гоголь новоявленный! Он посылал ее куда-нибудь?

— В том-то и дело... — Катя опять оглянулась на подругу, пинавшую сугроб. — Он посылал ее в журнал, а ему вернули. И прислали плохую рецензию. А Сережа взял и сжег. — Она мучительно наморщила лоб. — Он сказал, что больше не будет писать ни одной строчки.

— И не пишет?

— Нет.

— Чем же он занимается в свободное время?

— Он такой странный стал. Или спит, или лежит, курит и молчит. Даже не читает. Я его ободряю как могу.

— Это он должен вас ободрять.

Катя замахала руками, точно я сказал бог весть какую глупость...

— Нет, что вы! Мне легче! Мужчины такие слабые. Они не могут без поддержки.

— Катечка, ты замерзнешь! — не вытерпела Тоня Салаткина.

— Как у вас с деньгами, Катя? Только правду.

— Все хорошо. Я получила по бюллетеню.

— А Сергей? Сколько он зарабатывает?

— Много, — сказала она. — Очень много. Триста рублей. Лучше бы их не было!

— Знаете что... Постарайтесь уговорить Сергея, чтобы он перестал упрямиться и сотрудничал с нами хотя бы нештатно. Это его, может быть, взбодрит.

— Хорошо... я постараюсь, — пообещала она неуверенно.

— Да, Катя, еще вот что. Тридцать первого у меня дома соберется небольшая компания. Будем пить шампанское, танцевать и болтать. Приходите и вы с Сергеем, а?

Ее лицо словно потеряло снегом, так разгорелось.

— А это удобно? У вас ведь взрослые соберутся.

— Ну и что? Вы с Сергеем тоже не дети. Скоро родителями станете.

— Ой, я так давно не танцевала!

— Вот и прекраснo. Наверстаете упущенное.

— А какое я платье надену? У меня нового нет.

— Прикажете Сергею, пускай купит. Муж он вам или не муж?

— Муж обжегся груш... — пробормотала она, сморщив нос.

Тоня Салаткина, потеряв терпение, решительно двинулась к нам.

Последний день года пришел на нашу землю тихим, умиротворенным, с падающим снежком и сумрачным, низким небом. К вечеру улицы опустели, во всех окнах зажглись огни, все трубы дымили. В домах около жарких печек сушили хозяйки, а далеко в глубине леса, на реках Виви, Таймуре, Котуе и безымянных протоках, где стоят зимовья охотников, мужчины вырубали в лабах мясо для ужина, разливали в кружки припасенный спирт — и, кажется, только звезды и деревья были безучастны к празднику. В такие дни, как бы ни прожил год, душа вмещает помыслы тысяч и миллионов людей, а сердце бьется в такт тысячам и миллионам сердец, и понимаешь, что твое существование не бессмысленно. Даже если ты несчастен.

Гости начали собираться к девяти. Первыми явились супруги Савостины; он, главный врач окружной больницы, плотный мужчина с полным лицом, и она, коллега моей жены по школе, красивая, очень жизнерадостная, хорошо одетая женщина. Появился холостяк Морозов, начальник геологоразведки, в сером джемпере и белоснежной рубашке, выбритый до синевы, мрачноватый. Пока женщины сообщали накрывали на стол, мы выкурили по сигарете, обсудили чистопородные достоинства щенка, которого подарил Савостину один знакомый оленевод, похвалили погоду и выяснили намерения друг друга по части питья...

Все мы были знакомы не первый год, приехали на эту окраину из разных мест и, хотя уже успели забыть очертания родных краев, словно видели их сквозь метельную дымку, не уставали, подвыпив, грозиться отъездом — и никуда не уезжали.

Между тем Кротовых все не было. Я стал поглядывать на часы.

— Кого ждем? — спросил Савостин, точным взглядом хирурга окидывая стол.

— Ребята должны появиться.

— Что за ребята?

Я объяснил, что за ребята.

— Девочка у меня лежала? — припомнил Савостин.

— Вот-вот.

— Тот самый... что меня интервьюировал? — спросил Морозов.

— Угадал.

Оба были, кажется, недовольны, словно присутствие Кротовых разрушало их застольные планы.

— Ничего, переживете, — сказал я. — Ребята не за нуды. Не в пример вам.

Наконец, когда все было готово и решили садиться за стол, в дверь постучали. Я пошел открывать.

Явилась одна Катя, запыхавшаяся, и сразу с порога торопливо выложила:

— Я пришла извиниться, Борис Антонович... Понимаете, Сережу срочно вызвали на работу, там у них кто-то не вышел... вот я и пришла сказать... Ох, какой вы нарядный! И рубашка с вышивкой!

— Да-с, — подтвердил я. — С вышивкой! Снимаю пальто.

— Я не могу без Сережи. Я пришла только сказать...

— Жаль, что Сергей занят, но это не резон, что-бы тебе сидеть с ним в котельной. Я сегодня на «ты»... Ничего?

— Ничего, но я не могу, честное слово!

— И слушать не желаю.

Я помог ей снять пальто. На Кате было очень простое зеленое платье — по-видимому, собственноручно сшитое — с короткими рукавами и белым воротничком. Свободный покрой уже не скрывал ее округлившийся живот, но освеженное после улицы лицо было, как у школьницы, примчавшейся на выпускной вечер. Отвернувшись, я подождал, пока Катя приведет себя в порядок перед зеркалом. Она расчесала волосы, и они прикрыли ее спину.

Когда я под руку ввел ее в комнату, где все уже расселись за столом, она сильно робела, даже слегка дрожала.

— Это Катя Кротова, — с гордостью объявил я. — Ее муж прибудет позднее. — И представил Кате сидящих за столом.

— А мы знакомы, — напомнил Савостин. — Катя, которая не слушается своих родителей, правильно?

Нарядная Савостина с интересом разглядывала смущенную девушку. Мрачноватое лицо Морозова прояснилось. Моя жена поскорее усадила Катю рядом с собой.

Вскоре за столом стало шумно. После первых то-стов разговор налачился. Катя освоилась в незнакомой обстановке и уже без робости, с милым любопытством посматривала на гостей. Особенно ее, кажется, поразила Савостина. Та и в самом деле была эффектна в черном вечернем платье, со своими ослепительными зубами и светлой маленькой головкой. На шее у нее поблескивало агатовое ожерелье. Она болтала, не умолкая.

— ...И можете представить, они приняли меня за немку! А я по-немецки ни слова.

Она рассказывала о своей поездке на Золотые Пески.

— А они по-русски ни слова. Только «пожалуйста». А я только «данке шён». И вот, таким образом изъясняясь, мы просидели, можете представить, четыре часа в ресторане. С моими-то несчастными левами в кармане! И знаете, я впервые получила от общества мужчин большое удовольствие, потому что не понимала, о чем они говорят! Ричард, — обратилась она к мужу, невозмутимо поедаящему ломтики строганины, — изучи, пожалуйста, немецкий язык, доставь мне удовольствие.

— Я знаю немецкий язык, — сказал Савостин.

— Ах, да, я забыла! Ричард действительно знает. А каково было мне! Четыре уважаемых немца и я. И со всеми по очереди танцую. Нет, что ни говори, — мечтательно заключила она, сверкнув зубами, — такой вечер не часто выпадает...

Катя наклонилась ко мне и тихонько шепнула:

— Борис Антонович, скажите, а где был в это время ее муж?

Так же тихо я ответил:

— Тебя лечил.

Катя задумалась, еще раз взглянула на Савостину и больше, кажется, уже не смотрела. Теперь ее внимание привлек Морозов, сидевший как раз напротив. Он усердно наполнял свою рюмку; высокий лоб его разглаждался, глаза повеселели. Он перехватил Катин взгляд.

— Пойдите! А вы почему не пьете? — прозвучал очень громкий вопрос.

Савостина прервала рассказ, и все взгляды обратились на Катю.

— Мне не хочется, — отговорила она.

— Как так не хочется? — не поверил Морозов.

— Я выпью, но позднее, — ответила Катя.

— Почему ж не сейчас? — настаивал ненаблюдательный геолог.

— Я выпью, когда придет мой муж, — сказала Катя в полной тишине.

Савостина захлопала в ладоши.

— Что, съели, Лев Львович?

Морозов был озадачен. Катя сидела с воинственным видом.

— Некоторым путешественникам,— невозмутимо заметил Савостин,— неплохо бы иметь такие же принципы.

Его жена весело заулыбалась.

— Камешек в мой огород... Видите, что вы наде-
лали, Катя! Теперь он меня со свету сживет из-за
этих немцев. А где вы потеряли своего мужа? Так
хочется взглянуть на человека, ради которого про-
кисает вино. Признавайтесь, где он?

— Он сейчас работает,— удовлетворила ее любо-
пытство Катя.

— В такое время? Что это за работа такая? Не сек-
ретная?

— Секретная, секретная,— вторгся я в разговор.—
Комитет государственной безопасности. Не выпить ли
нам за это учреждение?

Но Катя не обратила внимания на мое вмешатель-
ство.

— Он работает кофегаром в котельной. У них кто-
то не вышел, и Сережу попросили заменить. Вот
почему он задержался,— внятно объяснила она.
Наступила неловкая пауза.

— Ну вот! — подбил я итог. — Теперь тайны нет.

В красивых глазах Савостиной вспыхнул восторжен-
ный огонек.

— Как интересно! — раздалось ее восклицание.

Савостин поднял голову и окинул жену спокойным,
дружелюбным взглядом.

— Что тебе интересно, Зоя?

— Я хочу сказать,— нашла Савостина,— как ин-
тересно, что кто-то работает в такие минуты.

— Чрезвычайно интересно,— подтвердил Саво-
стин.

— Ох, Ричард, не занудствуй, пожалуйста! Дай мне
поговорить с девочкой. Вы давно замужем, Катюша?

— Давно. Скоро будет полгода,— последовал
очень серьезный ответ. Даже Савостин сморщил гу-
бы в улыбку.

— Скоро будет полгода! — восхищалась его же-
на. — Когда я могла сказать так: скоро будет полно-
да? Боже мой, скоро будет семнадцать лет! Катю-
ша, вы счастливый человек. Теперь я понимаю, по-
чему ваша рюмка полная.

Катя посмотрела на меня, словно нуждалась в со-
вете. Я пожал плечами: мол, выкручивайся сама.

— Почему?

— Потому что скоро будет всего только полгода!
Я хочу встретиться с вами за столом через десять —
пятнадцать лет. О, тогда вы не будете медлить, при-
слушиваясь к шагам на лестнице!

— Я не понимаю... — сказала Катя, озабоченно гля-
дя на красивую женщину.

Савостина заразительно расхохоталась. Холостяк
Морозов, подперев подбородок ладонью, внима-
тельно и серьезно изучал молодую гостью. Савостин
толстыми пальцами взял жену за ухо и легонько по-
дергал.

— Она наказана,— пояснил он Кате.

За столом стало совсем непринужденно. Выпили
еще по рюмке, причем Морозов пожелал непре-
менно чокнуться с Катей, и Савостин тоже, и я с же-
ной, а Савостина вспорхнула со своего места, обе-
жала вокруг стола и чмокнула Катю в лоб.

Нежданно-негаданно Катя оказалась в центре вни-
мания. Савостина принялась расспрашивать ее о Мо-
ске, Савостин справился о ее самочувствии, Мо-
розов молча смотрел на Катю, на его лице отража-
лись какие-то неясные воспоминания... Мы с женой
торжествовали.

Потом женщины начали освобождать стол для

горячих блюд; мужчины закурили. Было одиннадцать
часов по местному времени.

— Славный человечек,— заметил Савостин.

Морозов задумчиво дымил.

Я подошел к телефону и попросил соединить меня
с котельной. В голове у меня слегка шумело, и свет
в комнате казался необычайно ярким, словно не
лампочка горела под потолком, а полдневное солн-
це. Долго никто не отвечал. Затем в трубку ворвал-
ся шум и громкий голос прокричал:

— Алё! Кого надо?

— Попросите Кротова,— сказал я.

— Слушаю, Борис Антонович!

— Это ты, Сергей? Не узнал.

— С наступающим, Борис Антонович!

— Спасибо. Тебя тоже. Думаешь приходить?

— Сейчас приду, Борис Антонович!

— Слушай, приятель, ты чего так вопишь? Ты не
приложился там?

— Приложился, Борис Антонович! С наступаю-
щим! — надсаживался Кротов.

— Больше, смотри, ни грамма. Приходи. Ждем.
Я положил трубку и прищурился, чтобы свет так
не резал глаза. Подошел к магнитофону, ткнул паль-
цем в клавишу. Грянула музыка.

— Будет концерт,— сказал я, поматывая голо-
вой. — Парень неразумно весел.

Не успели еще сменить посуду на столе, раздал-
ся стук в дверь. Я поднялся из кресла.

— Это он! Добро пожаловать, непримиримый! —
И, слегка покачиваясь, с ярким светом в глазах по-
шел открывать.

Катя успела раньше меня. Кротов стоял на поро-
ге в распахнутом полушубке, шапка на затылке, раз-
горяченный то ли от бега, то ли от жара котель-
ной...

— Сережа!

— Катя!

Они обнялись, как после долгой разлуки.

— С наступающим, Борис Антонович!

— Раздевайся, бродяга. Рад тебя видеть.

Он сбросил полушубок и остался в свитере, джин-
сах и унтах. Катя пригладила его светлые лохмы и по-
жалела:

— Устал, бедненький...

— Ни капли! А вы сегодня франтом, Борис Анто-
нович.

— Да, я франт. А ты босяк.

— Все равно он красивый,— вступилась Катя за
мужа.

Кротов засмеялся, показав мелкие неровные зубы.
Какая-то сильная пружина была заведена в нем.

— Сережа, здравствуйте! Проходите, проходи-
те! — закричала моя жена, пробегая по коридору с
тарелками в руках.

Из кухни выглянула хлопковая головка Савостиной.

— Кто здесь Сережа? Хочу посмотреть на Сере-
жу!

Она вышла в прихожую, снимая на ходу клеен-
чатый фартук и остановилась, склонив голову к
плечу.

— Вот вы какой! Теперь буду знать, как выглядит
человек, из-за которого жена не пригубила ни капли.
Ну, здравствуйте. Меня зовут Зоя.

— Сергей Леонидович!

Савостина всплеснула полными, красивыми рука-
ми.

— Господи, так торжественно! — И пошла в столо-
вую, выкрикивая на ходу: — Я веду вам долгождан-
ного Сергея Леонидовича! Никто не смеет называть
его иначе! Только мне дано право звать его Сере-
жей, ибо только я одна ношу сережки!

47

— Дурачина! При чем тут вы? Я люблю все человечество. Все три миллиарда, дружище.

— Так я и думал! Вы идеалист. Вы все видите в розовом свете. Для вас даже дохлый сиг — уважаемая личность.

— Сиг? — переспросил я ошарашенно.

— Вот именно! У вас нет врагов.

— Нет, вы подумайте! — возопил я. — Нет врагов! Да у меня их, может, тыщи! Ну и что? Я к людям отношусь с уважением. Ты меня уважаешь?

— Не увиливайте! Вы плохо понимаете людей.

— Я — плохо? Это ты мне говоришь? Кто лучше понимает людей — яйцо или курица?

— Я. Яйцо. Доказать?

— Докажи, докажи. Ну-ка.

— Суворов, по-вашему, какой человек?

— Иван Иванович? Нормальный человек, неплохой человек.

— А он на вас досье ведет, знаете об этом? Я полез к нему в стол за бумагой и наткнулся. Там вся ваша жизнь по пунктам. Нормальный человек?

— Пусть пишет! Он Кате банку меда в больницу притащил. Я ему повышенный гонорар выпишу за чуткость.

— Эх! — махнул рукой Кротов.

— Еще что? Валяй дальше.

— Да ну вас! Вы не хотите серьезно.

— Почему это не хочу? Еще как хочу. Человек многолик, Сережа, поверь мне. Нужно уметь прощать слабости и ценить достоинства, пусть даже маленькие. Иначе и жить не стоит. Иначе кати-ка ты на необитаемый остров!

Заиграла новая мелодия.

Морозов и Катя, Савостин с женой закружились вокруг елки.

Кротов в упор смотрел на меня.

— Значит, подлецы и дураки, и завистники, и так далее. Но ожесточаться нельзя, Сережа. Погляди вокруг внимательно. На ринге добро и зло. Бесконечные раунды. Добро может оказаться в нокауте, но в нокауте — никогда!

— Ага! — подхватил он злорадно. — Добро должно быть с кулаками, так?

— Добро должно быть умным прежде всего. Это посильнее кулаков. Но добро — не жалость, нет... И укрепляется оно в человеке вместе с жизненным опытом.

Кротов неожиданно рассмеялся и бесшабашным движением руки взлохматил свои светлые волосы.

— Чего хихикаешь? — обиделся было я.

— Вы сказали «жизненный опыт», и я кое-что вспомнил. Знаете, что мне рецензент о повести написал? «Вы способный человек, но в своем творчестве идете от литературы. Вам не хватает жизненного опыта». Черным по белому!

— Ну, черт возьми! — возмущился я, почувствовав вдруг кровную обиду за Кротова. — Плюнь, Серега.

— А я плюнул. На повесть! Сжег ее к чертям — и все. Он ведь прав. По всем статьям.

— Э, стой! Как же так! — запротестовал я, сбитый с толку.

— Хотите, объясню? Это как дважды два. Я о чем писал? О себе. Кто главный герой? Я. Чем занимается герой? Пишет повесть. О ком? Обо мне. Понимаете? Замкнутый круг. Красные флажки! В середине я и книжки, а за флажками весь мир. Не прорвешься!

— Ну, черт возьми! — возмущился я, почувствовав вдруг кровную обиду за Кротова. — Плюнь, Серега.

— А я плюнул. На повесть! Сжег ее к чертям — и все. Он ведь прав. По всем статьям.

— Э, стой! Как же так! — запротестовал я, сбитый с толку.

— Хотите, объясню? Это как дважды два. Я о чем писал? О себе. Кто главный герой? Я. Чем занимается герой? Пишет повесть. О ком? Обо мне. Понимаете? Замкнутый круг. Красные флажки! В середине я и книжки, а за флажками весь мир. Не прорвешься!

— Постой, постой, приятель! А ты как хотел? В каждом произведении так или иначе отражается личность автора. Без этого не бывает литературы.

— Правильно! Фолкнер тоже себя выражал. Но его герои не похожи на него, они слиты из тысяч людей. Или, например, Хэм.

— Какой еще Хэм?

— Хемингуэй.

— А!

— Возьмите его Старика. Смог бы я такой образ создать? Ни за что. А почему? Я на море ни разу не был, промысел не знаю, психологии рыбаков не понимаю. Я могу расписать, как я стою на берегу Москвы-реки и ловлю на удочку пескаря. И мысли при этом будут пескаринные. А стиль, вероятно, слизан у Хэма. Или вот Леонов...

— Да перестань ты меня авторитетами давить! Речь не о том.

— Речь о принципе! Нужно знание жизни, Борис Антонович. Рецензент прав. Я писал и упивался, как глухарь на току. Вот сказал «глухарь на току», а глухаря я в жизни не видел и не слышал, как он поет. Это просто фраза, понимаете? За ней ничего не стоит. Я послал повесть и думал: все с ног попадают от восторга. А меня оглоушили. Раздолбали будь здоров! Я сжег от злости. Кинул в топку, а потом сам чуть туда не прыгнул. И решил — все! Кончено! И Кате сказал: не вышло из меня графа Монте-Кристо. Поехали в Москву. Хватит! А она знает что?

— Ну-ка, ну-ка!

— Разозлилась — жуть! Закричала, что я трус и предатель. Я ее такой еще не видел... чуть глаза не выцарапала. — Он смущенно потер пальцем переносицу.

— П-правильно! Молодец Катя! Дальше что? — не терпелось мне.

Кротов задумчиво покосился на меня.

— И еще сказала: уходи немедленно из котельной. — Он помолчал, поглядывая в сторону танцующей Кати, и неожиданно спросил: — Помните, я в стадо ездил?

— Ну?

— Я ошалел тогда. Чапогира знаете, Тимофея Егоровича?

— Конечно, знаю.

— Ну, вот. Настоящим делом занимается. Согласны?

— А тебе-то что? Еще один очерк хочешь о нем написать? Вторую премию отхватить?

— А теперь Катя выздоровела, — думая о другом, ответил он, и глаза его совсем затуманились.

Меня охватило недоброе предчувствие.

— Постой-ка... постой... Ты что имеешь в виду? Ты что хочешь этим сказать?

Кротов тряхнул головой, словно просыпаясь...

— Короче, Борис Антонович, мы уезжаем!

— Ка-ак? Куда?

— Время! Время, вперед! — перекрыл он своим голосом музыку и вскочил с места.

— Стой! Отвечай!

Но Кротов уже метнулся от дивана, подлетел к моей жене, отдыхающей в кресле, склонился в поклоне, подхватил ее и через секунду так заработал своими длинными ногами, что у меня в глазах зарябило.

Около елки Морозов с невероятной осторожностью и сосредоточенностью кружил Катю. Я подошел к ним и заворчал:

— Хватит, хватит... Дай девочке отдохнуть... нечего! — а сам взял Катю под локоть. — Ты не устала, Катуша?

— Что вы! Так хоро...о!

— У меня есть идея,— зашептал я ей на ухо.— Давай сбежим из этого вертепа, прогуляемся на воздухе... а?

— С удовольствием!

— Тсс! Ни слова никому! Тайна... тайна...

20

Незаметно для остальных мы выскользнули в прихожую, разыскали свою одежду и бесшумно выбрались из квартиры. Около подъезда на обычном своем месте в ямке спал и видел снежные сны Кучум. Я свистнул; он одним прыжком встал на лапы и приветственно гавкнул.

Было необычно тепло, светло от падающего снега и горящих повсюду окон. Поселок не спал. Бодрый и вечно юный праздник хозяйничал в домах.

Я взял Катю под руку, и некоторое время мы шагали молча.

— Послушай-ка, девочка,— осторожно приступил я к допросу,— что это такое вы надумали? Куда это вы уезжать собрались?

— Эх, болтуниска Сережка! Не выдержал!— живо откликнулась она.— Мы хотели вам сказать после праздника.

— Нет уж, сейчас говори, а то я спать не буду. При чем тут Чапогир, а?

Я остановился, и Катя остановилась, и Кучум, бежавший рядом, замер и, подняв морду, посмотрел на нас неунывающими глазами.

— Помните, Сережа был в тайге?— Я кивнул, горло что-то перехватило.— Ну вот. Он вернулся оттуда совершенно, ну, совершенно сам не свой. Еще тогда сказал: вот бы где работать! Его Чапогир Тимофей Егорович—помните, он о нем очерк написал?—в помощники приглашал. Ты, говорит, длинноногий парень, можешь по любому снегу бегать.— Катя улыбнулась и ладошкой потерла себе щеку.— А я ничего не поняла. Подумала, он просто так мечтает. У него же много планов всяких... Ну, вот. А когда его выгнали... то есть, когда он ушел из редакции, он сразу в Улэки́т написал Чапогиру. И оттуда ответ пришел, хороший такой. Сам председатель написал, Чапогир ведь неграмотный старик... А я, как назло, в больнице. Сережа ничего не сказал, письмо спрятал и пошел в котельную. А тут еще этот рецензент... Он совсем растерялся. Знаете, что сказал? Поехали в Москву, хватит! Я его даже возненавидела... на минутку какую-то, не больше, но все-таки... страшно так стало. Люблю и вдруг ненавижу.— Катя рассеянно погладила морду Кучума.— Ночью не сплю, думаю: что-то я не понимаю, что-то он от меня скрывает. И вдруг нашла случайно это письмо из Улэки́та. Сережа, что это? А, порви! Несбывшиеся мечты! А я прочла и как будто прозрела. Господи, какая дура! Ведь он об этом письме только и думает все время! Оно чуть не до дыр зачитано, а он прячет, не говорит, меня жалеет, потому что я больна и вообще... Вот он какой, Сережа!—воскликнула Катя и стиснула руки на груди. Глаза у меня нежданно защипало.— Тогда я говорю: садись, пиши ответ, мы едем! Ты с ума сошла, кричит. Куда тебе на факторию! Ты же толстеешь не по дням, а по часам! Нет, нет и нет! А я ремень его взяла и говорю: пиши, а то высеку. Он хохотать, и я хохотать. А потом Сережка заплакал... первый раз, между прочим, за все время... и говорит: знаешь, знаешь, Катька, этого я никогда не забуду... Дурачок такой!.. Ну, я тоже разревелась, конечно... от радости. И решили ехать.

— В Улэки́т?— сорвался я.— Ты смеешься, Катя?

Что вам там делать? Там же ни черта нет, кроме тайги!

— Как же нет, Борис Антонович?— возразила она рассудительно.— Сережа мне все рассказал. И Тоня тоже. Там есть клуб—раз.— Она загнула палец.— Его еще называют красным чумом. Почтовое отделение—два. Детский интернат—три. Колхозная контора—четыре. Медпункт—пять. А вы говорите, ничего нет.— И уставилась на меня смелыми и хитрыми глазами.

— Звероферма там есть!— закричал я трубным голосом.— Ты забыла! Звероферма!

— Шесть,— подытожила Катя, с полным спокойствием загибая еще палец.

— Кучум,— взмолился я, обращаясь к псу,— цапни меня за ногу, будь другом! Может, я проснусь.

Кучум завилал хвостом. Катя прикрыла рот ладошкой.

— Слушай, девочка, успокой меня. Скажи, что это новогодний розыгрыш.

— Да нет же, Борис Антонович. Мы даже справки навели. Там почтовый работник нужен. Это как раз для меня. А с Сережей тоже ясно: он у Чапогира в стаде будет работать.

— В стаде?

— Ну да.

— Кем? Собакой-оленегонкой?

Некоторое время Катя не могла говорить, так закатилась от смеха... Кучум запрыгал вокруг нас, как очумелый, и залаял во всю глотку. Я мрачно наблюдал за этим неожиданным концертом.

— Всего-навсего,— сказала Катя, успокоившись,— помощником пастуха.

— Он? Да он отличит ли оленя от козы?

— Научится, Борис Антонович. Всему можно научиться, если захочешь. А Сережа хочет.

— Нет, ты подожди!— разволновался я.— Нет, ты понимаешь, что говоришь? Тебе же рожать скоро!

— Угу.

— А знаешь, что там даже больницы нет, только медпункт?

— А другие как же?

— Другие... другие... то другие...— забормотал я.— Они привыкли, другие. Они сами родились там. А ты хрупкое существо.

— Ой, уж хрупкое!

— Нет, ты постой! Ты не перебивай, Катя! Где вы собираетесь жить там?

— Нам обещали комнату.

— Но Сергей же в стаде будет. В стаде! Это как на луне, понимаешь? Ты одна останешься.

— И совсем не одна,— бойко возразила она.— Там люди живут. А Сережа будет приезжать раз в полмесяца. Рыбаки и матросы дома бывают еще реже.

— А рубить дрова? Топить печку? Таскать воду с реки? Кто это будет делать? Домовой?

Она приснула, но тут же стала серьезной.

— Помогут, Борис Антонович. Людей много хороших. Как вы.

— Ты мне не лъсти, Катя. Ты мне зубы не заговаривай, девочка. Ты вспомни, как ты извелась, когда он уехал на две недели!

— Теперь выдержу. Так надо, Борис Антонович.

— Да на кой леший надо? Кому надо?

— Сережа говорит, что в стаде трудней всего. Там настоящая работа, необычные люди. Тот же Чапогир... А еще там можно проверить себя на сгиб и излом.

— Ка-ак?

— Это он такое выражению выдумал,— пояснила Катя.

— Интересно получается. Он будет себя проверять, набираться опыта, а ты? О себе ты подумала? — А декабристки? Кто их заставлял идти в Сибирь за мужьями? А они шли... У них было много путей, а они выбрали самый трудный. Могли бы жить в праздности, есть и пить на серебре. Нет, Борис Антонович! Это не блажь Сережкина. Мы сами себе должны доказать, на что способны. А то поздно будет.

Катя набрала в пригоршню снега с поленницы, смяла его и в задумчивости лизнула. Я полез в карман за спасительными сигаретами. Какая-то дрожь колотила меня... Кучум нетерпеливо повизгивал, сидя на задних лапах.

— Ну, хорошо,— заговорил я.— Положим, ты выдержишь. Положим, ты идешь на жертву, хотя никак не сообразу, при чем тут декабристки. Но ты хоть Сережку своего пожалей!

— Жалеть? За что? — безмерно удивилась Катя.

— Уверен, что он тебе всё расписывает в розовых тонах. А я знаю, что такое стадо. Слава богу, десяти раз бывал в бригадах. Однажды непогода задержала на месяц. Посмотри на меня! Я не белоручка, не лентяй, не нюня. Работал со всеми на равных. И что ты думаешь? На второй неделе взялся! По двадцать — тридцать километров в день верхом на олене, по мшьянникам, по болотам. Ночуешь в чуме, в спальниках. Задыхаешься от дыма, чтобы не сожрала мошкарка. Ничего не помогает! Меня искусили так — можно было показывать в паноптикуме и брать за вход по трешке. Сапоги не снимаешь, ноги гудят. Каждые два дня — новая стоянка. Бесконечное кочевье и зимой и летом. Еда — мясо, зачастую без соли, на местный манер. Ответственность за каждого оленя: не убежал ли? Не сбил ли ногу? Не увлекло ли стадо диких? Зимой вздохнешь полной грудью — заморозишь легкие. Связь с миром — «Спидола», рация, редкий вертолет и при удачном маршруте оленья упряжка... Понимаешь ты это или нет?

— Борис Антонович, вы все сказали правильно. Именно поэтому Сереже нужно туда ехать.

— А если он не выдержит и сбежит?

— Не смейте так говорить!

— А все-таки? Допустим на миг...

— Тогда... — сказала Катя. — Тогда он мне больше не муж. И он это знает.

Я замолчал пораженный. Передо мной стояла незнакомая строгая женщина. Свет из горящих окон озарял ее лицо, на котором застыло упрямое и дерзкое выражение.

У меня упали руки.

— И вообще зря вы переживаете, Борис Антонович,— другим голосом, громким и оживленным, продолжала Катя.— Сережа может быть прекрасным пастухом. Он и сейчас уже много знает. Хор — это бык. Оленематка — самка. Авалакан — теленок, — увлеченно взвзлала перечислять она. — Маут — аркан. В стаде до тысячи голов. Сейчас период забоя. Стада находятся близко от фактории. А настоящая работа будет весной. Начнется отел. Появятся авалаканички. Их нужно беречь. Только поспевай смотреть! Разве не так?

— Так-то так, но откуда ты все это знаешь?

— Сережа набрал книги по оленеводству. А еще он решил изучить эвенкийский язык, чтобы лучше все понимать. Хотите, — вдруг предложила она, — я вам прочту, что он написал вчера? Я специально взяла, вот! — Она вытащила из кармана смятые листки, подхватила меня под руку и увлекла по тропке поближе к окну.

— Подожди, Катя! Сейчас не до опусов.

— Нет, вы послушайте, пожалуйста, Борис Анто-

вич. Это не просто так. Это важно. Вы, может быть, ничего и спрашивать больше не будете. Слушайте!

На миг она зашмырилась, набрала воздуха в грудь — голос ее взмыл...

— «И двинулся аргиш! Вскинули олени головы с раскидистыми ветвями, переступили тонкими под коленом и широкими у копыта ногами, пробуя твердость земли, закатали выпуклые, со слезой глаза, задрожали всей кожей — и пошли... Первые дни авалаканчика, шаткого и податливого на малый порыв ветра, первые дни жизни длинноногого уродца с круглым взором, отражающим весеннее величие земли, протекают в полной беззаботности. Мать кормит его молоком, а человек-пастух следит за его сердцебиением. И уже в эту пору косою надрез на ухе новорожденного определяет его судьбу. Быть ему домашним зверем и служить ему человеку! — вздохнула прочитала Катя. — Окрепнут его ноги, пойдут в рост бугорки на темени, прикрытые пока светлой шерсткой, заживет порез на ухе. Но уже нельзя ему надеяться на даровое молоко матери. Летом будет он кружить вместе со своими собратьями в мучительном хороводе, подгоняемый оводами и мошкаркой, осенью познает сладость первого гриба, зимой обдерет рога в тесных просветах между лиственницами и проверит силу копыт, разбивающих пласты снега вплоть до ягеля... Всем наделила его природа. Только крыльев ему не дано, чтобы летать в небесах на птичий лад».

Катя замолкла, учащенно дыша. Не меньше минуты прошло...

— Ну как? Понравилось?

— Не проси, не скажу!

— А ведь он только один раз был в стаде, Борис Антонович. Всего только раз, понимаете?

Кучум внезапно сорвался с места и ринулся по улице. Мы оба оглянулись. По деревянному тротуару бегом приближалась к нам высокая, стремительная фигура. Кротов!

21

Он подлетел вместе с насккивающим на него, лающим от восторга Кучумом, проехался с разбега на подошвах унтов и огласил всю окрестность криком:

— Ага, попались! — Шапку он держал в руке, волосы разметались от бега — весь как метельный порыв... — Дрова чужие крадете! Руки вверх! — И с разгона растянулся на снегу. — Устал танцевать! Тяжелая работа!

Катя сразу захлопотала.

— Сережа, Сережа, встань немедленно! Простудись!

— Пусть валяется, — заговорил я неожиданно ядовитым тоном старикашки-наблюдателя. — Ему теперь часто так спать придется. Пусть тренируется.

Кучум носился вокруг сумасшедшими кругами.

Я не выдержал, схватил пригоршню снега и со зловреднейшим наслаждением затолкал ему за шиворот.

— А! Вот вы как! — завопил он, вскакивая. — Вой на миров! Ну, держитесь!

Я очутился в его объятиях. Миг, подсечка — и я лежу в сугробе, а он на мне и набивает за ворот снег. Катя приплясывает и хлопает в ладоши. Кучум воет. К освещенным окнам ближнего дома прилипли любопытные физиономии, и я, ворочаясь, стараюсь вырваться, сквозь зубы шепчу в ухо Кротову:



- Возвращайся в редакцию, возвращайся...
- Нет!
- Мошк! тебя сожрет, замерзнешь там...
- Сдаётся?
- Одумайся ради Кати...
- Выдержу ради Кати...
- Мальчишка! Перекажи-поле!
- Сдаётся?
- Сдаюсь, черт тебя дер!

Но я не сдался, нет! И когда он меня поднял и оббил снег с полушубка и мы вдвоем побрели по неспящей светлой улице, под мирным небом Нового года, я сделал еще одну попытку:

— А ты знаешь, что такие бродяги, как вы, — бич государства? Думал ты, что получится, если все выпускники школ начнут мотаться по стране?

— Светопреставление! — сразу подхватил он. — Никакой стабильности! Хаос, разруха! Страшно, жуть!

— Ты брось! Все это достаточно серьезно. Ты обязан мыслить широко.

— А я что говорю? Серьезно! Еще как! У меня был приятель в школе. Его спрашиваешь: куда пойдешь после школы? В люди. А точнее? В хорошие люди. Думаете, юморил? Ничего подобного! Понятия не имел, что ему надо. В институт хочешь? Можно. В какой? В хороший. А на завод? Можно. На какой? На передовой. А может, на стройку? Неплохо бы. На какую? На ударную. Не человек, а эталон зыбкости. Так я его звал. Вот кто бродяга, Борис Антонович! Он, возможно, из Москвы никуда не уедет, но все равно он летун в своих мыслях и желаниях. А это хуже, чем мотаться по свету в поисках вполне определенной жар-птицы! Правда, Катя? — обнял он за плечи жену.

И тут я поймал себя на мысли, что не узнаю их обоих, точно гляжу на них по прошествии многих лет и вижу необратимо повзрослевших людей.

— Конечно, Сережа!

— А это самое главное! — заключил Кротов, и губы их сошлись в поцелуе.

Нет, я ошибся! Они были все те же, но и какие-то другие...

— Эй вы!.. Имейте совесть! — заворчал я в странном волнении.

— А еще знаете что, Борис Антонович? — снова взялся за меня Сергей. — Мой приятель экономически расточительней для государства, чем десять Кротовых.

— Это почему же?

— А все потому же! В нем нет идеи. Его подхватывает любое течение, как медузу. В нем нет стержня. Он человек без призвания. А это значит, что классного специалиста из него не выйдет.

— Между прочим, не все на этом свете гении, — рассердился я, затронутый за живое и ужасно почему-то сочувствуя этому незнакомому бедняге. — Кроме того, есть идея и идея фикс.

Кротов так и замер на месте. Катя с беспокойством переводила взгляд с него на меня. Но он безапелляционно заявил:

— Запрещенный прием! В солнечное сплетение. Ладно! Вы правы. И рецензент прав. Один раз я ошибся. Переоценил силы. Но это не нокаут, нет!

Я тотчас ухватился за его уступку.

— А где гарантии, что и во второй раз не ошибешься?

Кротов с размаху шмякнул шапку в снег и так наподдал ее ногой, что она взвилась, точно мохнатая птица, а на приземлении ее уже ждал Кучум, ухватил и скачками понес прочь. Катя замахала руками и с криком устремила за ним осторожными мелкими шажками.

— Здравствуйте, Вера Александровна! — глядя на меня, заорал Кротов.

— Не юродствуй, Сергей...

— Никаких гарантий, Вера Александровна! Мы не сберкасса, Вера Александровна! А вдруг нас завтра пристукнет метеорит или сосулька с крыши? Нет, Вера Александровна! Убеждения — вот наши гарантии.

— Да потише ты, не пугай людей...

Он перешел на заговорщический шепот. Лицо его приблизилось, каждая черточка, казалось, была наполнена мальчишеским безумием...

— «Я никогда не мог сесть в поезд, — процитировал он, — не зная, на какой станции сойду». Кто говорил? Отказывается от своих слов?

— Нет.

— Это только фраза, да?

— Нет!

— Сожаление?

— Да.

— Хотите, чтобы я в сорок два года тоже жалел?

— Конечно, нет!

— Можно жить чужим опытом?

— Брось ты эти тесты!..

— Нет, ответьте!

— Свой нужно иметь, свой!

— А где логика, Борис Антонович? Где? Почему вы подсовываете нам свой опыт? Почему вы нас отговариваете? Почему в вас уживаются два человека?

— Потому что... — начал я и запнулся, — потому что я взрослый человек... и я беспокоюсь о вас, черт побери!

Подбежала запыхавшаяся Катя с отвоетанной у Кучума шапкой, нахлобучила ее Сергею на голову и пригрозила:

— Только пни еще!

Кротов упал на колени.

— Катя, торжественный момент! Борис Антонович благословляет нас в дорогу.

— Правда? — восторгалась она, поворачиваясь ко мне.

Странное дело, и миг этот был будто несерьезный, из серии детских проказ, а у меня внезапно защемило в груди. Два лица глядели на меня, два лица на белом фоне, два мазка на безбрежной картине жизни, одна судьба... Что-то промелькнуло между нами, подобно электрическому разряду, и близость была болезненно осязаемой и яркой...

— Ладно, пошли, ребята. А то я разревусь.

И все пропало! Они были рядом, притихшие и смущенные, но уже в таких разреженных высях, куда людям моего возраста вход запрещен, где нужно надевать солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть... А я внизу, на вполне надежном карнизе, и дальше не забираться. А между нами спасательный шнур, который может и не пригодиться.

К дому подошли в молчании. По тому, как они замялись у подъезда, я понял, что им не хочется возвращаться в компанию. Ну что ж! И мне, по правде говоря, как-то неудобно было вводить их сейчас в плановый хоровод взрослых людей.

— Дарю вам Кучума, — вдруг надумал я. Кротов даже ахнул. — Не даром! — осадил я его. — В обмен на твой опус про оленей.

Он раскрыл рот, ошеломленный. Катя что-то замурлыкала себе под нос.

— Спокойной ночи, ребята, — пожелал я. — А правильной было бы сказать: «Доброго утра!»

Мы расстались. Я вернулся домой, где меня уже потеряли. Савостина устремила навстречу и подхватила под руку.

— Мальчик ушел? Как он танцует! Легкий, как стрекоза!

— А что Катя? — спросила жена.

— Мне он сообщил, — попыхивая сигаретой, заговорил Савостин из кресла, — что я не живу, а прозябаю. Каков гусь?

— Я потерял партнершу, — пробасил Морозов.

— Девочка его боготворит, — сказала Савостина с каким-то недоумением. — Но объясните мне, ради бога, зачем он связался с этой ужасной котельной?

Подойдя к столу, я молча налил себе вина и поднял фужер. Все затихли. Тогда я торжественно провозгласил:

— И двинулся аргш, друзья! — и услышал тонкий, срывающийся на ветру крик Сергея и звяканье бубенцов на оленьих шеях...

22

Сразу после Нового года Катя получила расчет. Четвертого января я пришел в редакцию раньше обычного, чтобы проводить Кротовых в аэропорт. Сергей и Катя сидели в опустевшей комнате, сразу ставшей казенной, на голых кружевах железной кровати, а на единственном стуле пристроилась Тоня Салаткина.

Кротовы оделись тепло, как полагается для дальней дороги в наших краях. На обоих были овчинные полушубки; голову Кати укутывал пуховый платок, на Сергея красовалась огромная солнцеподобная лисья шапка. Он был в унтах, а ноги Кати грели камусные сапожки, которые я видел раньше на Тоне Салаткиной. Я дружелюбно подмигнул девушке, и на лице ее появилась неуверенная ответная улыбка. Только сейчас она, кажется, признала право на мое существование рядом с Кротовыми...

Катя показала мне утомленной и опечаленной. Кротов был взвинчен. Последнюю ритуальную минуту перед дорогой он едва высидел, а затем резко вскочил, нацепил рюкзак, подхватил два чемодана, а оставшуюся сумку готов был, кажется, схватить зубами... Я отобрал у него часть невеликого багажа. Пошли...

У порога редакции Тоня Салаткина распрощалась с Кротовыми — она спешила на дежурство в больницу — и убежала, расплакавшись. Ее сменил Кучум.

Туманное январское утро, не знающее на этих широтах солнца, потрескивало от холода. День обещал быть жестоким. Все живое пряталось в домах, кроме собак, пушистых клубков на снегу. Медленно светало.

А в четырехстах километрах севернее, в промерзшей глуши лиственничных стволов, загудел, возмозжил, электрический движок, отключаемый на ночь, — Улэжит проснулся. Двадцать два сруба и несколько чумов на высоком берегу реки. Один из них — почта. Вставай, Катя, на работу пора!

А еще дальше в ледяную немоту утра ворвался хрип оленьих дышал — стадо поднялось на ноги. Вышел, согнувшись, из чума старик Тимофей Егорович Чапогир, глянул узкими прорезями глаз на застывшую тайгу, втянул воздух через ноздри... Холодно, однако, а караулить стадо надо. Чай кипятит, Сергей!

...До аэропорта дошли молча. Самолеты «АН-2» стояли рядком, с раскрученными винтами. В воздухе висел рев — прогревались моторы. Не успели войти в зал ожидания — объявили посадку на Улэжит. Пассажиров было всего четверо: Кротовы, старуха эвенка, приезжавшая, вероятно, в окружную больницу, и командированный охотовед.

Меня пропустили на поле; я поднес вещи прямо к самолету. Около открытой дверцы пришлось подождать — грузчики кидали в брюхо машины громоздкие ящики с консервами.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

— Ну, ребята, — сказал я с преувеличенной бодростью. — Летите.

Катя моргнула, губы ее сморщились, на глазах стали проступать слезы. Кротов опустил голову.

— Знаешь, девочка, — вырвалось у меня как-то отчаянно, — дай-ка я тебя поцелую!

Сквозь слезы она улыбнулась, отодвинула шаль и подставила щеку.

— А меня будете лобызать? — хрипло спросил Кротов.

— Давай и тебя.

Мы неуклюже обнялись. Кучум, непривычный к поводку, рвался из рук Сергея, повизгивая.

— Ну, пес, — обратился я к нему, — береги хозяев.

И вот уже дверца хлопнула, но тут же распахнулась опять, и голова Кротова в огромной шапке высунулась поверх руки пилота.

— Борис Антонович, спасибо за все! Приезжайте в стадо работать!

— Уходи, заземлю! — крикнул пилот.

И дверца захлопнулась окончательно.

Я побрел с летного поля, встал у заборчика.

Заурчали моторы; «АН-2», поднимая метель, вырвался в дальний конец взлетной полосы, а потом промчался мимо, прыгая на снежных застругах, грузно оторвался от земли и потянул в сторону сопок.

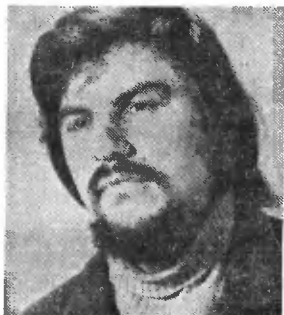
На поле появились люди с чемоданами. Наверно, радиоголос объявил посадку на очередной рейс. Мне казалось, что вокруг тишина. Оглушная, онемевшая планета, где нет Сергея и Кати!

Я представил, как они сидят, прижавшись друг к другу. Рука в руке, лицо к лицу, мысли опережают самолет... Превратиться бы в невидимку, в духа бесплотного и быть всегда стражем за их спиной! Но они разглядят и прогонят. Скатерть-самобранку с дарами жизни расстелить бы перед ними! Пройдут мимо. Стать бы оракулом и нашептывать им на расстоянии мудрые советы! Заткнут уши. Что же отдать им такое, чего они не имеют? Нет ничего такого... Им нет дела до моих заклинаний. Они видят цветные миражи, неразличимые дальноркостью опыта. А я улавливаю, как ревет время, старая всех и вся, и оглядываю длинную буднюю дорогу, по которой им придется долго шагать. И поэтому на душе неспокойно, как при тяжелой болезни...

Через несколько дней редакционный завхоз, наводя порядок в комнате, где жили Кротовы, нашел за шкафом и принес мне толстую тетрадь в коленкором переплете. Я просмотрел ее. Это был дневник Сергея Кротова, а в него вложено письмо Кати.

г. Южно-Сахалинск.
1974 г.

Владимир Яковлев



На Волге

Чистополь, Чистополь,
Белая звезда.
Утренние пристани,
Темная вода.
По прибрежным кручам
Легкий дым.
Затянуло русло
Облаком седым.
Потому и пристани
Разглядеть нельзя!
Легкие, как призраки,
Танкеры скользят.
А рассвет все ближе,
Все ясней,
Тающие гроздья
Бортовых огней.
Трепетная, чистая
Белая звезда.
Утренние пристани,
Алая вода.

Родное

По дороге деревенской
Я шагаю сам не свой
В деревеньку под Смоленском
Над смопистою рекой.
Шепчет ветер: не печалься!
Помнишь — в поле у реки
Голубели между пальцев
Утренние васильки!
— Здравствуй! — слышу милый голос.—
Не сыскал земли милей!
...Тихо чокнет колос в колос
Золотым вином полей.
Память детства — солнце наше,
Ты чем дальше, тем ясней!
Снова мне из детства машут
Гривы спутанных коней.
Ай да кони! Стойте, кони,—
Ветры кружатся, пыля!
Как знакомые ладони,
Выгибаются поля.



Дорога вновь пылится. Обветренные лица,
Потертые ремнями полосочки погон.

Привычная работа. Знакомый запах пота.
Одна у всех забота, один для всех закон.

И не напишешь маме обычными словами,
Как весело под праздник
жевать паек сухой,
Как сразу повзрослели
под тяжестью шинели,
Под выкладкой походной.
Под красною звездой.

Сергей Борисов



Разлив

Я звездной заматью измучен,
я в нежных думах уличен.
Пляши под музыку уключин,
гонимый паводками челн!
Ходи по травам и по водам,
гуляй, широкая волна.
Душа смятением и свободой
полным-полна, полным-полна.
И в синем полыме разлива,
куда я правлю и гребу,
светло оплакивает ива
мою счастливую судьбу.
Страна стремнин и разнотравья
веселым вымыслом красна.
И нет ни славы, ни бесславья,
а только песня и весна!

Птицы

Опять плывут над сентябрем
большие северные птицы,
как будто небо день за днем
листает белые страницы,
как будто хочет в них прочесть,
лугов докуривая ладан,
что и в пиру похмелье есть
и мир сменяется разладом,
что от лебяжьего крыла,
рассветы взрезавшего косо,
жестоко за душу взяла
тоска без жалости и спроса.
Глухой ударил листопад

в отцветших рощах не на шутку,
и тяжело и невольно
слова отвечают рассудку...
Но в этом песке тишины
я слышу явственнее многих
предвосхищение весны,
преодоление дороги.
Перебродив в добре и зле,
пустых страстей счищая накипь,
я узнаю любви к земле
опознавательные знаки.
Я разпичаю письма
иного, радостного смысла...
И это небо, как волна,
над головой моей нависло.
И содрогаясь и светясь,
оно все глубже, громче, ближе...
И все отчетливее вижу
я с жизнью жертвенную связь.

Песня листьев

Качаясь в седом дыму
густой моподой метели,
мы в землю по одному,
чуть вздрагивая, летели.
Нас тусклая кроет медь,
нас грустное помнит слово,
мы жипи, чтоб умереть
и возродиться снова,
чтоб, пряча под синий лед
покорный и желтый ужас,
последний свершить попет,
сомнений не обнаружив,
чтоб цвета с себя не снять
в бреду окаянно-светлом
и белую смерть принять
с тугим поцепуем ветра.
Играй же, губи и бей,
и жадно следи, повеса,
как реют с живых ветвей
погибшие дети леса,
как косо и напрямик,
больное роняя пламя,
мы в этот последний миг
прощаемся со стволами.
И пусть мы войдем, тихи,
в железную наледь прахом,
но где-то иных стихий
крылато шумит рубаха!
И новый весенний глас
всем выюгам звучит на зависть,
и вновь повторяет нас
другая земная завязь.
И в этом, наверное, смысл
суров и невыбираем,
для этого жили мы,
поэтому — умираем.

Дом

Фасад весь в трещинах, в них зеленеет мох,
дом от крыльца до крыши тронут тленом.
Клен за калиткой вывихнул колено —
хотел прийти на помощь, но не смог.
Дом грустно, как в побитые очки,
глядит вокруг глазами низких окон...
Его вчера покинули сверчки,
ему без них темно и одиноко.
Дом доживает век... Ты посмотри,
как он за годы долги натружен

метелями и грозами — снаружи,
зачатьями и свадьбами — внутри.
Он шепотом прощается с тобой,
уже сродни старинному поверью,
стена покосившейся трубой,
рассохшейся поскрипывая дверью.
Пойми его... Погладь его рукой
по ряби стен, по выцветшим обоям,
пусть вам легко припомнится обоим
минувших лет счастливый непокой,
когда ты жизнь менял на чудеса,
а дом не знал ни сумерек, ни прели,
и в окнах палпы круглые горелки,
и в комнатах звучали голоса...

Яик

(Начало исторической баллады)

Коня утоми, припади и испей
тяжелой, уста обжигающей стынн
за бурым простором завожских степей,
у серой от жажды киргизской пустыни.
Косматый от верст, от раздолья седой,
ты жадно почуешь, как, прянув с Иргиза,
над темной яркой монгольской водой
кочевничий ветер ознобен и низок,
как плещут на рыжую шапку твою
земные рассветы ущербно и русо,
как пестро и дико танцуют у юрт
скуластые смуглые девки улусов,
и коршуны, перья теряя свои,
над хмурым урочищем ходят по кругу,
да смутной стремниной острый Яик
от Ори к Чагану проносит северю...

Вениамин Каплун



Подсадная

Резиновую лодку держит небо,
Закатом опаленное уже.
Откормленная рыбою и хлебом
Покрякивает сыто в квымыше.
И селезни доверчиво слетают.
Стараясь подсадную не задеть,
Два черные отверстия считают
Кровавые разводья на воде.
Папит свояк — разрывы как из пушки.
И я по облакам дуплетом быю.

Продрогну — и у пастухов в избушке
Зеленую полынную допью.
Закашляюсь, сошлюсь на нездоровье,
Плащ натяну и отвернусь к стене.
Рябит вода, запачканная кровью,
И селезни спетаются ко мне.
Резиновую подку держит небо,
Закатом опаленное уже.
Откормленная рыбою и хлебом
Покрякивает сытно в камыше.
Взвожу курки над зеленою и топью
И в два ствола кромсаю, решечу
Ту, подсадную, самой крупной дробью.
А утром просыпаюсь и молчу...

Приртышь е

Зимовала синица в снегу.
Утопала под снегом светлица,
За водою ходила девица
Вот на этом родном берегу.
Пахнет петом пиства тополей.
Пахнет тополем раннее лето.
Тенью веток укрытый от света
По оврагу петляет ручей.
Вдоль оврага дырявый плетень
Обнимают дырявые сети.
Сушит ива зеленые плети,
За плетнем отцветает сирень.
Сушит ветер костры ивняка,
Катит волны река, не смелкая,
Синевою небес попыхая,
Обнажая свои берега.
Берега эти я берегу.
Вот овраг, вот ручей, вот синица.
Вон и девица, вон и светлица...
Подойти и напиться могу.
За синицу даю журавлей.
У светлицы купаются дети.
Пахнут детством дырявые сети
И густая листва тополей.

Троллейбус

Придет прораб, хромой и хмурый,
Гвоздем кабину отомкнет.
Заглянет в банку с попитуры,
Забросит в ящик бутерброд.
Начнут строители сходиться,
И станет убывать сугроб —
Щитки, веревки, рукавицы,
Завалы валенок и роб.
На кузов, латаный и мятый,
Тень крана грубо упадет.
О буфер оботрут лопаты.
Так каждый день и каждый год.
Но шорох шин и посьвист ветра
Почудится средь площадей.
А на окно пожится ветка.
По ветке скачет воробей.
И льнет доска щекой шершавой.
И ночью штангою кривой
На ободах худых и ржавых
Все ищет провод над собой.

Владимир Сидоров



Я люблю городскую природу.
Отзывается сердце мое
На ее подчиненную воду,
Несвободную земень ее...
Вот из влажно блестящего шланга,
Из медлительных дворничьих рук
Ударяет вода, словно шлягер,
Из «Спидопы» ударивший вдруг.
И не зная, что организован,
Что на проливень топько похож,
Разражается над газоном,
Как над пугом ромашковым, дождь.
И еще для похожести вящей
На своей занебесной тропе
Солнце радугой — настоящей! —
Подыграло воде и траве.
Шеп ребенок, свободный художник
И работник изящных искусств.
Засмеялся он радостно: «Дождик!» —
От избытка нахлынувших чувств.
Растопырип под дождиком пальцы,
Словно куст растопырип листы.
Неумело поупыбался
Мастер сказочной чистоты.
Дворник кончип привычное дело.
Запер вентиль, ушел погода...
И распалось воздушное тело,
Серебристое тело дождя.
Прилетала пчела за нектаром.
Ткнулась даром туда и сюда.
В шланге с номером инвентарным
Городская лежача вода...



Зеленые горы акаций
Сигнал в три копена трубят
К открытию петних вакаций
У взрослых и у ребят.
Словечко невзрачное «отпуск»
В густом лексиконе работ
Сияет, как будто бы фокус
Дарованных петом свобод.
Высоко, над крышею школьной
Идет самолетик к земпе —
Листок из последней контрольной,
И красное «5» на крыле.



Обыкновенно, как река,
И на глазах у всех
Течет по дереву кора,
Но только снизу вверх.
Течет закону вопреки
Река не сверху вниз,
И оттого-то у реки
Все жилы напряглись.
И не спивается струя
С соседнею струей —
Так не свивается струна
С соседнею струной.
Кора струится, как вода,
Но, позабыв напев,
Издеиём из древолюда
Заледе-ре-венев.
Ее рисунок, как чертеж
Из лоции, прочтешь:
Здесь мелью струи развело,
Здесь — глубина. Дуппо...
Так до известной высоты.
А там уже зенит
Ствоп в крону дивной красоты,
Как в дельту, разветвит.
Растает в листья древолед,
Озвучен, осиян,
И в небо синее впадет,
Как в море-океан.

Петр Кошель



Так здравствуй же, общее дело,
летающее в песню и в стих,—
прекрасная вечная тема
высоких деяний людских!

Как звонкий гудок электричек,
косым зацепивши крылом,
тебя наделивши отпичьем,
несет в голубой оком.

Несет, и несет, и возносит,
и снова швыряет к земле,

где осень, где сад купоросит,
где стынет смола на стволе,

где окуни стонут в затоках,
кричат по кустам сопосы,
где ходит веселый садовник
с нехитрым оружием своим.



Январь,
снега,
пронзительны леса,
и кто-то под горой бежит на лыжах.
Как зеркала, вбирают небеса
январь, снега и наши — те! — песа.
Пройдут года.
Все отлетит назад.
Но как-то раз я, как сейчас, увижу:
январь,
снега,
пронзительны леса,
и кто-то под горой бежит на лыжах.



Погода дождем исходила,
по городу слезы текли,
и та, что меня не забыла,
кричала сквозь осень стихи.

В ознобе корежились зданья,
летела вода в желобах,
и мягкое слово признанья
дрожало на влажных губах.

Я видел, как ветер полощет
улыбки, слова и белье,
и кровушку наших полотнищ,
и русское имя твое.

Наташа. Наташа. Наташа.
Прекрасная, в новом папшто.
Сентябрь, и никто не накажет
да и не увидит никто.

Никто никогда не осудит,
о спрятанном вспомнив своем,
за то, что хорошие люди
прошлись под осенним дождем.



По тающей вниз Долгобродской
к речушке озябшей пройдем.
Пускай нам любовь не дается.
Пускай — на потом, на потом.

Но в небе в расхлябанных высях,
как по-белу гонит строка,
залеплены, в пламенных листьях,
летят облака, облака.

Булат Сулейманов



Притяжение Сибири

Я — сибирский татарин, рожден Иртышом.
Здесь и деды и прадеды жили,
Здесь в веках мои братья упорным трудом
С Иртышом состязаются в силе.
Я не гость, не пришелец, и кровная связь
С этим краем во мне пламенеет.
Притяженья земного осилил я власть,
Притяженья Сибири — сильнее.

Перевела с татарского
Т. КУЗОВЛЕВА

Осень

Даже птицы покинули теплые гнезда, и померкло за тучами золото дня. Все лесные коряги, насупившись грозно, исподлобья угрюмо глядят на меня.

И мне кажется: прежним потокам
 не литься,
не звенеть заколдованным трелям скворца.
Под ногами пежат порывелые листья,
словно черных, усталых деревьев сердца.

**Нет, неправда! Весна после дней ожидания
вновь придет по законам природы самой.
Подо мной лишь опавшие воспоминанья,
Сердце леса стучится в корнях,
под землей.**



**Если джигит старика оскорбит,
к другу в беде не придет,
хоть и не скоро, но все же простит
грех этот тяжкий
народ.**

**Еспи джигит свою земпю предаст,
тайно из битвы уйдет,
с предками рядом земле не предаст
труса такого
народ.**



**Зерном заманили лесного певца,
и в клетку, на место другого скворца.
По воле скучал он и ночью и днем,
о прутья жепезные бился крылом.
А люди, ему надиваясь под конец,
бросали: — Красиво поет! Молодец!**

Перевел с татарского
Л. СМЕРНОВ

Глеб Седельников



Осенью все журавли улетели на юг,
И только колодезный журавль
Остался на нашем дворе.

Они звали его с собой,
Трубя по утрам побудку,
А он стонал, как раненый,
Дергал деревянными крыльями,
Но подняться в небо не мог...

**И припадап к роднику,
И пил. И пил... Без конца...**



**Музыкант! Сыграй мне на звонке,
Чтоб дверь к себе я для тебя открыл!
Не можешь! А она умеет!..**

**Музыкант, сыграй мне на ступеньке,
Чтобы все тише, тише и не слышно.**

**Какой же ты, приятель, музыкант,
Когда играешь только на рояле!..**



Мне яблоня приснилась поутру
Как будто все ходила по двору,
Постукивала кривенькой подпоркой
И яблоки звала листвою горькой.

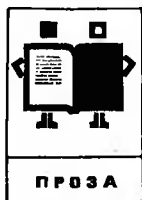


Владимир ЯКИМЕНКО

Владимиру ЯКИМЕНКО 20 лет.
Он студент IV курса филологического факультета МГУ.
Печатается впервые.

БАТЬКОВЩИНА

РАССКАЗ



ПРОЗА

Рисунок
А. СИТНИКОВА.

I

В комнате душно, одиноко тикает будильник на подоконнике, от ветра позвякивают плохо пригнанные стекла. Я лежу и почему-то вспоминаю нашу поездку на родину отца. В небольшое украинское село в степи.

Ребристая проселочная дорога, по краям дороги чахлые тополя с посеребренными от пыли листьями. И дальше, по обе стороны, исчерченная желто-зелеными прямоугольниками кукурузных и подсолнечных полей, тянется в зыбком мареве степь. Машина накалилась, как жаровня, к металлическим частям не притронешься. Я в изнеможении откинулся на спинку сиденья: последнюю ночь дома почти не спал, вернулся в два, а в пять уже надо было ехать. У Таньки завтра последний экзамен. Поступит или нет? Конкурс большой... Вдруг не поступит, вернется к себе в Новосибирск, и не встретимся, может быть, никогда. Да ну, чего об этом думать! Назад все равно не повернешь. А может, все-таки поступит?

Машину подбросило на колдобине, я больно ударился головой о дверцу, скрипнули тормоза.

— Ну что, гулена, проснулся? — весело засмеялась мама. — Надо же, гонял где-то часов до трех, светать уже начало, когда вернулся. Мне просто интересно, с кем ты гулять мог? Какая нормальная девочка до утра будет неизвестно где шататься! У нее ведь тоже родители есть.

Я снова откинулся на сиденье, потер ушибленную голову и закрыл глаза. Разве они поймут, родители? Лучше не думать ни о чем. Полтора месяца отдыхать — ужас. Да еще вот по таким дорогам таскаться.

К селу, где живет Даша, сестра отца, подъезжали засветло. Какое-то бесконечное село, село одной улицы. Дома высокие, каменные, шифером крытые (под соломой и не найдешь), а все так и тянутся по старой привычке вдоль единственной улицы. Круто выгибаясь, улица спускается к розовато отсвечивающему, поросшему камышами озерцу. Навстречу машине легко рысит на подъем пегая лошадь, запряженная в двуколку; потный краснолицый парень в зеленой нейлоновой рубашке и пестром, сбившемся в сторону галстуке, правит, а рядом поджала бескровные губы старушка с белым узелком на коленях.

Впервые я в селе. В деревни подмосковные ездил, а вот в настоящем селе первый раз.

У палисадника крайнего дома на скамейке сидит невысокий мужичок в матерчатой фуражке — вытянул ноги в стоптанных кирзовых сапогах, по сторонам посматривает, курит. Отец начал притормаживать, мужичок повернул голову и с интересом следил за машиной. Неожиданно машина свернула на обочину и остановилась прямо у калитки. Мужичок бросил папиросу, поднялся, ладонью прикрыл глаза.

— Кого ж цэ бог послал? — проговорил он озадаченно, стараясь разглядеть наши лица.

Отец торопливо вылез из машины. Мужичок прищурился, шагнул вперед.

— Ха, так ведь цэ Толя! — узнал он отца. — Приехали! — И заспешил навстречу, смешно переваливаясь на коротких кривых ногах. — Это что, прямо с Москвы? Когда? Вчера? Ну вы скажите, мы уж надеяться перестали, думаем, забыли нас, простых колхозников, — сыпал он скороговоркой и тряс отцов-

скую руку.— А это кто ж? — заметил он нас.— Семья твоя? Вот это диты уже такие, а то жинка?! Та чего вы стоите? Заходите.

Во дворе степенно бродили куры, на низком стульчике под деревом замузанный мальчонка доедал арбуз. Увидел нас, выронил арбуз, глаза у него стали большие, он открыл рот и заплакал. На шум из-за дома вышла пожилая усталая женщина, придерживая руками подоткнутый с боков передник. Вышла и остановилась нерешительно. Но вдруг в лице у нее что-то дрогнуло, она охнула, выпустила из рук передник, крупные луковицы тяжело посыпались на землю.

— Ой, братику, мой родненький, приехал! — не удержалась, заплакала, запричитала.— Да как же это? А я-то замарашка какая, с огорода только. Ну подожди ж, дай хочь руки вытру,— всхлипывала она, отстраняясь от отца.— Ой, господи...

Неужели это та самая Даша — первая красавица на селе, чернобровая, кареглазая, косу не обхватывай, — о которой так часто рассказывал нам отец? Парни табуном за ней ходили; сваталось много. А вот жизнь тяжелая вышла. В отместку что ли за веселую молодость? Муж рано умер, осталась одна с тремя детьми. Победовала тогда в голодные годы. Потом снова замуж. Гриша, оказалось, «прихрамывает» на алкоголь. Год назад сын на мотоцикле разбился...

Даша оглянулась на нас, смахнула слезы.

— Я сегодня как чувствовала, борща столько наварила, — сказала, словно оправдываясь.— Сон был: будто волна огромная за мной гонится, я бегу, а она настигает. Не иначе, думаю, к гостям. Ну, проходите же в хату, с дороги голодные, наверное.

В хате прохладно и полутемно. Над телевизором под старой почерневшей иконой горит лампадка, кровать горбитесь высокими подушками, накрытыми кружевным покрывалом.

Гриша, загадочно покашлявая, принес из коридорчика бутылку с бумажной пробкой.

— Ну что, Толя, — повея глазами в сторону бутылки, — по маленькой за проезд?!

На дне бутылки в мутноватой жидкости заколыхались две черненькие мухи. Отец подозрительно посмотрел на Гришу.

— Самогон?

Гриша заерзал на стуле, хитрые глазки его под белесыми, чуть заметными бровями забегали.

— Да как же, Толя, магазины-то закрыты сегодня, воскресенье. А тут, значит, такое дело. Я одну ее только и берег на случай гостей, уже и не помню, сколько лет лежит.— Он помолчал, покашлял виновато и как бы между прочим добавил: — А потом, я тебе скажу, как без него обойдешься? На работу человека наймешь, мы-то с Дашей старые, а по хозяйству, сам знаешь, то одно, то другое сделать надо. Так теперь без магарыча работать не хотят. Денег им и так, скажи ты, хватает, а вот выпить... Ну, давай за проезд!

Гриша выпил, даже не крикнул, не поморщился, отломил кусок хлеба, понюхал, пожевал огурец. Темно-коричневый от загара лоб и лысая голова у него сразу покрылись капельками пота. Гриша откинулся на спинку стула.

— Да, живут сейчас люди. Раньше и не мечтали, что такое будет. В городе у сына гостил, на-смотрелся... Жинка выйдет, так то ж жинка; и сама одета и дети нарядные. А мужики такие брюха понаедали. Еще молодые, здоровые, идут на лежачий хлеб. Толстеют, едят, пьют; пенсию носят прямо в хату. Живи, так нам уж некогда жить.

— А вы что, братик, завтра в Михайловку поспе-

те? — спросила Даша. За стол она так и не садилась — кабана ж надо накормить, да Алеша, внучек, как же малое такое, неразумное одно во дворе? В колодец бы не свалился, да мало пи что. Так и бегала.— И вот присела на минутку на краешек стула, платок сбился на лоб.— Ох, братик, и я б в Михайловку поехала. Вы ж возьмете меня? Хочь последний раз перед смертью взглянуть на батьковщину.— Даша всхлипнула, опустила глаза, нервно покусывая кончики платка.— Время наше подходит: голова думает, а ноги не согласуют, как подурели, начали болеть, чуть потанцую по двору, уже и полежать хочется. Недавно приступы были; печет, горит все в животе. Я терпела — печет, а все ж так хожу, сама себя обслуживаю. Потом и двигаться невмочь стало. Врачи признали сто хвороб — говорят, у вас что есть в середине, все больное.— Даша замолчала и, вдруг выпрямившись, тряхнула головой, как будто сбросила с себя старческую немощь. Глаза ожили, умные, озорные, голос зазвенел по-молодому.— А пошли они все к черту, те врачи! Запугали дурную бабу, она и расхныкалась. Нет, я хочу жить и буду жить! Радио кричит над кроватью, будит: «Поднимайтесь, трудари, добрые люди! Весна! Пора работать, жить». Ну как тут улежишь? Поднялась.

— В Михайловку, значит,— вмешался Гриша.— А чего не съездить, съездите. Зараз ее не узнать. Дома — не у каждого кулака такие были.— Он потянулся к бутылке.— А ты что, Толя? Все? По стаканчику? Нельзя? Ну ты скажи, приехал человек из самой Москвы и за встречу... Не? Та чего ж, это, конечно, такое дело, смотри...

Я незаметно вышел во двор. Теплая ночь, звезды яркие, большие. Чуть белесют в темноте хатки, где-то далеко, на другом конце села, поют. Украина... Чумацкий воз в Днепропетровском музее, который, кажется, еще пахнет солью, запорожские жупаны в застекленных витринах — такой знал я ее в детстве. По ночам мне снились казачьи сабли, пи-стоletы, богатые скифские клады в таинственных, поросших травой курганах. Нет, здесь совсем другое. Настойчиво зовут в степь цикады, и слышно, кажется, в шорохах ночной степи печальное пение усталых чумаков; облокотились о высокие деревянные колеса, костер горит в темноте, и поют о товарищах, оставшихся навечно там, у далекого Сиваша, о горькой своей жизни. Сама собой вспоминается казацкая церквушка в Тамани, гранитный памятник запорожскому казаку над самым морем. Дедушка в своей любимой вышитой сорочке держит меня на руках.

«Вот по этим звездам, коханный мой внучек, казаки находили путь домой, когда из Туретчины возвращались».

И вот они звезды и эта степь, знакомые и родные с самого детства.

2

Утром позавтракали наскоро. Даша в новом, не ношенном почти платье села рядом с отцом на переднее сиденье. В объезд до Михайловского далеко, и отец погнал прямо по степи, без дороги, по еле примятой какой-то случайной машинной траве.

Степь... Суслик испуганно метнулся перед машиной и замер, вытянувшись столбиком у норки. Отец вертит по сторонам головой, улыбается:

— Смотрите, смотрите! Вот на этом холме скифская баба стояла. Мы же здесь с отцом на лоша-



дях ездили. У Даши ночевали, а оттуда прямо в Днепропетровск. Эх, ридна моя степь! — Он прикрыл глаза.

— Толя, Толя! Ты так нас где-нибудь перевернешь,— испугалась мама.— Смотри, пожалуйста, на дорогу.

Степь. Вроде что тут красивого? Бесцветная полынь, заросли молочая да колючки. А вот притягивает и манит, как море. И неповторимый, горьковато-сладкий запах. Нельзя сказать, полынь пахнет, мята или что другое. Пахнет сама степь.

Михайловку Даша не узнала— все новое, непривычное. Старые мазанки, как сироты среди богатых родственников.

— Братику, я же тут ничего не признаю. Господи, да что это? — заволновалась она.

Отец вел машину медленно. Здесь для него не существовало времени. Казалось, через много лет он попал в знакомую комнату, давно обжитую другими людьми, заставленную новой мебелью, и старается вспомнить, как же раньше все было, что и где здесь стояло.

— Да вот же она! — закричала Даша и, не дождавись, пока остановится машина, стала дергать никелированную ручку, пытаясь открыть дверь. —

Братику, остановись! — взволнованно вскрикивала она.— Ведь то наша хата.

Отец затормозил. Даша бросилась к палисаднику и остановилась растерянno, беспомощно оглянувшись по сторонам.

— А может, и не наша. Наша как будто не так стояла.

Отец подошел, долго стоял рядом, молчал, хмурил лоб.

— Нет, я помню, хата наша на углу, а дальше, слева, кладбище должно быть... — сказал наконец уверенно, махнул рукой и медленно пошел вдоль улицы, вглядываясь в какие-то только ему понятные приметы. У калитки углового, чуть вытянутого приземистого домика он резко обернулся, замал нам рукой.

— Даша, вот она! Узнал! Даша! Стены наши так и остались.— У отца было какое-то очень мягкое, нежно-радостное выражение лица. Такие лица бывают у родителей, когда они после разлуки встречают детей.— Крыша новая, у нас соломенная была, наличники другие. А сада, смотрите, совсем нет. Одна груша— вон у порога— и та высохла. А какой сад был!

Отец торопливо завернул за угол, в проулок, где за крайним домом виднелся пологий спуск, покрытый уже выгоревшей за лето буровато-серой, почти пепельной травой.

— Вон и толока — коров туда гоняли на выпас. А левее кладбище должно быть. Только его отсюда плохо видно за деревьями. Зимой темнеет рано, возвращаешься из школы, другой дороги здесь нет, лонаслушаешься еще, как мертвецы в белом из могил встают, прямо скулы от страха сводило.

Но я не слышал отца. Вот она какая, толока!

...Припухшие, с синеватыми прожилками руки бессильно лежат поверх толстого стеганого одеяла. Дедушка. Заострилось лицо, набухли лиловые мешки под глазами. Он болен. Во сне он что-то говорит, быстро, вздохнув, до кашля. Со стоном замолчит и снова. Дедушка бредит. Ранней весной он ходит босиком по толоке, мягкая зеленая трава щекотно покалывает ноги. Старая груша стоит в цвету у самого порога родной хаты. Мальчонкой еще полез сюда за медом и застрял в узком дупле. Пчелы жалят больно, рука опухла, совсем не вытаскишь. Не выдержал, закричал во весь голос, заплакал. Большие отцовские ноги больно сдавили ребра: «Мед захотел? Вот тебе мед, вот тебе...»

Но почему так пахнет степью? Чуть сладковатый запах чабреца — родной, близкий, последний в этой жизни.

...Как в забытии бродит отец по селу, хмурится, не узнавая старых улиц, радостно улыбается, найдя чью-нибудь знакомую хатку.

— Ты смотрел! — почти кричит он, останавливаясь около покосившейся халупы, давно не беленной и похожей больше на разваливающийся сарай, чем на дом, где могли жить люди. — Ведь это Гыкова хата! Друг мой Гык здесь жил. Вместе росли, в школу ходили. Значит, стоит еще...

Даша подошла к родной хате, обошла ее кругом, долго стояла молча, потом шагнула, быстро погладила стену рукой и расплакалась.

— Наша хата. Теперь и я тебя признала. Привелось все ж таки увидеть.

А на улице у нашей машины понемногу собирались люди. Из соседнего с «отцовским» дома шумно провожали приехавших с утра из Днепропетровска гостей. Пропылила серая «Волга», лихо развернулась у забора, начались поцелуи, прощальное: «Так вы ж не забывайте нас, как там свободное время выдастся, и приезжайте».

Уехали гости, а хозяева увидели на улице чью-то машину с нездешним номером и подошли узнать, к кому это приехали. Может, к знакомым кто? Подошли несколько старушек из тех, которые, как начинает спадать дневная жара, выходят посидеть на скамеечках, в тени у забора, полущить семечки, обсудить с соседками события дня.

— Вы не знаете, кто это приехал? Жили когда-то здесь? А хвамилию их не знаете? Да вот он сам идет. Вот тот? Знакомое что-то лицо.

Отец подошел к людям, поздоровался, ему ответили вразнобой, потом неловко замолчали. Отец повернулся к старушкам и неожиданно спросил глуховатым голосом:

— Вы меня не помните?

— А вы кто будете?

— Да вот здесь, на углу, жили. Карандашами нас прозывали. Не помните?

— Карандаши? — Старушки заговорили все разом. — Это не Мыколы Опанасовича, учителя, сынок? А чего ж, помним.

Люди все подходили. Даже неудобно было чувствовать на себе столько взглядов. Несколько старушек исчезли куда-то, но скоро вернулись, при-

наряженные, в праздничных платках. Женщина, что жила в «отцовской» хате, сбегала к себе, нарезала прямо с клумбы георгинов. Подошла к Даше, протянула букет, хотела что-то сказать и смутилась, прижалась к забору, смахнула набежавшую слезу. Отец стоял среди людей как именинник и улыбался по-детски, ласково и беззащитно. Даша плакала тихонько. А люди все говорили, торопливо, наперебой, одни с радостной улыбкой, другие со слезами вспоминали то, что прошло и никогда уже не вернется. Вдруг отец шагнул к забору соседнего дома, вглядываясь в глубину двора.

— Тут не Ганна живет? — ухватился за забор руками, вперед подался. Говорит торопливо, словно потерять что-то боится. — Я же помню, здесь она жила. Мальчишкой на свадьбе у нее гулял. Из церкви они на тройках возвращались, а на дороге костер огромный разожгли. Так они прямо через огонь: лошади храпят, ленты на дугах развеваются. Люди замолчали.

— Так, может, позвать Ганну? — спросил кто-то.

— Нет, нет, не надо, — быстро повернулся отец. — Зачем человека от дел отрывать?

— Да чего там! Она зараз придет.

— Да нет, что вы, это я так, вспомнилось. — Отец отошел от забора.

Тут люди не выдержали, засмеялись, зашумели, подталкивая вперед упирающуюся старушку.

— Вот же она, Ганна!

Дряблов старческое лицо, запавший рот, смущенная улыбка одними губами, пальцы неловко тереват смятый носовой платок.

— А вы не узнали?

Отец отступил на шаг, попытался улыбнуться:

— Не узнал, — и полез за сигаретами.

Но пора было ехать. Стали прощаться.

— Та подождите! У меня такие яблочки хорошие, покушаете в дороге, — торопливо заговорила какая-то женщина.

— И то, пирожки сегодня пекла, гости вот только уехали, — спохватился еще кто-то, — с вишней, с яблоками. Подождите, я туточки живу.

— Да что это Мотя побежала? У нее яблоки мелкие, а у меня налив, — заволновалась другая женщина.

Прощаясь, старушки даже всплакнули.

— Ты глянь, не забывают люди. С самой Москвы приехали на батьковщину посмотреть.

Снова машина подскакивает на колдобинах, по сторонам дороги мелькают пыльные тополя. Отец молчит, Даша, вытянувшись, смотрит вперед на дорогу, прижимая к себе букет георгинов.

— А люди, братику, все те же, — вдруг говорит она негромко. — В войну от голода ходили мы на хутора вещи кой-какие на продукты менять. Осень была, холодно, дождь мелкий срывался, ну и заболела я в дороге. Молодая была, слабая. Да так, знаешь, прихватило, чувствую, иди не могу. Постучала в один дом, не выбирала, просто стоял ближе всех. Люди пустили меня, хозяйка побежала по соседям, достала где-то молока, нагрела. Ну, ты представляешь? При немцах часто картошки не было, а тут незнакомым людям молоко. И потом сколько ни приходилось по людям ночевать, так всегда последний кусок хлеба разделят. Свои ж, родные! Так, видно, оно и сейчас.

За поворотом скрылось село, притихла на сиденье Даша.

Что-то родное и знакомое с самого детства по-новому открылось для меня — очень большое и важное, может быть, самое важное в жизни.

Что же?
делаю?



Совсем недавно мне довелось побывать в колхозе «Путь Ильича», что в Зубцовском районе Калининской области.

И мне припомнился очерк И. Васильева «Женихи и невесты», опубликованный в журнале «Юность» № 8 за 1971 год. Действительно, прав оказался председатель колхоза Сергей Романович Ильин: выучились за колхозный счет два счетовода, два зоотехника, три агронома, один экономист.

Хорошо живется в колхозе: большой Дом культуры, жилье для молодых специалистов, большие механические мастерские.

Кажется, все гладко. А молодежь-то рвется в город. Да и те, что остались, подумывают: что же делать?

Специалисты, которые пришли работать в свой колхоз, вынуждены сидеть дома. В чем причина? «Для меня сейчас важнее ясли построить, чем механическую мастерскую... Ну-ка, два десятка специалистов — молодых матерей — сядут на год-два дома?.. Прямой убыток!» — говорил Сергей Романович три года назад.

А они сидят, Сергей Романович! Детишек-то оставить не с кем. Где же ясли? А они очень нужны. Около десяти матерей только в центральной усадьбе вынуждены сидеть дома, чувствуют себя должниками перед колхозом.

Действительно, прямой убыток.

Александр МИРОШКИН

г. Москва.

ТРЕТИЙ... НЕ ЛИШНИЙ

Вот такое письмо в редакцию «Юности» прислал Александр Мирошкин. Меня как автора названного очерка попросили ответить.

Не знаю, молод или стар Александр Мирошкин, подолгу бывает в наших краях или наездами, вникает ли в то, что видит вокруг? А не зная человека, как-то неовко отвечать ему. Я предположил, что Александр молод и колхозу «Путь Ильича» не посторонний, коль пишет с такой заинтересованностью.

Итак, продолжим разговор, начатый журналом. Женихи и невеста стали мужем и женой, в деревне образовалась молодая семья: сначала двое, потом появился и третий. Появился и связал родителей. Мать уже не агроном, не зоотехник, а домохозяйка на много лет. Отцу падо работать за двох.

Я ехал в очередную командировку автобусом. Рядом сидела старушка городского, интеллигентного вида. Как водится в дороге, разговорились. Она спросила, где лучше сойти, чтобы попрямее попасть в деревню Горки. Объяснив дорогу, я поинтересовался, к кому она едет, ибо бывал там и многих знал.

— К дочке собралась. Внука поглядеть. — И рассказала, что дочь после института работала в здешнем колхозе экономистом, но теперь не работает, а сидит с малым, что зять из местных, но молодые живут не с его родителями, а отдельно, в хорошем доме на три комнаты, удобства, как в городе, неплохо живут, одна беда — ребенка деть некуда.

— Вы, похоже, городская, — сказал я. — Вам далеко. Ну, а сватья что же? Разве не может за ребенком присмотреть?

— Так она в этой... как их теперь называют?.. В дальней деревне, в пяти километрах. Говорила я дочке, не торопитесь с ребенком, на столько лет обуза.

— Три комнаты, говорите, имеют, ну и взяли бы к себе бабу.

— Что вы! Это я в городе живу — ни кола, ни двора, а у сватья — хозяйство. Откуда бы молодые мясо, молоко брали? Хотя в этом нужды не знают...

В этом случае — почти все проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие молодые семьи на селе. Жена, как правило, приезжая. Городская или из другой местности. Она направлена сюда после учебного заведения экономистом, агрономом, библиотекарем, фельдшером, учительницей. Муж чаще всего местный — механизатор, механик, электрик. Работа у них на центральной усадьбе, и им, разумеется, здесь же дают жилье: из того, что строится, в первую очередь молодым специалистам. А строятся у нас пока мало, поэтому о переезде стариков родителей из неперспективной деревни в поселок и речи быть не может. Перевозиться самим? Старую избу только рассыпь — собирать нечего будет. На новую же не очень хотят тратиться, а если бы и пожелали на свои деньги построить, то где ее, новую избу, купить?

Так что старики предпочитают доживать век в родных «неперспективных», что для молодых имеет и большой плюс и большой минус. Плюс в том, что не надо заводить своей скотиной, с родительского двора кормятся, а минус — нет бабки-няньки, матери приходится бросать работу.

Выход один — ясли-детсад. Понимают это все, но...

Еду в колхоз «Путь Ильича» и показываю Сергею Романовичу Ильину письмо Александра Мирошкина.

— Все правильно. Специалисты сидят дома. Детсада нет. — Председатель озабоченно вздыхает. Я хорошо знаю этого инициативного, беспокойного руководителя. Знаю, сколько сил и нервов стоит ему новый поселок, в котором пока лишь клуб, контора, восьмиквартирный дом да четыре рубленые избы. Надо строить, вот как надо, но все деньги ушли на животноводческий комплекс. Можно бы взять в кредит, а где взять подрядчика, ведь все ставится хозяйственным способом. На коровники, слава богу, нанял бригаду приезжих, да и материалы на коровники как-никак идут фондовые, а на другие объекты, коль своими силами строишь, еще напачешься. Трудности эти для нашего края общие, они преодолеваются, но не так скоро, как хотелось бы.

Однако проблема детских садов имеет и еще одну сторону. Сергей Романович из каких-то соображений о ней умалчивает, но я знаю опыт других колхозов и спрашиваю в лоб:

— А выгодно ли вам строить детский сад?

И тогда мы начинаем считать. Он говорит, что детсад как минимум обойдется тысяч в шестьдесят. В поселке десять ребятишек, большего пока не предвидится. По всему колхозу наберется, пожалуй, десятка два... Тут он приглашает экономиста и просит назвать прошлогоднюю цифру производительности труда. Оказалось, что каждым работающим произведено продукции на три тысячи рублей. Умножаем три тысячи на двадцать матерей — получается, что детсад оправдывается. А дальше начинаются «не». Собрать детей со всего колхоза нужен автобус — его нет, и неизвестно, где и как купить. Это раз. Мнимый штат детского сада — 10—12 человек obsługi: няни, воспитатели, повара и т. д. Их нет, надо откуда-то приглашать. Это два. Всем приглашенным надо дать жилье, а готового нет, надобно строить... Круг замкнулся. Если все «не» положить на другую чашу весов, они перетянут детсад.

Что же получается? Третий в семье, выходит, и для колхоза лишний? Выше я сказал: «Знаю опыт других колхозов». В «Новой жизни», что под самым Ржевом, построили хорошее здание детсада. Стали считать ребятишек — семеро! Всего-навсего. Здание отдали в аренду больнице. В другом хозяйстве, колхозе «По заветам Ильича», возведи детский комбинат-ясли и детсад и... тоже сдали в аренду больнице. Причина та же: детей мало, обслуживающего персонала нет, специального транспорта собирать детей из деревень за десять верст нет.

Сергей Романович высказал мысль, на мой взгляд, заслуживающую внимания. Он сказал, что нашим крупным хозяйствам нет смысла тратить, чтобы каждому иметь все свое: ясли, детсад, медицинские пункты, школьные интернаты, пионерские лагеря, библиотеки. Ведь все это приходится ставить заново, а экономика уже подталкивает нас к большой концентрации, к установлению тесных производственных связей. Короче говоря, дело идет к укрупнению производства. А коль так, пора думать о кооперации и в социально-культурном строительстве, то есть двум-трем соседям ставить, скажем, крупный детский городок. Другие могут кооперироваться с промышленными предприятиями.

— Вся беда в том, что мало у нас молодежи, мало детей. Школы ежегодно закрываются...

Мало... А сколько это «мало»? Может быть, больше и не требуется? Ведь уверяют же нас социологи, что отток людей из деревни — явление закономерное и вовсе не опасное. Ну так вот посмотрим на тот же Zubцовский район. В 339 деревнях проживает восемнадцать с лишним тысяч человек, из них молодежи от 15 до 29 лет — 1 895, то есть десять процентов. Прироста населения уже несколько лет нет, смертность превышает рождаемость. В 1973 году родилось в расчете на тысячу человек менее десяти детей (точно 9,7). Самая молодая, грамотная, энергичная часть населения неуклонно сокращается. Например, за два года в школьных производственных бригадах обучилось вождению трактора 145 юношей и девушек, а осталось в деревне — пятеро! В колхозах и совхозах уже сейчас не хватает для нормального ведения производства около 5 тысяч рабочих, главным образом механизаторов, животноводов.

А впереди столько работы на нашей земле! На XVII съезде ВЛКСМ Леонид Ильич Брежнев говорил: «Достаточно сказать, что в нечерноземной зоне проживает 44 процента всего населения Российской Федерации. Это район колоссальных потенциальных возможностей, которые сейчас используются далеко не в полной мере. Активная интенсификация сельского хозяйства этой зоны значительно поднимет се

производительные силы, позволит, по существу, как бы освоить новую целину...

Откровенно скажу вам, что, принимая программу развития сельского хозяйства нечерноземной зоны, мы рассчитывали на помощь комсомола в ее практическом осуществлении...

Да, без молодых нам не обойтись. Нужно много, очень много умелых, сильных, энергичных рук. А дело... Э, дело найдется любому! Надо возродить миллионы гектаров неплодородной земли, надо возвести сотни поселков, проложить тысячи километров дорог, надо строить, строить, строить. И пользуясь случаем — ответом на письмо Александра Мрошкина, — я хочу сказать читателям «Юности»: приезжайте. А чтобы слово это звучало более убедительно, сошлюсь на один пример.

Есть в Оленинском районе совхоз «Ждановский». Секретарь комитета комсомола Люба Иванова написала письмо в «Комсомольскую правду» и сказала молодежи то же самое слово: приезжайте. Случилось неожиданное: за две недели почта принесла более трехсот писем. И все пишут и пишут: «Рассчитывайте на нас. Сообщите, когда можно приехать».

Из далекой Тувы прислали письмо шесть девушек и трое юношей — все из тракторной бригады: «Присим принять в совхоз всей бригадой». Из воинской части отозвались: «В нашем взводе 10 комсомольцев. Есть плотники, электрик, механизаторы, монтажники, зоотехник. В ноябре демобилизуемся. Хотим в «Гражданке» поработать вместе. Если согласны принять в свою комсомольскую организацию и найдете работу по специальности, пишите и считайте, что после октябрьских праздников встретимся у вас. Никаких других условий не ставим. За свой дружный комсомольский взвод ручаемся».

Первые добровольцы уже работают в «Ждановском». Работает трактористка и шофер из Ворошиловградской области Вера Ковалева, работает строитель Миша Савельев из Подмоскovie, работает механизатор Анатолий Жукович из Карелии. Всех желающих «Ждановскому» не принять. С удовольствием берут молодых энтузиастов другие хозяйства.

Вот я и думаю: неужто и Сергею Романовичу Ильину садиться за письмо в газету и приглашать молодых в прекрасное село Борки на берегу Волги, окруженное изумительной красоты перелесками? А там, скажем, и Михаил Ефимович Голубев, председатель колхоза имени В. И. Ленина, который возводит великолепный город на Волге под Ржевом и который тоже нуждается в молодежи, последует примеру и начнет писать. А там... Понадобится газетам отвести специальный раздел «Приглашения из Нечерноземья». Оно, конечно, и не худо бы где-то печатать адреса, но только мне думается, за дело это надо взяться райкомом и обкомом комсомола. А уж как, способ найдут. Что же касается тех, кто уже сегодня готов сняться с места и приехать к нам, я бы посоветовал делать просто: возьмите карту, выберите любой приглянувшийся вам район и пишите письмо на райком комсомола. Уверяю: отказа нигде не получите.

Прошу извинить за отступление от темы. Хотя как сказать: отступление ли? Я вижу прямую связь: чтобы были детские ясли и сады, нужно больше детей, а детей станет много, если будет больше молодых семей, а... Словом, приезжайте!

Тогда не будут говорить: третий в семье лишний.

Иван ВАСИЛЬЕВ



Г. ПОЛОВИНКИН.

Земля.

Работы молодых на выставке произведений самодеятельных художников «Слава труду».



М. ВОЗДИНГОВ.

Рассказ старого партизана.



Р. БАБУРАХИМОВ.
На тренировке.



Е. СИВЦЕВИЧ.
Асфальтировщицы.



И. НЕСТАЛЬ.
Дом Алеши.



Н. БАШКИН.
Золотая осень.



В. ОРЕНОВ

ВАШ КРЕДИТ, ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕЦЕНЗЕНТ!

«После каждой премьеры актер с трепетом ожидал статьи с отметками грозного рецензента. Я говорю «с отметками», потому что большие [они] ничего не могли дать в своих критических статьях...»

(К. Соболев-Самарин)

Зритель выдает театру «кредит» доверия в тот момент, когда покупает билет. Запросы у разных зрителей разные. Но разговор пойдет не о потребителях искусства. Возьмем, как математики, зрителя за известное «Х», за абсолютно положительное, восприимчивое, гуманное существо...

Итак, он купил билет и ждет. Ждет, вручив театру частицу веры, восхищения, уважения.

Театр жаждет оправдать его надежды. Но еще до того, как был приобретен билет, еще до того, как было принято твердое решение посетить именно этот спектакль, в потенциальные взаимоотношения театра и зрителя вмешалось еще одно лицо: театральный рецензент.

Театральный рецензент зрителю необходим. И перед спектаклем и после него. Перед — чтобы узнать: стоит идти или нет. После — дабы оправдать свое сознательное или даже подсознательное стремление: проверить собственный вкус, убедиться в правильности своего понимания, поспорить наконец!

Вопрос, оправдывает ли театр предоставленный ему кредит, сложен, требует особой статьи. На аналогичный вопрос о театральной критике отвечу: не всегда. Для признания этого факта нет необходимости в особом мужестве, и не стоит утверждать, что все вокруг думают иначе. Отнюдь. Постановление ЦК партии «О литературно-художественной критике» тому свидетельство.

А вот почему «не всегда»? Давайте об этом.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ШТАМП

Театр — искусство мгновения. Спектаклю не суждена вечная жизнь. Остаются фотографии, записи репетиций, рисунки. Появляются воспоминания. Но эскизы декораций не оживляются действием. Спектаклю не суждена вечная жизнь.

Она суждена рецензии. Спектакль смотрит меньшее число зрителей, чем читатели у рецензентов. Рецензия является каким-то посланием вечности в театре. Мнение специалистов будущего о спектакле, о театральной жизни вообще определяет она, и, забывая об этом, критик забывает об очень важном моменте своего творчества. Моменте описательном.

Больше описывать! В репортажах, информационных, коротеньких рецензиях, теоретических трудах. Описывать живо и детально! Предъявить читателям будущего наше искусство, его темперамент, страсть, драматичность, комизм. Продлить спектаклю жизнь. Пусть говорят, что это ненаучно и ненужно (как, скажем, в литературоведении). Это нужно. Это наш золотой фонд. Наши взгляды, убеждения, логические построения зачастую не выдерживают проверку временем, а описания необходимы всегда.

Рецензия — продолжение спектакля. Где он заканчивается? Никто не даст ответа. Он рождает ассоциативные зрительские размышления. А где кончаются они? Каждая рецензия — возможное продол-

жение действия, в котором дается объяснение происшедшему. Зритель либо спорит с пониманием критика, либо соглашается. Функции статьи и спектакля совпадают: будоражить мысль, будить воображение. Кроме того, статья дарит спектаклю еще одного героя: личность рецензента. Статьи Натальи Крымовой, Майи Туrowsкой, Александра Свободина, Константина Щербаква прибавляют к «действию» многое.

Но есть и другие рецензенты, которые по-своему «отбирают» у читателя спектакль; читатель из-за авторов таких статей может и вовсе не стать зрителем, ибо эти статьи — своеобразная антология штампов, хрестоматия общих мест.

Что такое Штамп? Банальная, знакомая всем мысль или словосочетание, многократно повторенное, застывшее, ставшее общим местом, потерявшее свежесть и способность останавливать на себе внимание? Но главная опасность его такова: за штампом исчезает конкретность и своеобразие явления, определяющие его истинный смысл.

Вот и перебираются из статьи в статью набившие оскомину «рисунок роли», «актерское мастерство», «талантливый актер» и другие, им подобные. Верная мысль убивается такой «вечной» формой. Скажите по-другому! Это я, студент, не имеющий еще ни прочных профессиональных навыков, ни достаточного опыта, могу позволить себе «рисунок роли». Но вы же профессионалы, товарищи критики! Имеют ли резон расчеты на читателя, перепрыгивающего с одного знакомого камешка на другой? Делайте себе читателя.

И если сначала ему придется продираться сквозь непривычные заросли свежих и парадоксальных образов и утверждений, то впоследствии он научится этому и сумеет стать вашим спутником. Скажите по-другому!

РЕЦЕНЗЕНТ, НАЙДИ ЖАНР...

Почитайте современные театральные рецензии! Много ли вы найдете в них слов о близости манер и мировосприятия различных художников? Обо всем театрально-творческом процессе в стране? Правда, были попытки. Критик Римма Кречетова на страницах журнала «Театр» попыталась дать характеристику современной советской режиссуры. Но это лишь один пример. Большой аналитической статьи, посвященной итогам сезона, нет. Есть упоминания, неполные обзоры, но статьи нет. А как важно и полезно было бы ее появление! (Такие статьи публикуются о футболе и хоккее. Неужели театр заслуживает их меньше?)

А почему бы не напечатать: «Театр сатиры. Обзор постановок 1973 года. Дебюты. Режиссура. Художники. Общественная жизнь»? Такие частные «обозрения» были бы кирпичиками особого здания: литературно-критического портрета всего нашего театра. Приблизительно такие разборы пишутся о гастролирующих в СССР зарубежных коллективах и о республиканских театрах, приехавших на гастроли в Москву и Ленинград. Но гастроли есть гастроли. А нужны ли серьезные статьи, не обращающие особенного внимания на актерские звания и не соблюдающие строгого гастрольного этикета.

На полном «серьезе» не проживешь. Например, псевдонимы. Великое их множество и разнообразие встречается в театральных журналах прошлого века. Поэтические, такие, как «Лель». Таинственные: «Никто». Просто краткие: «В. П.» Космополитиче-

ские: «W». Нескромные: «Любитель правды». Скромные: «-рцы». Пустяк? Пустяк. Но почему бы нигиловость, карнавальность театрального действия, загадку, шутку театра не перенести со сцены на страницы газет? Веселый псевдоним станет достойным окончанием остроумной рецензии на комическую постановку.

Однако здесь я повторяю ошибку не такую уж и безобидную. Почему весело можно писать лишь о комедии? А о неудачной драме? Почему на многообразии жанров и форм пьес и спектаклей («водевиль-мелодрама», «современная хроника», «старомодный спектакль») не откликается разнообразными по жанровой природе статьями рецензент? «Рецензия-памфлет», «рецензия-диалог зрителей», «лирический монолог», «рецензия в стихах» наконец! Здесь бескрайний простор для фантазии. Это оживит скучный мир существующих «рецензий — бухгалтерских отчетов», «рецензий-отметок», если без них уж никак нельзя обойтись. Сегодня о «Царе Эдипе» и «Человеке из Ламанчи» пишут одним языком, в одной манере, с одинаковым авторским темпераментом. А ведь мы уже договаривались, что рецензия — про д о л ж е н и е спектакля.

Значит, она должна попадать в русло его жанра, быть связанной с ним, может, даже отталкиваться от него, пародировать. Все что угодно, но только не быть нейтральной по отношению к сценическому действию.

Спектакль вышел. Рецензенты не спешат. Не рискуют первыми выносить оценку. А как она нужна — рецензия на следующее утро! И ведь практиковалось такое. Были же такие времена. Быстрая реакция критики сообщает театральной жизни активную динамику, нестабильный интерес и напряжение. Под рубрикой «Вчера в театре» могут помещаться небольшие рецензии о премьерах. Заглядывая в них, читатель и потенциальный зритель будут находиться в курсе всех новинок.

Рецензию, опубликованную как в солидном журнале, так и в газете, часто ожидает лишь одно соседство, лишь одна участь — фотография героя или сцены из рецензируемого спектакля. Куда же исчез художник? Его наброски, сделанные прямо на спектакле, могли бы придать статье определенный колорит (да и вообще творчество сквозь призму творчества). Фотоснимки и рисунки не помешали бы и друг другу.

Как не помешала бы сегодняшнему критическому делу большая доля воображения, творческой страсти к поиску, художнического запала.

ДА СТОИТ ЛИ ОБ ЭТОМ!

Стены ГИТИСа надежно ограждают молодых театроведов от внешнего мира. Здесь пишут об актерах, режиссерах, художниках, горячо обсуждают эти статьи, но крайне редко приглашают на обсуждение их героев. А этот контакт мог бы быть очень полезен для обеих сторон. Интересные, свежие, спорные студенческие работы сумели бы будоражить творческую атмосферу театра.

В ГИТИСе, как известно, учатся не только театроведы. Но последние могут об этом лишь догадываться. Лишь отдельным инициативным личностям удается побывать на занятиях у актеров и режиссеров. А зная, как готовят специалистов смежных профессий, необходимо всем.

Кстати, вы нигде не встречали рецензий студентов — будущих критиков — на дипломные спектакли

студентов — будущих актеров? Нет? Ни в центральной прессе, ни в институтской стенгазете? Страшно... Очень страшно.

Позвольте задать еще один вопрос. Кому заниматься драматургией (теорией и конкретными рецензиями)? Филологу или театроведу? В этом предмете параллельно существуют специфика литературоведческая и непосредственно театральная. Выпускники филологического факультета лишь подозревают о последней, а театроведческого — ничего не слышали о первой.

Вопросам стиля, современного русского языка, теории и истории литературы в ГИТИСе не уделяется должного внимания.

Но вот вуз выпускает специалиста. Кто-то идет в науку. Тем, кто идет в газеты и журналы, потруднее. Заведующими отделами театра, искусства работают выпускники журналистских и филологических факультетов, то есть люди, профессионально не подготовленные к такой работе.

Есть и еще одна должность. Когда-то она манила к себе всех выпускников, мечтающих участвовать в творческом театральном процессе. Когда-то она называлась «литературный руководитель театра», теперь скромнее — «завлит» (заведующий литературой частью). Когда-то литературный руководитель занимался репертуаром, драматургией, настоящей работой с авторами и еще очень многими интересными вещами. Теперь «завлит» считается квалифицированным, если умеет «сидеть на телефоне», то есть приглашать критиков на просмотры, организовывать рекламы театра или отвечать на письма типа: «Кем приходится Нонна Мордюкова Леониду Броневому?»

А выпускники-театроведы не желают отвечать на подобные вопросы и распределяются кто куда сможет.

Да стоит ли об этом? Ведь факультет работает, и каким-то образом критики из бывших «школяров» все же получают. И отличные педагоги передают молодежи все свои знания и опыт. Занятия ведут П. Марков, И. Дюшен, Ю. Кагарлицкий, Б. Асеев, А. Бартошевич, Б. Ростодский. А сколько интересных предметов!..

И все же об этом — сбив.

Как стоит сказать, что все это перечислено мной не из стремления изготавить безошибочный рецепт «Как делать профессионалов». А из желания как можно скорее создать молодым критикам те условия, при которых возможно приобретение элементарных профессиональных знаний и навыков.

«ЗАВИДУЮ, КТО БЫСТРО ПИШЕТ...»

«...И ничего кругом не слышит, не видит ничего кругом, а если видит, если слышит, то все же пишет о другом...»

«И будем прямо говорить: с этим качеством — зрелищностью, остротой формы, сочетающейся с остротой мысли, — зритель встречался совсем не часто, разве лишь в отдельных постановках переводных пьес» («Знамя» № 1, 1972 г. «Лицо театра»).

И будем прямо говорить. Выходит, что театра Юрия Любимова нет и никогда не было? Постановки Товстоноговым русской классики слишком незначи-



Владимир Оренов родился в 1952 году в Ташкенте. Выступал с рецензиями в газетах «Комсомолец Узбекистана», «Правда Востока», в журнале «Телевидение и радиовещание». «Благодаря многим счастливым совпадениям, — написал о себе В. Оренов, — окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 1974 году».

Ныне проходит службу в Советской Армии.

тельны и совершенно не зрелищны? Наш театр становится зрелищным лишь тогда, когда берется ставить переводную пьесу?..

И будем прямо говорить. Заданность ведет к тому, что критик, по словам поэта Юрия Левитанского, «все же пишет о другом».

Чтобы удержать равновесие, споткнувшемуся прохожему придется сделать несколько быстрых шажков. Первый... Второй... Третий... И штамп, и сантамент, и банальность, и комплиментарность — все это следствие того, что критик занял позицию, никоим образом не соприкасающуюся с художественным анализом.

В истории русской литературы существовали критики с разными идейно-эстетическими взглядами и позициями. В ней был Белинский, был и Булгарин. Мне кажется, что позиция критика способна определять меру его одаренности. По-моему, в каждом человеке где-то там, где подозревали существование души, спрятался свернувшимся комочком его талант. Человек познает мир, «видит и слышит» людские радости и печаль, и в нем рождается свое понимание происходящего. Если это «понимание» достойно звания Человека, если оно независимо и страстно и обнаруживает в человеке склонность творить, то, коснувшись «комочка таланта», оно заставляет его ожить и принести себе и людям радость.

Заданность отношения к пьесе... Где ее истоки? Где первопринципы? В первом сумбурном впечатлении от спектакля? В мнении некоего редактора газеты или журнала? Или от собственного неизменного кодекса-схемы?

Может быть. Во всяком случае, все это лежит вне пределов искусства.

В свое время на страницах «Комсомольской правды» и журнала «Огонек» разгорелся диспут о важ-

нейших проблемах современной театральной критики. Обе стороны высказались вполне. В статье А. Свободина «Да» и «нет» театра и критика» говорилось о многих моментах критической практики. Понятии и закономерности ее вывод: «Критика ответственна за нравственный климат искусства». Свободин протестовал против сугубо оценочного характера рецензий. Казалось, чему бы возражать? Но вот Ю. Зубков, выступивший со статьей «Позиция критика», придерживался иного мнения. И как тут ни верти, но его ответ А. Свободину оказался прекрасной иллюстрацией к статье последнего. Предупреждая противника (впрочем, не только его), что «путь его скользок и опасен», Зубков щедро раздает оценки работам отдельных критиков, режиссеров, драматургов, прозаиков, не утруждая себя подбором доказательств. Он полагает, что вовсе не нужны доказательства тому, что лучшая постановка Анатолия Эфроса — «Человек со стороны»; тому, что «Талантливая группа «Современника» так и не создала пока — за все годы своей жизни — ни одного спектакля, где был бы показан наш современник во весь рост...»; тому, что «серьезнейшим недостатком пьесы М. Рошнина («Валентин и Валентина»). — В. О.) является общественный и гражданский инфантилизм ее героев»?

Вот так, именно так неверная позиция рождает оценочный подход к явлениям, требующим серьезного внимания и разбора. Позиции не научишь. Она не униформа, которую можно надевать и снимать, когда отложишь в сторону шариковую ручку. Позиция рождается сочетанием художественного вкуса, высокой требовательности к мастерству, партийной убежденности.

Раздача же оценок, бездумная, бессмысленная раздача оценок унижает любого из драматургов, режиссеров, актеров.

Доказательность анализа, начало которой в верности позиции, и художественная образность. Не эти ли качества отличают критику истинную от ложной?

Так оправдайте же свой кредит, театральный рецензент! Оправдайте, чтобы не произошел однажды случай, подобный тому, какой вспоминает старейший актер Н. И. Соболев-Самарин. Спектакль был тогда прерван. Один из актеров вышел на сцену. «Господа, пока рецензент не уйдет из театра, спектакль продолжаться не может... Артисты не могут играть в присутствии этого человека, который...» Он не договорил. Спазм сжал ему горло...

О ПОЭТАХ ЭТОГО НОМЕРА

Судьбы поэтических дебютов складываются по-разному. Иногда стихи поэта быстро находят путь к читателю, иногда этот путь они совершают за немалые годы. Сейчас время, когда поздние дебюты все чаще заставляют говорить о себе. Выход к всесоюзному читателю — значительное, волнующее событие, которое может определить первые координаты литературной жизни молодого поэта.

Был матросом, преподавателем рисования, художником-оформителем Владимир Яковлев. После службы в Советской Армии поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

Челябинец Сергей Борисов окончил политехнический институт, работал инженером, преподавателем, журналистом. Инженер-испытатель авиационной техники Вениамин Каплун живет в Омске; он был и шофером, и токарем, и электриком, а вечерами учился в институте. Владимир Сидоров, окончив институт, уехал по комсомольской путевке на дорогу Абакан — Тайшет, потом работал бурильщиком во взрывопоезде, монтажником на Братской ГЭС, рабочим на Ростсельмаше. Он совершает первые нелегкие шаги профессионального литератора, как и Робертас Кетуракис, сотрудник журнала «Нямунас» в Каунасе.

Глеб Седельников, завершив учебу в Московской консерватории и получив диплом музыковеда, вновь окончил эту же консерваторию через три года уже как композитор.

Студенту Литинститута Андрею Чернову 21 год. После десятилетки он два года работал токарем на ЗИЛе.

Учатся в Литинституте и Андрей Богословский и Петр Кошель, который до этого столярничал, учительствовал в сельской школе в Белоруссии.

На Крымском заводе двуокиси титана работает инженер Зигмунт Левицкий. Он вырос в г. Самборе на Львовщине, был электриком, учился, работал на заводах Воронежа и Урала.

Совсем недавно снял армейскую форму Владимир Еременко, студент Московского института радиоэлектроники и автоматики. Он готовится в недалеком будущем защитить дипломный проект. А Евгения Славорова окончила философский факультет МГУ, как говорится, только что — в 1974 году.

В ноябре прошлого года выпускник Литинститута Булат Сулейманов отправился работать в нефтедобывающие районы Тюменской области.

Немало имен, из приведенных здесь, фигурировало в списках участников совещаний молодых литераторов, которые регулярно созываются по инициативе ЦК ВЛКСМ и Союза писателей.



«ИМЕНИ ОСКАРА»



В книге «Мой Дагестан» Расул Гамзатов пишет, что язык Революции на языки народов Дагестана перевели мюриды революции — Махач, Уллубий, Оскар....

«Имени Оскара» — так называется одна из главных улиц Махачкалы.

Долгое время после гибели Оскара в деникинской контрразведке даже сами дагестанские подпольщики не знали ни имени комиссара из Москвы, ни его биографии. Не знали этого и палачи Оскара. Но остался он в истории революции и гражданской войны — двадцатипятилетний революционер, художник, поэт.

...Звали его Оскар Лещинский. Короткая жизнь Оскара вместила в себя много ярких событий. Боевик в 1908 году, человек, выполнявший поручения Ленина в Лонжюмо и Швейцарии, ссыльный в Енисейской губернии, комендант Смольного в 1917 го-

ду, красный комендант Эрмитажа в первые дни Советской власти и, наконец, уполномоченный ЦК партии в Дагестане. Это лишь отдельные вехи его революционной деятельности. Не менее богатой событиями была его жизнь в искусстве.

Заинтересовавшись героической судьбой Оскара, мы стали собирать материалы о нем, встречались с его друзьями и родственниками, со старыми большевиками, поэтами и художниками. Воспоминаниями с нами поделилась дочь революционера, Е. О. Лещинская. Интересные сведения сообщили нам А. В. Антонов-Овсенко, М. А. Талова, А. В. Граниевская.

Родился Оскар в 1892 году в Новозыбкове, учился в Ростове-на-Дону. Его жена Лидия Николаевна

Оскар Лещинский. 1916 год. Швейцария.

Мямлива писала: «В квартиру Лещинских явились жандармы. Они обнаружили пачки прокламаций, подпольные брошюры, но самое главное — коробку из-под сигар с патронами. Арестовали отца Оскара, не имевшего ни малейшего представления о революционной литературе и о подвигах своего среднего сына, которому исполнилось только одиннадцать лет. В непричастность старшего Лещинского к революционным делам полицейские, естественно, не поверили, хорошо, что он еще отделался сравнительно легко: три года ссылки в Иркутск. Выехала в Иркутск и вся семья Лещинских. В Ростов они вернулись в 1905 году, незадолго до того, как вспыхнуло восстание ростовских рабочих». Заслуги ростовского Гавроша не остались забытыми полицией. Тринадцатилетнего Оскара Лещинского высылают в Архангельскую губернию. Ссылка должна была тянуться целых три года, но продолжалась чуть больше пяти месяцев. С помощью политических ссыльных Оскару удалось бежать. В 1916 году он записал в своем парижском дневнике: «Десять лет назад я покинул Россию. Мне было 15 лет. Дитя. В 1908 году я уехал назад...» Возвратившись в Ростов, Оскар продолжал революционную деятельность. Его вновь высылают, на этот раз в Енисейскую губернию. Возраст пока спасал Оскара от более суровых наказаний. В сибирской ссылке он продержался тоже недолго. Подговорив солдата-серба из караульного отряда бежать вместе, Оскар бежал, прихватив даже свое личное дело из местной жандармерии.

В 1910 году Лещинский приехал в Париж. Город обрушился на него собраниями эмигрантов, выставками художников, демонстрациями парижских рабочих, выступлениями Аристиды Брвана и Жана Жореса. Оскар близко познакомился с Владимиром Александровичем Старосельским, видным большевиком, председателем общества политэмигрантов, стал часто бывать у него в доме номер 5 по улице Альфонса Доде. Заходил к Старосельскому и Владимир Ильич Ленин.

Так произошло знакомство Оскара с великим вождем революции. Ленина заинтересовала столь необычная судьба юноши. Когда в 1911 году Ленин организовал партийную школу в Лонжюмо, он вспомнил об Оскаре. Конспиративный опыт Лещинского, его организаторские способности пригодились для перевозки от границы слушателей школы и отправки их из Франции на работу в Россию. В годы гражданской войны на Кавказе Серго Орджоникидзе рассказывал о встречах в Лонжюмо с Лещинским командующему 11-й армией М. Левандовскому и комиссару 33-й дивизии 11-й армии В. С. Гариной-Кузнецовой, которая сообщила нам об этом во время наших встреч в Ленинграде.

В Париже Лещинский серьезно увлекся поэзией и живописью. Это стало жизненной потребностью.

За чашкой кофе с мирным разговором сидим мы незаметно до утра, пока рассвет зажжется за забором. Тогда уходим. Утро. Спать пора.

О чем можно говорить в долгую эмигрантскую ночь?.. О Родине.

Порою в золотистых клубах дыма рождается рассказ о русских зимах, о днях, что пролетели мимо...

А дни, что пролетели мимо, были удивительными. Оскар жил в знаменитом пристанище художников и писателей всего мира, которое называлось «Улей»

(Ла Руш). Владелец «Улья» Буше любой ценой хотел служить искусству. За минимальную плату, а часто и вообще бесплатно он сдавал номера художникам и поэтам. Одновременно с Оскаром Лещинским в соседних комнатах жили Модильяни и Шагал, Осип Цадкин и Натан Альтман. А. В. Луначарский назвал «Улей» «огромным коллективным гнездом художников». Здесь все жили коммунально, вместе отмечали покупку картины или выход сборника стихов. Выходцы из России Х. Сутин и А. Архипенко, французский поэт Блез Сандрар, румын К. Бранкузи — представителей всех национальностей можно было встретить в коридорах «Улья». Рисунку Оскара Лещинский учился в Русской академии живописи, организованной в Париже русскими политэмигрантами. Нередко сюда заходили скульптор Бурдель, художник Модильяни. Сохранилось несколько рисунков Оскара, кем-то дописанных. «Может, это рука Модильяни», — высказывает предположение дочь художника Елена Оскаровна Лещинская.

Как художник Оскар сформировался в ставшей знаменитой Парижской школе живописи. Он принадлежит ей так же, как десятки других выходцев из России, чьи имена известны сейчас всему миру. Г. Орлова, Л. Гудиашвили и Д. Какабадзе — все они работали на заре двадцатого века в Париже, прославляя своими работами и Россию и Францию. Кто знает, может, и Лещинский стал бы признанным мастером: колоритом его работ восхищались многие известные художники. Но Оскара ждал другой путь, путь профессионального революционера. А его рисунки на политические темы, карикатуры на противников большевизма, карандашные портреты друзей очень нравились Владимиру Ильичу Ленину.

Прожив в Париже два года, Лещинский перестал смотреть на него только как на город музеев и мастерских художников. Он познакомился с рабочим Парижем, увидел город с черного хода.

Полузамерзшие, худые, снуют с поклажей боски. Зачем тут гибнут молодые? Зачем тут гибнут старики? Рассвет приходит розоватый, парижский жалобный рассвет. Какие люди виноваты, что у голодных хлеба нет?

В 1912 году Оскар Лещинский вступил в литературно-художественный кружок политэмигрантов. Собрания кружка проходили в кафе на площади Данфер Рошро. Постоянными членами кружка были А. В. Луначарский, И. Г. Эренбург, герой Октября В. А. Антонов-Овсенко. Сын Антонова-Овсенко Антон Владимирович говорил нам, что его отец старался не пропустить ни одной сколько-нибудь интересной литературной встречи, участвовал в организации вечеров и концертов. В 1913 году членами кружка стал издаваться литературно-художественный журнал «Гелиос». Одним из редакторов журнала был Оскар Лещинский, поэтическим отделом ведал Илья Эренбург. В «Гелиосе» были опубликованы статьи Луначарского, многие стихи Веры Инбер, Илья Эренбурга и Лещинского. В 1914 году в Париже вышла книга его стихов «Серебряный пепел». Оформлял ее сам поэт. В сборнике — стих об Италии, Испании, Франции, но главное в этих стихах — тоска по родине, по России.

Нас принимают все за португальцев, мы говорим на русском языке...

Тема России, появившись на первых страницах сборника, прослеживается до конца.

Все тот же круг и те же встречи,
и снова, приходя домой,
и слышу звуки русской речи,
и пахнет русскою зимой.

В 1915 году Лещинский подготовил к печати книгу о французской живописи. Называлась она «От импрессионизма до наших дней». Война помешала изданию книги. Отправив жену с детьми в Россию, Лещинский поехал к Ленину в Швейцарию. В качестве связного с партийными поручениями Лещинский ездил в годы войны в Испанию, Швецию. Как только до Женевы дошли сведения о февральской революции, со вторым эшеломом политэмигрантов Оскар возвратился в Россию.

В октябрьские дни Лещинский участвовал в штурме Зимнего. Весной 1918 года Лещинского вызвали в Москву, куда переехало правительство. Интересные факты о жизни Оскара в Москве нам рассказала его парижская знакомая, поэтесса Елена Ранова. Она была свидетельницей знакомства Оскара с Сергеем Есениным. Произошло это той же весной 1918 года на спектакле в театре имени Комиссаржевской. Есенин подошел к ним в антракте, Елену Ранову он хорошо знал, были они в тот период в одном поэтическом объединении. Елену удивило, что, знакомясь с Лещинским, Есенин сказал: «Да, много слышал о вас. Вы известный человек». Очевидно, Есенин имел в виду октябрьские дни в Петрограде, но, может быть, он знал и о парижской жизни Оскара.

В Москве Лещинский пробыл не больше месяца. Совпарком РСФСР послал его на Северный Кавказ для организации Красной Армии. Там Лещинский познакомился с Сергеем Мироновичем Кировым. Пятигорск, где работал Лещинский, захватили белогвардейцы. Был объявлен поиск Лещинского. На заборах висели плакаты: «За головы Оскара Лещинского и членов его семьи полагается награда 10 тысяч рублей». Оскару удалось выбраться во Владикавказ. Вместе с С. М. Кировым он готовил первую военную экспедицию на Северный Кавказ. В музее Кирова хранится расписка Лещинского: «Получил от Кирова 35 тысяч рублей на организацию первого транспорта военного снаряжения. 11 июля 1918 года». В октябре 1918 года Лещинский приехал в Москву. Началась подготовка второй кавказской экспедиции. Готовили ее Киров и Лещинский.

В марте 1919 года Лещинский еще раз приехал в Москву по особому заданию Кирова. Это был его последний приезд в Москву, последние споры о поэзии (перед отъездом на Кавказ Лещинский собрал своих парижских друзей, читал новые стихи). Даже в годы гражданской войны, когда Оскар самоотверженно работал на революцию, он находил время для поэзии. Стихи эти не были похожи на утонченные созвучия «Серебряного пепла».

Карабин мой скорострельный за плечом,
ни о чем я не жалею, ни о чем.
До чего весной прекрасна жизнь в горах,
на коне, вдыхая ветер, страх не страх...

Впереди его ждала работа в подполье Дагестана, организация первых партизанских отрядов в этой горной стране. В начале апреля 1919 года он писал Елене Рановой в Москву: «У нас в степи уже сильно пахнет весной. Степь голая. Бегут ручьи, с ними бегу и я. Может быть, и я, как они, войду в распухающую землю... Завтра Астрахань, путь к новым испытаниям».

В Дагестане Оскар Лещинский выдавал себя за брата Бориса Савинкова, убежденного врага Советской власти. Это помогло ему войти в среду белогвардейских офицеров, быть в курсе всех их мероприятий. За короткий срок подпольным обкомом Дагестана под руководством Уллубия Буйнакского и Оскара Лещинского из партизанских отрядов была организована партизанская армия, на 20 мая началось восстание. Но 13 мая в Темир-Хан-Шуре был арестован штаб восстания. Из тюрьмы Петровска, где держали Оскара Лещинского, до Кирова дошло предсмертное письмо Оскара. «Милый Фрибус,— писал Оскар товарищу, которого должны были выпустить.—...Я Вас прошу исполнить мою просьбу, за которую буду Вам благодарен до гроба. А ждать мне его недолго.

У меня есть жена, с которой я связан уже 10 лет. Есть двое милых любимых детей: Валя 8 лет и Леночка 5. Дети — это самое дорогое, что у меня есть. Однако в вечных страданиях по белу свету и в опасностях житейской борьбы я успел дать им очень мало и хочу, чтобы они когда-нибудь узнали, что я любил их и умер как воин, побежденный телом, но свободный духом... Хорошо бы было сообщить в Баку, в партийный комитет, через Булата—Ковалева... чтобы в случае возможности послать... для Кирова сведения о моей судьбе. Вот, милый, все, что я прошу вас по возможности исполнить. Я умру спокойный. Борьба тяжка, уходить из жизни молодым больно — но законы этой жизни непреодолимы. Целую вас и желаю скорее быть свободным для жизни, для любви и счастья...»

Пятого сентября 1919 года денкинскими палачами был расстрелян Оскар Лещинский. Было ему только двадцать шесть лет, из которых он отдал половину служению революции и искусству. Он хотел написать поэму о гражданской войне, проект остался неосуществленным, но строки из его последних стихов стали девизом для многих:

В поте лица своего
будешь творить революцию!

В. БОНДАРЕНКО,
Е. БОНДАРЕНКО

Елена и Владимир Бондаренко — брат и сестра. Лене 21 год, она студентка историко-филологического факультета Петрозаводского университета. Володя окончил Лесотехническую академию в Ленинграде, сейчас работает в Центральном научно-исследовательском институте бумаги и учится (заочно) на втором курсе Литературного института имени А. М. Горького.

Андрей Чернов



1941

Наши бедные матери
Стелят белые скатерти,
Ставят сверху вино
И не смотрят в окно.
А окно — не зашторено,
И оно не затворено,
И как будто за мной
Ходит ветер волной.
Первым дымом прокурены,
Наши братья нахмурены,
Матерей не таятся,
Ничего не боятся.
Знают девушки строгие,
Что вернутся немногие.
Но не знают про то —

кто.

Неужели все было так,
Потому что я вижу так!

Двадцать лет спустя

Повернем с Арбата на Арбат:
В переулочек, с кового на старый.
Меж домов, за пустотелой тарой
Огоньки рекламные рябят.
Переулочек гулок и багров.
Словно эхо под ноги запало.
Знаю, мама, стерто здесь немало
Дней твоих, надежд и наблудов.
Нам направо! Вот легли на медь
Зеленую оплавленные тени.
Тем трудней из памяти стереть,
Чем сильнее стер ногой ступени.
Нам налево! Лестничный пролет
Вновь тебя поймет, качнет, как лодка,
Лампочка моргнет по-детски кротко,
Только к двери ключ не подойдет.



Как нам узнать,
Про что мы «знать не ведаем»,
И потому, про что мы знать должны,
В то время, как читаем и обедаем,
И по ночам переживаем сны!

Над головою небо не качается,
Но лампочки качаются, звезды,
И постоянно что-нибудь случается
Во мне, со мною или без меня.
Вот дворники — им снова деять нечего:
Метлой поднимут легкий снег окрест.
И хлопья станут оседать до вечера,
Не находя своих вчерашних мест.
И станут вместо Штрауса печального
[На небе можно классики не звать]
Ворон, с карниза класса музыкального,
За старых музыкантов принимать.
И в классе, проступая из-под войлока,
Стекать на стул и капать на пальто,
И на вопрос: «Вы что, свалились с облака?»,
Смущенно соглашаться: «Да, а что!»

Робертас Кетуракис



Перевел с
литовского
ДМ. СУХАРЕВ

Орион

В нас молодость жила,
мы вырвались из лона
земли, забыв про хлеб.

Слепило нас тогда
на черном, как слюда, сиянье Ориона,
на куполе небес, на черном, как слюда.
В нас молодость живет,

и мы вернулись в поно
земли, нам нужен хлеб и не нужна звезда,
и меркнет, догорев, сиянье Ориона
на куполе небес, на черном, как слюда.
Вернулись и, пона в нас молодость
пребудет,
земли не предадим.

Но снова звездный свет,
забытое, в глазах сияние разбудит,
и будет нам светить былого света след.



Жить не самим собой — и мило и немило.
Все хрупко в мире. Света луч разбит.
И время наши чувства уценило,
и больно от запряженных обид.

Жить не самим собой — и мило и немило,
когда и скудость делишь пополам,
когда и души жмутся по углам,
когда и слово душу истомило.

**Зигмунт
Левинский**



Вся жизнь — и сны, и грусть, и снег,
и мыслей бег, и чувств течение,
и обольщение, и лобз —
все возвращенье, возвращенье
в любимый край, где каждый куст
гроздь света солнечного держит,
где в небе — сны, в озерах — грусть,
в березах — Русь, а в сердце — нежность.

Владимир Еремеенко



73

Евгения Славоросова



Ах, осень, поздняя любовь —
Янтарные зрачки!
Я месяц дергала морковь
На берегу Оки.

Пылап неопалимый куст,
А лес был рыж и рус.
Листа капусты свежий хруст,
Моркови сладкий вкус.

В костер подбрасывай сучки,
Картошку будем печь.
Была деревня Каблучки
Началом наших встреч.

Там за последнюю избой
Простор — не хватит глаз,
Там в чистом поле мы с тобой
Столкнулись в первый раз.

Богато убраны леса,
И убраны поля.
В кармаках зернышки овса,
На сапогах земля.

Руками слабыми неспа
Земли моей дары.
Спалили душу мне дотла
Осенние костры.

Весна

Она своими прятками
Измучила.
Но вот
С утра протерли тряпками
Прозрачный небосвод.

Степлом увеличительным
Поймала мир.
И вдруг
Все сделалось значительным:
И смех и взмахи рук.

Шелтапа:
«Кончено. Я тут» —
Рукой по волосам.
И эта радость, как батут,
Бросала к небесам.

Шелтапа мне:
«Молчи и верь!»
И от посулов тех
Стал долгим день,
стап кротким зверь
И серым зайца мех.



Теперь слова резонные
Не слушает никто.
Уже демисезонное
Недела я петью.

Раскручено вертушками
Садовое копыто,
И свежими веснушками
Забрызгано пицо.

И взглядом замороженным
В глаза мне смотришь ты.
Полны лотки с мороженым,
И продают цветы.

И что-то непонятное
Мне душу берedit
И, как конфета мятная,
Чуть воздух холодит.

А ночью, как бездомная,
Брожу я, чуть жива,
И вовсе не резонные
Ты шепчешь мне спова.



Не тверди, что я жестока.
Все неправда, ерунда.
Что, сбежав из водостока,
Прожурчит тебе вода!

Не зови меня неверной.
Ах, за что меня винить!
Разве неба свод безмерный
Можно в комнате хранить!

Разве птице в клетке место?
Тесно здесь моей любви.
Не зови меня невестой,
В жены тоже не зови.

Нет, не стану я ручной,
Осторожен будь со мной.
Я блесну вопной речной,
Я метнусь во тьме ночной,

Я качну лесную ветку.
Поищи себе рабов!
И тебе оставлю метку —
Узкий след моих зубов.



ОБЫКНОВЕННЫЕ РЕБЯТА



Л. И. РОЗИНА.
Фото 1941 года.



Письма, которые вы сейчас прочтете, писали своей учительнице химии Любове Иосифовне Розиной мальчишки и девочки, бывшие ученики 211-й школы Октябрьского района Москвы. Писали все долгие годы войны.

Война разметала ребят по белу свету, и учительница, озабоченная судьбой своих воспитанников — девяти- и десятиклассников, — решила разыскать их и соединить.

Пусть не в дружную суматошную классную семью, — куда уж там, война... Пусть только вестью, строчкой письма. Но соединить! Чтобы, как и прежде, почувствовали нужду друг в друге, почувствовали опору, силу дружеского слова, коллективную заинтересованность в судьбе каждого. Теперь, как никогда, нужно было сплотиться и выстоять, и, наступая на горло врагу, обязательно победить!

Уже в сентябре 1941 года учительница стала получать письма учеников. Глухой тыл, Действующая армия, госпиталь, завод, школа, оборонительные сооружения и снова — фронт. Суровая атмосфера тех лет, воссоздаваемая правдивым, безыскусным пером, и прямо-таки реальное ощущение возмужания ребят — от письма к письму. Через ломку, отшелушивание мальчишеского, наносного — к зрелости мысли, к осознанию своего места в борьбе за победу. «Мне уже двадцать лет», — гордо напишет учительнице один из ее учеников, дважды раненный, демобилизованный по инвалидности «под чистую» и теперь политработник на одном из тыловых заводов. И тут же грусть по несбывшемуся и признание — еще не любил, и светлая, почти детская мечта о будущем. И опять мужское, зрелое: все это нужно завоевать...

Недавно в редакцию пришла невысокая пожилая женщина. Она выложила пачку потертых конвертов и фронтовых треугольников. «Тридцать лет хранила. Письма моих ребят... Тут перечитывала и вновь слышала их голоса. Словно прозвонил звонок с урока, и они обступили меня. Дима Покаржевский, Петя Сагайдачный. Володя Цыганков, Ваня Сорокин, Люба Лепешкина, Володя Варюшин... Мои мальчишки и девочки...»

Мальчишки и девочки, вместе с народом вынесшие на своих плечах тяготы военного лихолетья, дожившие и не дожившие до Победы.

Послушайте их голоса.

ВОЛОДЯ ВАРЮШИН



Челябинск, 15 января 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна! Шлю Вам свой привет с наилучшими пожеланиями.

Вчера вечером получил Ваше письмо от 4.1.42 и очень ему обрадовался. Прежде всего скажу, где находятся ребята, о которых Вы спрашиваете.

Бавиакин Жорж находится в г. Куйбышеве, учится в Военно-медицинской академии, ему приходится очень много работать, времени свободного у него почти не бывает даже в выходной день. В последнем письме он спрашивал у меня Ваш адрес, но я ничего ему не мог ответить, так как сам его не знал.

Рэм неизвестно где находится.

Алексей Попов в артшколе в Йошкар-Оле. Там же находится и Ваня Сорокин.

Цыганков Володя в Москве, прислал мне письмо, жалуется на скуку и на всех обижаются за молчание. Я ему послал два письма, но ответа на них не получил еще.

Веду переписку с Никитиным Виктором — тоже Ва-

шим воспитанником. Он окончил курс в мотошколе, получил звание водителя и ожидает своей очереди.

Нина Хахарева в Москве.

Виктурина находится в г. Тетюши, работает в колхозе.

Больше ни о ком ничего не знаю.

Теперь расскажу о себе.

Учиться нетрудно, летать трудней. Но летаю я тоже неплохо, за последний полет получил «отлично». Летать холодно, несмотря на то, что довольно здорово закалился.

При минус 15 свободно хожу в одной гимнастёрке, без шинели.

Иногда наблюдается, что на высоте 1000 м температура выше, чем на земле. Это интересно, но не очень, так как при такой обстановке на земле получается дымка и плохо ориентироваться.

С 9-го на 10-е (24 часа) ходил в караул. Ночью стоял на посту. Только пришел, лег на диван (в караульном помещении), думая соснуть, слышу, кто-то за ногу тянет, смотрю: друг Колька Самарин. «Вставай, — говорит, — «Боевой листок» выпускать надо». Вот не было печали. Встаю. Вошли мы с ним в комнату начальника караула и давай стряпать: он рисовать, а я сочинять, и пришлось мне одному заполнить всю газету.

Быстренько «накатал» заметочки, половину в прозе, половину в стихах и выпустил к 12 часам 10 января караульную стенгазету «Боевой листок». Газета вышла на славу.

11 января был день моего рождения, мне исполнилось девятнадцать лет, и в этот день я получил благодарность от начальника караула за отличное несение караульной службы.

Взысканий я пока что не имею.

Собственно говоря, здесь уже все приелось, хочется нового.

Я бы сейчас с удовольствием полетел на фронт, но... что сделаешь, придется еще ждать с полгодика, что меня вовсе не устраивает.

Лентяем я остался таким же, каким был в Москве. Родные мои все находятся в Москве. В Москве стало гораздо лучше, тревоги стали реже.

Ну, пока, всего хорошего!

До свидания!

Желаю Вам успеха и уверен, что Ваши новые воспитанники полюбят Вас так же, как в свое время любили Вас мы — ученики 10-го «Б».

С приветом — В. Варюшин.

Р. С. Между прочим, к моему удивлению, мне пригласили хормен, так как мы начали проходить разные хлорацетоны, окиси углерода, синильную кислоту...

Ну, до свидания!

С приветом —

В. Варюшин».



Москва, 15 сентября 1941 года.

«Здравствуйте, Любовь Иосифовна!

Я очень извиняюсь перед Вами, что Вам долго не отвечал, но это объясняется тем, что работать приходилось сравнительно много, примерно... по шестнадцать часов. Приедешь домой, покушаешь и спать, встанешь — и на работу, так продолжалось до 14 сентября.

Но сейчас я ушел с одной работы (я работал лаборантом и пожарником), так что сейчас времени больше. С 15. IX начали учиться в 214-й школе. Из нашей школы учатся 15 человек.

Вы спрашиваете, где Петя Сагайдачный? Я Вам отвечаю, что слышал, но точно сейчас не знаю, думаю, что он будет учиться и работать. Он работает на заводе самостоятельно, и его с работы не отпускают.

Оля Лукьянова эвакуировалась в Уфу вместе с мамой. Очень жаль, что она уехала и уехала-то как-то странно, неожиданно — я пришел с работы, а ее уже нет... Она часто пишет мне и все время вспоминает Вас, да и кто Вас не вспоминает — все, все Ваши ученики. Если у Вас, Любовь Иосифовна, будет свободная минутка, то напишите Оле туда... Я думаю, что Вы не забыли Марка Сизова. Так его тоже в Москве нет, и это я очень сильно ощущаю, скучно без него, как-никак, а он был лучшим моим другом.

А помните, у нас в классе был самый высокий человек, который сидел со мной на задней парте. Вы вспомнили его... Владимир Отделенов. Так вот: он тоже эвакуировался, но оттуда через месяц прискакал в Москву и сейчас учится.

Женя Рушева и Аня Мешковская были на трудовом фронте около 1,5 месяца, вернулись оттуда загорелые, полные и веселые.

О Ваших десятиклассниках Вам уже рассказали, где они, что с ними.

А о новых десятиклассниках я Вам буду рассказывать!

Ну, пока писать больше нечего. Передайте мой искренний привет Михаилу Сергеевичу (М. С. Попов, преподаватель математики. — Ред.) и всем Вашим воспитанникам.

С приветом —

Ваня».

Москва, госпиталь, 15 февраля 1942 года.

«Здравствуйте, дорогой преподаватель Любовь Иосифовна!

Мое письмо будет для Вас большой неожиданностью. Вы, наверное, уже забыли о моем существовании. Вы не знаете, где был я, что видел и где сейчас. И вот, прочитав Вашу открытку к Нине Х., решил Вам написать.

Сейчас я в Москве, в госпитале, потому что 25 января был ранен в селе Егорьевское, Калининской области. Я надеюсь, Вы знаете, что я был взят в армию и что до фронта находился в Йошкар-Оле.

На фронте пробыл мало, какой-то месяц, и меня ранило осколком снаряда в левую скуловую область. Много видел таких эпизодов, что рассказывать их хватило бы целого школьного вечера и не был бы я на нем таким скучным и молчаливым, как это было раньше. Вы помните, как это бывало?

Вот, если мы все соберемся и Вы как классный руководитель и наш старший друг и товарищ откроете вечер, тогда-то я расскажу: как наступали, как брали населенные пункты, как были в окружении, как прорывались и т. д.

11 февраля был на рентгене, где обнаружили, что у меня в скуловой части, на самой кости, лежит осколок 1,5 см, а 12 февраля решили делать операцию. Осколок удален, но голова, нет спасу, болит, мало того, в голове стоит какой-то шум вот уже третий день. Как будет дальше, не знаю.

Больше писать не могу, устал. Вы меня извините за то, что мало пишу и так несвязно. Вот когда все пройдет и когда поеду еще раз на фронт, напишу еще. Привет Вам от Нины Х., от Алексея Попова, который на фронте, Волкова Ильи — помните его? — он тоже на фронте.

До свидания. Напишите, если будет время.

С красноармейским приветом — Ваня Сорокин».

Москва, госпиталь, 13 марта 1942 года.

«Здравствуйте, дорогой и любимый преподаватель, Любовь Иосифовна!

Любовь Иосифовна, сообщаю Вам, что открытку Вашу получил, за которую беспрдельно рад. Ваше предположение оправдалось, мне стало гораздо лучше, да скажу Вам больше, что я совершенно здоров, окреп и чувствую себя превосходно. Только осталась метка от проклятого немца, шрам, который придает мне «мужества». Я рад, что Вы не забываете нас, волнуетесь за нас. А то другой раз нападает такая апатия, что все безразлично, все думаешь, тебя забыли, и от этого становится еще в несколько раз больней, так, что сердце прямо разрывается... Ну ладно, а то я сильно расчувствовался, а это не подобает вонну Красной Армии.

Время в больнице провожу хорошо с другом Васей, который воевал 7 месяцев и первый раз в госпитале. Очень веселый человек, много мне рассказы-

вае о своей жизни в ДВК (Дальневосточный край.—Ред.), о своей работе, о службе в Военно-Морском Флоте, вообще замечательный товарищ, и думаем схать на фронт вместе. Дня выезда ждем со дня на день, а там опять за старое и хорошее дело: бить немцев. Особенно приятно бить их, когда они отступают или когда переходим в атаку. Несемся, как сумасшедший, и ничего не думаешь, в эту минуту тебе «море по колено». Но когда ранило осколком в голову, то подумал, что пожил и хватит. И упал, а больше ничего не помню. Не помню, что я говорил и о чем думал, но вскочил и из дому выскочил прямо на минометный огонь. Как только мне мина в голову не попала, не знаю. Но это все прошло. Я теперь здоров, и о прошлом вспоминать нечего. Алексей и Илья уже второй месяц ничего не пишут с фронта, я уже думаю об их жизни. Ведь война без жертв не бывает.

Любовь Иосифовна, я не знаю, почему не пишет Вам Володя Цыганков, но мне это не удивительно. Он какой-то стал чудной, даже ко мне не выбрал время приехать. Жаль, но ничего не сделаешь. Про Диму Покаржевского слышал, но не знаю точно, говорят, что он под Москвой, где-то в армин. Вавилкин прислал Нине открытку и пишет, что сессию сдал на «отлично»...

Вот и все новости, которые я слышал от Нины Х. и от других.

Ко мне часто приходит Люба Лепешкина, хороший она человек, а Леша, Жоржик, Люся были по одному разу и больше глаза не кажут. Вот как они помнят меня, Ванечку, как называла меня Люся, а сама... глазу не показывала до 8 марта.

А пока до свидания. Крепко жму Вашу руку.

С красноармейским приветом —

Ваня Сорокин».

Москва, 27 апреля 1942 года.

«Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый преподаватель Любовь Иосифовна!

Сейчас в г. Москве, еду втсрлчно на фронт. Дважды выпадает мне честь защищать свою Родину, свое счастье от проклятого, ненавистного врага!

Встретил в Москве Женю Рущеву, Любу Лепешкину, которые меня очень обрадовали, что не забыли меня. Получил письмо от Оли Лукьяновой, которая пишет, что скоро испытания, скоро она будет показывать свои знания, основы их она получила у Вас, дорогой и любимый преподаватель. И я вместе с Вами горжусь, что хотя и не окончил средней школы, но основы у нас крепки, и мы Вас не подведем.

Узнал печальную весть об Алексее Попове, что он погиб от тяжелых ранений в госпитале, что он был на Ленинградском направлении и защищал его, как только подобает преданному воину. Вечная память тебе, мой дорогой друг! За твою смерть мы отомстим, а тебя никогда не забудем. От Рэма Октябрьского ничего нет, наверное, его постигла та же участь.

Наверное, Любовь Иосифовна, после 1 мая вступим в бой на Западном фронте. Может быть, мне придется сложить свою голову на Смоленщине, но я не жалею об этом, потому что знаю, что после войны жизнь будет счастливая и радостная, и нас потомки ругать не будут. А своим ученикам скажите, чтобы они учились, брали все и не обращали на весеннее солнце свое внимание. Я знаю сейчас их настроение, так как мне сейчас столько же лет, сколько им. Но я уже почувствовал, узнал, что терять свободную ми-

нуту нельзя, надо учиться, учиться и учиться. Особое внимание надо обратить на ОВ, на хим. защиту, а то приходится краснеть, когда люди старше меня не знают простых вещей, встречаются и с 10 классами такие. Особенно в настоящее время! Больше писать не знаю что, да и неудобно, поезд прибавляет пару.

Пока до свидания, дорогой и любимый друг и товарищ!

Привет всем ученикам, особенно Вашим воспитанникам.

С приветом — Ваня Сорокин».

**ВОЛОДЯ
ЦЫГАНКОВ**



Москва, 9 мая 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна! Прими от меня самый теплый, самый дружеский, несущийся из глубины сердца привет! Удивляйтесь, Любовь Иосифовна, удивляйтесь, ибо на этот раз Вам шлет слова привет не Нина Хахарева, не Мила Витурина и не другие Ваши постоянные корреспонденты. Любовь Иосифовна! Перед Вами кающийся Володька Цыганков. Он родился и привык быть таким молчаливым и необщительным, что, по последним сведениям, несущимся из города Серова, что на Урале, причислен к разряду «диких и до крайности грубых» людей. О, он, конечно, вполне понимает свою вину (ведь и у дикарей бывает совесть!), и поэтому сейчас Вы видите его именно в такой позе, а не в какой-либо другой: он стоит на коленях, дрожащих от страха, и смотрит на Вас печальным и умоляющим взглядом. «О, простите мне мою вину», — говорят весь его вид, и сам Володька при этом ужасно грустит. Но вот он слышит слова. Ваш голос! Боже мой, да это Ваш голос, голос маленькой милой женщины в черном халате и в очках, такой знакомый голос простой и близкой Любви Иосифовны. Вы говорите: «Встань, Володя! Сейчас нельзя быть таким плаксивым, нынешнее время требует от людей стойкости и твердости, а ты... Я прощу тебе твою вину, если ты будешь говорить языком настоящего мужчины, будешь хоть немного похож на бойца нашей героической Красной Армии». Я слышу это, внимаю в смысл Ваших слов и начинаю сознавать, что Вы вполне правы. Да, Любовь Иосифовна, Вы правы, мне надо изменить себя. Я обещаю Вам не подкачать, слушайте меня, я буду говорить о себе, о новом Володьке, вдохновленном Вашими словами и воспоминаниями о Вас. Я принимаю свой обычный вид, я делаюсь таким, каким сделал меня труд, работа на заводе, война, лишения и разум. Вы, конечно, не узнаете меня.

Любовь Иосифовна! Прошло много времени с тех пор, как я простился с Вами, много воды утекло с тех пор, многое изменилось за это время. Изменился, слава богу, и я. Признанный комиссией негодным

к службе в армии, я остался в тылу. Товарищи мои все разъезжались, уехали почти все. Друг от друга и почти все от меня, из Москвы. Разгорелась война!.. Я поступил на завод. Об учении печего было и думать. Стал учиться на фрезеровщика. Тяжело мне пришлось, тяжело не потому, что я был не способен к такой работе, а потому, что вся душа моя органически не могла ужиться с заводом. Вы ведь знаете меня, каким я был раньше, в школе. Говорю прямо, я не люблю свою работу, ничего меня не интересует на заводе. Я с трудом сломал себя. Мне пришлось для этого переменить не одну специальность. Достаточно сказать, что я пытался быть заточником, шлифовщиком, упаковщиком, фрезеровщиком, электромонтером, но стал только токарем, т. е. основательно изучил и приучил себя только к токарному ремеслу, да еще немного к фрезерному. Остальные специальности не подошли ко мне, и опять-таки не потому, что я был не способен освоить их, а все потому, что не нравились они мне, до крайности противны были они всей моей душе, всему складу моей натуры.

На заводе я работал до октября. В октябре мне удалось взять расчет, и я сделал небольшую поездку в Татарскую АССР к эвакуированным сестрам. Работа на заводе, эта поездка, война и связанные с нею лишения действовали на меня в самую лучшую сторону: они отрезвили меня, заставили встать лицом к жизни, к действительности. Сейчас я с гордостью могу сказать, что от прежней романтичности, от прежней сентиментальности и слезливости во мне не осталось и следа. Я очень этому рад! Вы не увидите больше на моем лице девичью краску, свойственную мне раньше. Вы не увидите больше моих дрожащих рук, как раньше, когда я отвечал Вам урок. Нервозность, угрюмость и хандра убежали от меня. Я обновился, и это не бахвальство, Любовь Иосифовна, это сущая правда. Сейчас я примерно такой: я рабочий большого завода, выполняю норму на 200—250%, интересуюсь текущими событиями, участвую в общественной работе. Но окончательно привыкнуть к заводу до сих пор еще не могу. Я чувствую, что завед. принес мне реальную пользу: он сделал меня серьезней, живее, общительней... Несколько дней назад я подал заявление в военкомат о добровольном вступлении в Красную Армию. Сейчас я уже прошел медкомиссию и жду повестки. Куда я пойду — в училище или на фронт — для меня все равно. Ну все, прощайте, Любовь Иосифовна. Пишите...

Ваш В. Цыганков».

Московская область, 12 июня 1942 года.

«Здравствуй, Любовь Иосифовна!

Две недели назад я отослал Вам небольшую открытку, в которой очень кратко рассказал о своем положении и местопребывании. Вы, может быть, уже узнали, что я живу и учусь в Московском пулеметном училище, которое наметило в своей программе выпуск средних командиров для Красной Армии. Хорошая учеба и успешное усвоение всего преподаваемого материала сулят мне в будущем звание лейтенанта. Вы, наверное, скажете, что я иду к счастью, но, по-моему, это немного не так. Конечно, очень хорошо быть военным, особенно в такое напряженное время, как наше; конечно, служба в Красной Армии является благородным делом, дающим военному почет и уважение всего народа. Это вполне ясно и понятно мне, и я даже не буду пытаться обсуждать эту неоспоримую истину — аксиому, как сказал бы наш

Михаил Сергеевич. Быть военным, находиться в числе защитников Советской Отчизны даже в качестве простого рядового бойца, а не военного руководителя, вполне заманчивая штука, как для меня, так и для всех молодых людей моего возраста. Но одно условие немного смущает меня и заставляет порой глубоко и часто весьма тревожно задумываться над своей дальнейшей судьбой. Послушайте, Любовь Иосифовна, что мне предстоит в будущем: через несколько месяцев я кончаю училище, я старался учиться на «отлично», и потому у меня в петлицах два кубика, обозначающих звание лейтенанта. Я еду на фронт, получаю в свое распоряжение энное количество людей, обучаю их, веду в бой и отдаю все свои силы делу победы над врагом. Это очень хорошо, и вот это — то, что заставляет мое сердце всегда радостно биться, но что же дальше? Дальше — победа, фашизм разгромлен и уничтожен, я остаюсь живым, возвращаюсь к своим родным, друзьям и т. д. Меня почитают и уважают — это все очень и очень хорошо. Дальше. Страна приступает к восстановлению разрушенного хозяйства, большая часть людей приступает снова к своим любимым занятиям, а я... мне придется служить в армии, служить до 55 лет (средний командный состав обязан служить в армии до этого возраста)... Я — Вы, быть может, знаете — никогда не думал быть военным. Итак, несмотря на мою нелюбовь ко всему тому, что связано с войной, я должен буду всю жизнь провести в лагерях и казармах, всю жизнь отдавать команды и приказания. Это, я сознаю, меня крайне огорчает, заставляя иногда грустить и хмуриться. Я пишу к Вам, дорогая Любовь Иосифовна, с надеждой, что Вы ответите на мое письмо и, учтя мою просьбу, наставительно-дружески укажете мне на мои ошибки в этом вопросе и дадите очень приятные для меня свои мудрые советы и пожелания.

Прошу Вас, Любовь Иосифовна, сделать это, я буду Вам вечно благодарен. А сейчас с обоюдного согласия поговорим о чем-нибудь веселом. Как хорошо мне сознавать, что я готовлюсь к выполнению возвышенной задачи, как приятно чувствовать, что уже сейчас я приношу Родине пользу, добросовестно усваивая указания и наставления своих командиров. Я уже изучил материальную часть некоторых видов вооружения, начал стрелять из боевой винтовки и показал в стрельбе хорошие результаты. Я ознакомился с военной топографией, тактикой различных родов войск и их функциями в войне, я физически стал сильнее и выносливее, а в дисциплине — строже и исполнительнее. Я радуюсь этому и горжусь своим положением. Эта радость гораздо больше и ощутимее, нежели мрачные, тягостные раздумья о будущем: она успокаивает меня и настраивает на самый веселый лад. Так давайте же, Любовь Иосифовна, забудем про наши временные горести, пожемем в радостном предчувствии скорого счастья руки и громко-громко, так, чтобы было слышно мне и Вам, посмеемся и пожелаем друг другу самого наилучшего в жизни — скорого разгрома гитлеровского зверья, огололого немецкого фашизма.

До скорого теплого и дружеского свидания.

Ваш Цыганков».

1 августа 1942 года.

«Дорогой мой учитель и наставник Любовь Иосифовна! Разрешите выразить Вам огромную радость, доставленную мне Вашими бесценными письмами. Я сознаю свой большой долг перед Вами, но, несмот-

ря на все это, я не в силах оплатить Вам его. Короче говоря, Любовь Иосифовна, я сейчас не имею времени на то, чтобы написать Вам письмо, достойное по своему объему и содержанию Вашего.

Любовь Иосифовна! Вот уже два месяца как я курсант МПУ. Изменилась моя жизнь, изменился и я сам. Насколько я изменился и что из меня будет в дальнейшем, покажет жизнь. Сейчас что-либо говорить об этом я не хочу. Я заключил недавно в письме с В. Варюшиным пари, в котором ставил условие: выиграет пари тот, кто первым из нас попадет на фронт и откроет счет отправленным по назначению «фридам». На это теперь я обращаю свои силы и способности, остальное, Любовь Иосифовна, Вам из этих слов будет понятно и ясно. Скоро у меня будет праздничный день: я принимаю военную присягу. Все, примите мой сердечный привет и наилучшие пожелания.

В. Цыганков».

**ВОЛОДЯ
ВАРЮШИН**



Челябинск, 26 января 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна! Шлю вам свой привет с наилучшими пожеланиями.

Сегодня исполнилось ровно пять месяцев, как я первый раз поднялся в воздух. Какая за это время произошла перемена, как много я узнал нового! Какая разница между первым полетом и последними полетами!

Тогда я, да и остальные ребята, был просто пассажиром. Смотрел, выпучив глаза, вниз и удивлялся, уделяя приборам ноль внимания, и только на поворотных пунктах записывал время.

Второй полет протекал уже более благополучно. Третий полет был уже с бомбометанием, ну, тут я немного запутался в расчетах прицельных данных, ну и промазал на двадцать метров, зато уже в следующем полете я был доволен собой. Все точно рассчитал и «вложил» бомбы, как и полагается, в цель. Ну, а дальше легче стало летать.

Вот только сейчас, зимой, летать трудно: холодно, и цель плохо видна, в последний полет я промазал опять на двадцать метров.

Но уж если придется немцев бомбить, то я едва ли промажу, будьте спокойны, по Берлину, во всяком случае, не промахнусь. Я, конечно, смеюсь, так как по Берлину вообще нельзя промазать, Берлин ведь не точка.

Вчера в ночь ходил на метеостанцию, всю ночь «наблюдал погоду». Сегодня спал весь день. Аж обошлось немного, но это ничего. Лишнее никогда не мешает.

Бывшие курсанты нашей школы творят на фронте чудеса. Так, один бывший курсант, ныне сержант, летая на тихоходной старой учебной машине «Р-5» (Вы спросите своих учеников о ней, они, вероятно, знают), сбил семь немецких самолетов!

Другой, летая на «У-2», без всякого оружия заставил врезаться в гору «мессершмитта». Вообще, эти «У-2» творят чудеса. Вылетят ночью, как стая комаров, и действуют по танкам. Скорость маленькая, спустится на небольшую высоту и начинает охоту. Бьет почти наверняка. Вот дела какие творятся.

Ну, всего хорошего!

До свидания!

С приветом —

В. Варюшин».

Челябинск, 25 февраля 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

Шлю Вам свой привет, привет от человека, только что избавившегося к своей великой радости от опеки медицинских работников и имевшего «счастье» проглотить за дни этой опеки столько горько-соленых пилюль и порошков, сколько мне не приходилось глотать за последние десять лет!

Выздоровел и снова за учебу: все учусь, так и война может кончиться, а я все буду учиться, это мне вовсе не улыбается: коптеть где-то в тылу, в безопасности, когда мои товарищи уже давно дерутся на фронте, некоторые уже убиты, а некоторые ранены. Интересно, что они обо мне думают, небось, думают: «Отсиживается там в тылу, а мы за него кровь проливаем!» Я как об этом подумаю, так мне стыдно делается. Ну, ладно, как на фронт попадем, сразу за всех рассчитаемся.

...Ну, пока, до свидания! Всего хорошего! С приветом —

В. Варюшин».

Челябинск, 2 декабря 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

Шлю Вам свой привет и желаю всего наилучшего! Я Вам давненько не писал, Вы уж, наверное, соскучились по моим письмам? А я, как видите, все еще здесь, в Челябинске, никак не могу с ним распрощаться, так он меня полюбил, что до лета 1944 года не выпустит из своих объятий. А я плачу «взаимностью», уже стал его ненавидеть всеми силами своей души.

Живу я все по-старому: «одинообразие, выраженное повторением дня в нынешние сутки», и так каждый день одно и то же. Если я еще здесь года полтора просижу, то вконец отупею.

Выдали нам лыжи, по паре на каждого гаврика, и, говорят, будем делать вылазки на 10, 20 и 30 км. Представляете — это с моими лыжными способностями, когда я всего один раз в жизни ходил на 10 км. Одно меня утешает: как-никак, а я спортсмен все же, думаю, что как-нибудь пройду. Лыжи я себе уже просмолил и прокалил, так что готов к любым вылазкам.

Из Москвы пишут, что Жорж Вавилкин около месяца валяется в госпитале, его трясла малярия, сейчас, наверное, уже выписался. Рэм пропал без вести, а мне не представляется возможность даже отомстить. Самолет бы в мое распоряжение, уж я бы дров нарубил! Бомбить я стал как бог — четыре бомбы вкладываю в цель. Так что будьте спокойны, уж не промахнусь, когда надо будет!

Сейчас математикой увлекаемся, задачами, составляем их в большинстве сами и притом такие, что Михаилу Сергеевичу Попову пришлось бы немало над ними посидеть... Ну, вот, и чернила в ручке кончились, приходится дописывать карандашом.

Сегодня наше отделение уходит в наряд, значит, завтра у меня день свободен, не знаю, что буду делать. Обычно в такие дни у меня настроение плохое: ходишь без дела, не зная, куда силу свою приложить!

Ну, пока, до свидания!

Всего хорошего!

С приветом — Владимир».

■
**ЛЮБА
ЛЕПЕШКИНА**



Москва, 19 апреля 1942 года.

«Здравствуйте, Любовь Иосифовна!

Вчера прочла Ваше письмо, которое тронуло меня до глубины души, и теперь я не могу, просто не в праве Вам не ответить.

Вы не представляете себе, сколько изменений произошло в это, казалось бы, короткое время, в частности, в моей жизни. Я постараюсь описать все подробнее.

Как только объявили войну, мы, девочки: я, Оля Л., Нила и Люся, — пошли заниматься на курсы дружинниц — у нас было огромное желание идти на фронт. Мальчики некоторые, как Петя Сагайдачный, Жорж, пошли работать на завод, а Валя Летунов поступил работать матросом на теплоход «Иосиф Сталин». Жизнь наша в то время протекала довольно-таки в веселой обстановке. Мы часто встречались с нашими мальчиками, болтали с ними, ходили в кино и т. п. Они нас разыгрывали за наш пыл и убеждали нас, что ни на какой фронт нас не возьмут, что страшно злило нас и вызывало много споров. (Но в конце концов они оказались правы.) Мы кончили курсы дружинниц, после чего дежурили на медпунктах во время бомбежек, когда приходилось принимать прямое участие в оказании помощи пострадавшим. Но и это недолго продолжалось: вскоре наша дружина рассталась, и я поступила работать на завод, где работал Петя. Я знаю, что это вызовет у Вас улыбку, но не улыбайтесь, Любовь Иосифовна, я поступила не потому, что там работал Петя, а потому, что только там был набор да и завод-то находился весьма близко. Итак, я работаю на заводе, в пятом пролете, фрезеровщицей. Какая прекрасная специальность! Да Вы себе не представляете! Я так полюбила работу, что прямо-таки только ею и жила. И, конечно, встречалась там с Петей и часто ждала у его станка (он работал уже самостоятельно по 12 часов). Он был токарем-карусельщиком, работу свою очень любил и был вскоре зачислен в число стахановцев. Он часто говорил мне, что пойдет на фронт, как только настанет зима (ему страшно хотелось в лыжный батальон), что и случилось, как Вы увидите позже. Все бы хорошо, да тут произошли такие недоразумения. Во-первых, Петя поругался с отчимом благодаря своему «собачьему характеру», как он выражался. И вот это-то впоследствии мешало мне видеть его, ибо он ушел из дома жить к тете своей, адрес которой никому

не известен. Во-вторых, прошел слух, что открываются школы, я скорее подаю заявление об увольнении. Как ни убеждал меня Петя остаться и учиться, совмещая это с работой, — ничего не вышло. А как трудно было уходить! Я уже работала самостоятельно на своем маленьком станочке. Но учеба для меня дороже всего, и я ушла с завода. Это было 30 августа, и с этого дня до сих пор я ничего не знаю, не слышу о Пете.

Ушла... и ошиблась, школы не открывались. Мне иеловко было опять идти и устраиваться на завод. Но так сидеть было неудобно, а тут еще Нила пришла со своими убеждениями, что надо поступить куда-нибудь, откуда скорее могут отпустить в случае открытия школ. И мы пошли на картонажную фабрику. Самым основным горем явилось то, что я не любила свою работу (а работа моя была весьма оригинальная — я делала коробочки для тортов). Я приходила на фабрику со слезами и уходила с фабрики со слезами. И тут, как назло, никого не вижу, уж не говоря о Пете. Потом вдруг открылись школы, пока я подавала заявление, да пока его подписывали, школьники всех отправили в совхоз, так что мне не пришлось даже увидеть наших ребят. И Петя был в школе, но он еще работал, так что в совхоз его не взяли (это я узнала от Нилы и Ани позже).

Итак, я оставалась на фабрике. Я страшно желала делать что-нибудь поразнообразнее, и, наконец, пришло это разнообразие: я от фабрики работала на трудовом фронте 29 дней. Сначала работала на окопах, а зимой, в самые сильные морозы, пила лес, делала лесные завалы. Во второй раз я была в двух километрах от линии фронта, так что теперь мнею немножко представление, что такое фронт. После боя мы ходили на поле сражения, где видели все ужасы, плоды, результаты боев. Ужасно, Любовь Иосифовна, видеть обгорелых бойцов: с разбитыми черепами, замерзшие, они лежали, как фарфоровые куклы, во всевозможных позах. Жутко!

А потом опять фабрика, опять однообразная работа в картонажке. А теперь я учусь — вот когда осуществилась моя мечта! Я так рада, так рада, что трудно представить предел моей радости! Учителя у нас и новые, первое время, правда, Михаил Кузьмич (М. К. Фатеев, учитель литературы 211-й школы. — Ред.) преподавал, а теперь что-то не преподает, не знаю причины. Сейчас у нас второй цикл — литература и физика, гонят страшно как, трудно, конечно, но ничего, справимся как-нибудь, не правда?

Нас страшно взволновало, когда узнали о ранении Ванечки Сорокина. Я несколько раз ходила в госпиталь и теперь веду с ним переписку. Любовь Иосифовна, представьте себе, как жалко Петю, судьба которого никому не известна. Я ходила на завод, где ничего мне не сказали (они сами его отыскивают). А он, верно, на фронте, он (я забыла Вам сказать) вступил в комсомол, наверное, чтобы скорее взяли на фронт. Ведь как трудно думать о том, что Петя где-то, может быть, лежит раненый, в госпитале, куда никто ему не пишет, никто к нему не придет. Не знаю, как Вам, а мне очень и очень жалко этого юношу. Ведь он очень хороший и чуткий мальчик, в чем Вы, наверное, не сомневаетесь.

Любовь Иосифовна, если Вы хоть что-нибудь узнаете о нем, напишите, пожалуйста.

«Кончай! страшно перечитать...» До свидания, Любовь Иосифовна. Крепко обнимаю и целую Вас.

Ваша ученица Люба».

Москва, 5 июня 1942 года

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Который раз перечитываю Ваше письмо и никак не могу оторваться. Сколько теплых советов, сколько сердечного тепла вложено в него! Тем более, что я сейчас нахожусь в моральном упадке, и ничем, кроме Ваших писем и писем Марксэны и Оли, не успокаиваюсь. Любовь Иосифовна, в том месяце (то есть в мае) нашу семью постигло три несчастья: смерть бабушки, смерть отца и увечье старшей сестры. Вы, конечно, понимаете мое душевное состояние в данный момент. Кроме того, из-за этих несчастий я отстала в школе, и теперь мне приходится усердно и весьма усердно готовиться, тем паче что с 9 июня у нас испытания второго цикла: литературы и физики. Учусь я, Любовь Иосифовна, несмотря на тяжелые материальные условия, довольно неплохо: первый цикл — математику — окончила на «отлично». Постараюсь так же кончить и второй цикл. Еще раз повторяю, Любовь Иосифовна, что письмо Ваше повлияло на мое настроение: оно придало мне больше бодрости и даже, в некоторой степени, и веселости. О Пете я ничего не слышу, да и не от кого! Ведь, кроме меня, признаться, никто и не заботился о том, существует ли Петя или нет его. Все девочки, а также и мальчики, только лишь желали поболтать с ним, а узнать, где он и что с ним случилось, никто не желал.

Я, Любовь Иосифовна, ходила и к Петиному отциму, но, к сожалению, никого не застала дома, а потом вообще опечатана была квартира, так что нечего было и ходить. А здесь недавно как-то я увидела (или это мне показалось), что в квартире их открыты на балкон двери. Но я страшно спешила и никак не могла зайти. И теперь, как только сдам второй цикл, во что бы то ни стало пойду и все узнаю, живет ли кто там или нет.

...Я живу сейчас, Любовь Иосифовна, только мечтой сдать испытания, то есть окончить 10-й класс, и увидеть при каких бы то ни было условиях Петю. Мысль о нем не выходит у меня из головы: с тех пор, как я его не вижу, ни на минуту из головы не вылетала эта мысль. И я стараюсь, Любовь Иосифовна, стараюсь осуществить это! Но, увы! Все старания мои разбиваются о скалу неудач. Я никак не могу подумать, что его уже нет. Нет, это не вяжется как-то. Этого, кажется, быть не может. Такой человек, храбрый, смелый, истинный патриот, не может так быстро погибнуть! Мне кажется, он обязательно будет героем этой войны! Ведь правда, Любовь Иосифовна? Как бы только узнать о нем, через кого бы? Этот вопрос все время мучает меня: и никак я не могу ни с кем из его родных связаться.

До свидания, дорогой мой учитель, Любовь Иосифовна.

Крепко, крепко Вас целую.

Люба».

Москва, 2 июля 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

...Я вчера не закончила письмо из-за страшной головной боли. Целый день я провалялась в постели с температурой 38,5, а сегодня уже нормальная температура, и я решила дописать Вам письмо. Закончим мы наш курс 26 августа, а там — в институт. Вы не можете себе представить, как я обрадовалась, когда мне мама сказала: «Ну что ж, кончай институт». О боже! Думала ли я когда о таком счастье, тем более в такое трудное время! Так или иначе я поступаю

в институт. Я уже ходила узнавать, когда прием как быть, если мы кончаем только 26 августа. Ходила я в геологоразведочный институт (факультет геолого-почвенный). Эта давнишняя мечта моя как будто хочет осуществиться. Вот почему я Вам говорила выше, что химия играет важную роль в моем будущем. Любовь Иосифовна, советуете ли Вы мне в геологоразведочный? Напишите обязательно. Только одно горе: я плохо вижу, особенно в последнее время. Правда, очки у меня есть, и я их в школе надеваю, но ведь на практике геологов придется их всегда носить! (Вот это-то меня и смущает!) А в общем, все ерунда, с этим-то как-нибудь справимся, только бы поступить в институт!

Дорогая Любовь Иосифовна! Я Вам писала, что а Петинной квартире кто-то живет. Да, это правда! Но сколько раз я ни заходила, все мне не удавалось застать жильцов. Я буду стараться все-таки узнать, кто же там живет.

Сестра поправилась, только глаз еще плохо видит, но это пройдет со временем. Мама чувствует себя ничего. Вот человек, полный энтузиазма! Несмотря на свои шестьдесят лет, она работает и работает неплохо.

Вам от нее сердечный привет. Ванечка мне ничего не пишет, не знаю, где он. Видела Тамару Анохину. Она сказала мне, что Дима Покаржевский находится в полевом госпитале, раненный в ногу и лопатку.

Да, Вы знаете, что Алеша Попов умер в госпитале?

Крепко, крепко Вас целую, моя дорогая Любовь Иосифовна!

Вы спрашиваете, друзья ли мы с Вами стали? Конечно, друзья навек!

Ваша Люба».



Москва, 4 августа 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

...Очень растрогала меня Ваша душевная большая забота о нас, Ваших должниках, которые (особенно я) сделали Вам столько неприятностей, хлопот. Да, я уже окрещенный, хотя и сравнительно легко. Ровно пять месяцев я провалялся в госпиталях и, наконец, с еще открытой раной (на игоге) вырвался в нашу родную, замечательную Москву. Расскажу немного о своем ранении. Был я ранен на Северо-Западном фронте, недалеко от озера Селигер, в ночь на 3 марта. Меня прострочили из автомата: две пули попали в лопатку и ступню. По лопатке пуля прошла вскользь (так как я лежал, вернее, полз), и, хотя сделала большую рану и проехала по кости, эта рана была более легкой и быстро (к середине мая) заросла. Сейчас на этом месте остался только большой выпуклый рубец. Вторая пуля наделала более серьезные

дела: раздробила в вырвала нижнюю часть лодыжки (что у нас называется наружной циклоткой) правой ноги и немного повыше переломила малую берцовую кость. Рана была большая и не очень красивая: рваные края, глубина — около 4 см и еще ко всему обломок кости торчал из нее. Сейчас и эта рана стала лучше (была 15×6 см, стала 8×3 см), но она все открыта и кость видна на дне раны.

Проехал я 13 госпиталей: 8 около фронта и 5 в тылу — города Валдай, Ярославль, Арзамас, Казань и, наконец, Васильевский дом отдыха под Казанью (в 25 км. Последний был лучший: на берегу Волги в большом и хорошем сосновом бору мы жили в небольших дачах). 28-го я попал на госпитальную комиссию и получила отпуск на 45 дней, хотя и думаю, что его продлят, так как рана, вероятно, не заживет за это время. 1 августа сел в поезд и 2-го был в Москве. В первые два дня был у всех родных и знакомых, а также в школе, дома, в райвоенкомате и райкомах ВКП(б) и ВАКСМ. Видел Ольгу Васильевну Пулькину (учительница истории школы № 211.— Ред.), Колю Алексеева, он сейчас секретарь райкома ВАКСМ.

Ольга Васильевна познакомила меня с последними газетами и событиями (я нерегулярно получал в госпитале центральные газеты) и предложила интересную работу — политруком в РУ. Пока я воздержался (из-за плохого состояния ноги — она очень ломит), но потом, может быть, возьмусь. Буду заходить, вдруг да и я пригужусь для чего-нибудь мне возможного.

Очень больно слышать о смерти Алешки Попова. Если еще придется встретиться с этими зверями, отошму и за Алешу, и за Петрова (писателя, смерть которого меня очень поразила), и многих других. Боюсь за Рэма: неужели и он убит? Я просто не могу этого представить — хороший был товарищ и гражданин. Также есть подозрения и о Глебе Терентьеве — тоже сильный удар мне. Но все это дорого им, дорого станет — скоро, я думаю, они будут подставлять нашим пулям спины. Иначе я просто не представляю понятия «жизнь».

Я живу сейчас у дяди.

Пишите (обязательно).

Жду с нетерпением Вашего письма.

До скорого свидания.

Глубоко уважающий и любящий Вас

Дима».

Москва, 22 августа 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Только что приехал от своего дяди, где взял несколько писем для меня. Там же я нашел и Ваше письмо.

Спешу ответить.

Живу я сейчас хорошо, у себя на квартире, в обстановке, которая напоминает мать, школу, друзей, напоминает прекрасную мирную жизнь, и хочется еще сильнее бить врага, чтобы опять вернулась хорошая, светлая, свободная жизнь.

Мучают меня болезни: рана все еще сильно болит, особенно по ночам, не дает спать. Недавно я узнал, что у меня «остеомиелит», что означает воспаление костного мозга. В правдивости этого диагноза я убедился сегодня: при перевязке из раны был удален сравнительно большой секвестр (осколок кости), который до того (в госпитале) был частью целой кости. В общем, кость (остаток лодыжки) понемногу разваливается. Это меня несколько не радует. Отпуск, наверное, продлят, если так будет продолжаться и дальше.

Вторая болезнь — это колит. Я подхватил его во фронтовых госпиталях, и сейчас он перешел в хроническое состояние — ничем не лечится. В госпитале я 2,5 месяца сидел на «4-м столе», то есть на сухарях, бульоне и рисе. Потом наступило некоторое затишье, которое кончилось на днях. Колит очень сильно изматывает. Становлюсь зеленый и беспомощный. Хотя плачь, да вряд ли это поможет.

Ходил в райком ВАКСМ, Алексеев послал меня в МГК. Там я подал анкету для поступления на курсы (2 мес.) агитаторов и пропагандистов при МК ВКП(б). Лекторы замечательные: Ем. Ярославский и др. Все-таки время зря не пропадет — буду политруком в армии. Загвоздка только в том, что я «военнослужащий», но, может быть, это уладится. В МАИ меня не приняли по этой же причине.

Теперь о товарищах.

Очень печально сообщать, что погиб смертью героя Петя Сагайдачный. Это я узнал от одного художника, которому пишет письма Петина мать Мария Петровна. Он был в последнее время разведчиком («лучшим разведчиком части», — как пишет командир полка). Как видно, погиб он в июне. Ему пробило горло и голову — смерть наступила мгновенно. Об этом писали его матери Петины товарищи. Люба Лепешкина да и все другие его и мои товарищи узнали это от меня. Люба, как говорят, очень плакала. Едва удержался от слез Жора Митрофанов, когда узнал об этом.

Люба Лепешкина уехала 20-го на лесозаготовки. Салынский взят в нестроевую часть Красной Армии. Митрофанов и Летунов все лето работали на теплоходе на канале Москва — Волга. Теперь же их тоже берут в армию, и, наверное, они попадут во флот. Ваня, так же как Глеб Терентьев, уже около двух месяцев не дает о себе знать. Они оба были на Южном фронте. Неужели и он тоже? Не хочется думать.

Володя Варюшин все еще в Челябинске. Цыганков недавно ушел в армию. Вот, кажется, и обо всех рассказал.

Привет Вашим детям, особенно тезде.

До свидания!

Большое спасибо за Вашу материнскую заботу обо мне и других.

С горячим комсомольским приветом —

Ваш Дмитрий П.».

**ЛЮБА
ЛЕПЕШКИНА**



Москва, 10 августа 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Сегодня я совершенно разбита! Разбита известием, которое получила от девочек: Инне Хахарева сказала Дима Покаржевский (он сейчас в Москве), что Петя С. убит. И эту весть мне сообщили сегодня на уроке химии.

Дорогая Любовь Иосифовна, я не могла удержаться, чтобы не заплакать, мне, правда, неловко было, но, увы, не было сил, чтобы удержать эти слезы. Я не сдавала сегодня химии: просто не могла ничего делать, так меня парализовало это известие, так оно убило меня! Я прекрасно понимаю, что и Вы к этому холодно не отнесетесь. Любовь Иосифовна, а как не хочется верить этому известию, может быть, это не правда?! Хорошо бы! Мне надо сейчас подготовиться к химии, но я не могу. Я жду, когда придет с работы Тамара Анохина, пойду к ней, может, увижу Диму и спрошу его как следует. Я боюсь, что не вытерплю спокойно слушать его и расплачусь. Я и сейчас плачу, когда пишу. Слезы затуманивают мне глаза, я почти не вижу, что пишу, и не соображаю. Моей целью было оповестить Вас о такой тяжелой потере. Нет, Вы не представляете, что и сейчас переживаю. До этого я все время плакала, сейчас немного успокоилась, чтобы хоть как-нибудь написать Вам письмо. Нас отправляют на трудфронт, а мальчиков на боевой — экзаменов не будет, не знаю, дадут ли аттестат.

Любовь Иосифовна, я кончаю. Больше нет буквально сил.

Я разбита, совсем разбита!!!

Крепко, крепко целую Вас.

Ваша Люба».

Москва, 21 августа 1942 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

До сих пор я еще никак не очнусь от того жуткого, кошмарного состояния, в котором оказалась, узнав о смерти Пети. Я ходила к Диме и лично просила его рассказать о нем. Дима сообщил мне те сведения, которые были даны ему родственником Петра.

Оказывается, Петр убит двумя пулями: одна — в нос, другая — в горло. Он был разведчиком (причем лучшим!) и действовал на Западном фронте. Дорогая Любовь Иосифовна! Как все-таки не хочется верить, что Петя убит. Эти два слова: «смерть» и «Петя» — отталкивают друг друга, никак уж не вяжутся!

Все эти сообщения произвели на меня ужасающее впечатление: несколько дней я ходила, как ошпаренная, и после этого во мне погасло все веселое, все мне стало противно! Мне кажется — и это так и есть, — что веселость моя погасла навеки! Вы не представляете, как я изменилась. Мало того, что страшно раздраженная, но и похудела страшно! Все, кто знает меня, увидев, удивляются моему изменению.

Мысль о том, что Петя убит, не вполне доходит до моего сознания. Я стараюсь убедить себя, что это ошибка, что, может быть, и жив! Но увы! Ведь и не удивительно: в такой кровопролитной войне мало кто и уцелеет. Я очень просила Диму узнать все у того же родного Сагайдачных адрес Марии Петровны. У нее же я хочу узнать точно, в какой части, на каком направлении был Петя, и написать запрос в комиссариат, где точно получу сведения о нем. Не знаю, как на Вас, но на меня (повторяю) это известие подействовало чудовищно, подавляюще, ибо я, потеряв такого друга, как Петя, теряю всю жизнь (ту, которой хотелось бы жить), ибо когда кого-нибудь уважаешь и дружишь, то на душе так легко и весело, хочется жить, жить, жить! А теперь!.. Теперь мне все равно, мне все равно — жить или умереть! Вот до чего можно быть разочарованным!

Я кончила 10 классов, кончила неплохо, правда, аттестат нам дадут после с.-хоз. работы. Я получила Вашу открытку и прочла Ваш совет — идти в с.-хоз. академию. Любовь Иосифовна, я так и сделала, подала заявление в с.-хоз. академию на мичуринское отделение. А с 25 августа нас со школы отправляют в колхозы.

Я, между прочим, попадаю в богатый экспериментальный совхоз от с.-хоз. академии (нас, лучших учеников, туда посылают).

Лешу Салынского взяли на фронт. Недавно получила от Ваиечки Сорокина письмо, где пишет, что вступает в партию и что много шансов к представлению его к награде.

Ну, дорогая Любовь Иосифовна, до свидания! Крепко, крепко целую.

На это письмо не отвечайте, так как пришло Вам скоро колхозный адрес.

Крепко целую.

Люба».

**ВАНЯ
СОРОКИН**



Действующая армия, 5 октября 1942 года.

«Здравствуйте, дорогой и любимый наш преподаватель Любовь Иосифовна!

Прошло много времени, как я Вам писал... Произошел перерыв в нашей переписке, виной тому все я. Правда, для меня было очень трудно не иметь связи с Вами, наш любимый воспитатель и преподаватель.

Вот уже год, как течет моя боевая фронтовая жизнь. За это время я сильно изменился, произошло много перемен в моем характере, не знаю, правда, в какую сторону, в хорошую или в плохую.

Жизнь моя идет хорошо, бить немца мне уже не впервые, вошло в привычку. Боевых эпизодов много порассказать можно, но хвалиться не буду.

В августе меня приняли кандидатом в члены ВКП(б), два раза подавали мою боевую характеристику на правительственную награду. Но еще указов и приказов я не видел.

Но не в этом дело.

Сейчас надо неустанно, день и ночь истреблять эту мразь, — пьяную, обиаглевшую, которая посягает на нашу священную Родину.

Часто получаю письма от Оли Лукьяновой, она жила в Уфе, кончила среднюю школу с аттестатом отличницы. А сейчас, наверное, учится в Ташкенте, в институте инженеров связи — это московский институт, который находится там.

Знаете, Любовь Иосифовна, замечательный друг и товарищ она.

Я долго буду вспоминать нашу совместную работу в школе. Замечательное и невозвратимое время прошло и больше никогда не придет. А как жалко, Любовь Иосифовна, что я не успел кончить школу.

И все из-за себя. Все мои друзья ее кончили. А сейчас часть работает в колхозе, как, например, Люба Лепешкина. Трудный она момент пережила: смерть отца и смерть любимого друга и товарища Петра Сагайдачного. Хороший и веселый друг и товарищ был он.

Когда я узнал о его героической смерти, то у меня предела ненависти не было. И в этот день мы уничтожили столько немцев, что они после этого боя два дня не делали ни одной атаки, подтягивали резервы. И когда убьешь немца, то обязательно подумаешь, что это вам, проклятые гады, за смерть моего друга Петра Сагайдачного. И я Вас уверяю, Любовь Иосифовна, что за его смерть я буду платить до тех пор, пока смогу держать свой автомат, а когда этой возможности не будет, то гранатой и зубами буду истреблять эту мразь.

Получил письмо от Димы Покаржевского, который Вам, наверное, писал, и о его жизни Вы знаете, так что я буду умалчивать.

Ну, а насчет переписки с Ниной Хахарева Вы знаете, а если нет, то можете заключить из следующего, что каждую неделю получаю письмо или открытку.

А пока и писать не знаю что. Да и уж некогда. Получать приказ надо.

Пишите, дорогая и любимая Любовь Иосифовна! После того как выполню приказание, напишу, а пока до свидания, а может быть, это и последнее письмо.

Крепко целую!

Ваня.

Р. S. Вы, Любовь Иосифовна, не обижайтесь на предпоследнюю строчку, а особенно на поцелуй, но это искренне и откровенно! Соскучился и по Вас очень!»

**ВОЛОДЯ
ЦЫГАНКОВ**



Действующая армия, 5 сентября 1942 года.

«Мой горячий привет дорогой Любви Иосифовне! В самые трудные моменты я всегда вспоминаю Вас, и эти воспоминания вселяют в меня бодрость и необходимую в эти минуты стойкость.

Вот сейчас, Любовь Иосифовна, я сижу под обстрелом вражеской авиации и, несмотря на это, пишу Вам письмо, чувствуя в себе спокойствие и хладнокровие.

Я плюнул на бомбежку, которая мне надоела еще в тылу, и принялся писать письма, пока у меня есть еще свободное время. Любовь Иосифовна! События в моей жизни разворачиваются очень быстро: проучившись в военном училище около двух месяцев, я попал в Действующую армию, сразу же на фронт. Наше училище было расформировано, и всех курсантов простыми красноармейцами направили на защиту Родины — или, короче говоря, на неизбежную после мирной учебы боевую практику. Я зачислен

в роту связи при стрелковом полку, в той самой дивизии, которая прославилась прошлой зимой как освободительница в г. Тихвине. Буду работать связистом.

Сейчас нахожусь километрах в пяти от передовой линии, готовлюсь к бою. Может быть, сегодня ночью мне придется выполнять боевую задачу. Сам я сейчас вполне спокоен и даже немного беспокоюсь по поводу своего спокойствия: уж очень оно большое, похоже на то, будто я жду чего-то неизбежного и неизменного.

Ну, все. Крепко жму Вашу руку.

В. Цыганков».

Углич, госпиталь, 14 октября 1942 года.

«Здравствуй, дорогая Любовь Иосифовна!

Я уже давно не писал Вам и сейчас постараюсь объяснить, почему это произошло, а Вы, конечно, закончив читать это письмо, простите мне мое полумесечное молчание.

В последний раз я посылал на Ваше имя открытку от 5 сентября. Это был день, когда часть, где находился я, пошла в свой последний переход, завершающий наше далекое и долгое путешествие. Мы шли на передовую линию; мы шли темной ночью туда, где грохотала канонада и раздавался вой вражеских пикировщиков, мы шли в район Сияявино. Вы, конечно, слышали о боях в этом районе. Печать недавно сообщила об их результатах. Когда я вернулся домой, я сообщу Вам, Любовь Иосифовна, многочисленные подробности к тому, что Вы знаете об этом, а пока я буду говорить Вам о том, что случилось с одним из свидетелей этих боев — молодым и неопытным бойцом Володькой Цыганковым. Он работал связистом, сидел у телефона, бегал чинить порванные линии, исполняя поручения командиров. Он впервые узнал, что представляет собой немецкая армия и каковы ее приемы войны, ему пришлось с трудом привыкать к крови и убитым. На десятый день своего пребывания на фронте он был ранен автоматчиком в левую руку и вскоре был переведен в г. Углич на лечение. Отсюда он и шлет Вам в заключение своего письма теплый привет и лучшие пожелания.

В. Цыганков».

Углич, госпиталь, 21 ноября 1942 года.

«А-а! Любовь Иосифовна! Вот радость-то! Здравствуй, здравствуй, Любовь Иосифовна. Вот ведь счастье-то какое — и не ожидал совсем. Ах, если бы Вы только знали, какое удовольствие, прямо-таки наслаждение доставляет мне хоть самая короткая встреча с Вами. Вот и сейчас мое сердце радостно прыгает, а сам я нахожусь в каком-то упоении.

Знаете, Любовь Иосифовна, я Вам прямо скажу: Вы для меня все равно что мать, бог, солнце... — все, что хотите... Вы не верите? Уверю Вас, что это именно так. Неужели Вы не видите, как я счастлив при встрече с Вами и как грустит мое лицо, когда я Вас долго не вижу.

Вы спрашиваете меня, что со мной было в последнее время и что происходит сейчас. Вы просите рассказать об этом подробнее, но это, дорогая Любовь Иосифовна, к сожалению, я сделать сейчас не могу: тороплюсь. Дело в том, что я теперь спешу на вокзал, еду в Поволжье, куда меня направили из госпиталя в батальон выздоравливающих. Вам, может быть, по пути? Вот хорошо! Пойдемте, Любовь Иосифовна, и поговорим на прощание, как полагается добрым друзьям.

Да... большая заваруха разыгралась сейчас. И сколько всего забрала она уже в свои лапы! Сколько молодых цветущих жизней погублено! Прямо беда! И что будет дальше, черт его знает. Одно только видно: выдыхается немец, сил у него больше нет прежних, ослаб дьявол.

А все-таки жуть, страшно становится, как подумаешь, что он наделал, гад, и что еще может сделать. Видел я следы его людоедской работы, насмотрелся достаточно. И сказать Вам, Любовь Иосифовна, смотря на все это, чувствуешь в груди у себя только злобу и ненависть. И себя не жалко в эту минуту. Бывало, простишься с товарищем, а через пять минут слышишь, что убило его. Только зубы стиснешь после этого и еще больше возненавидишь мерзавцев.

Ранило меня... Иду это я часа в три дня чинить порванную линию, ищу порыв, и вдруг как ударит что-то в руку. Только пальцы дрогнули. Выстрела-то я и не заметил. Привык уже к нем. Сел на землю, замотал рану кое-как и в санчасть. Перевязали мне руку, посочувствовали и направили в тыл, а там лазарет, санпоезд. Поправился я и снова еду обратно туда, где должен быть.

Ну, прощайте, Любовь Иосифовна, будьте здоровы. Желаю Вам всяческих успехов, вспоминайте обо мне. Мне пора, я побегу.

Вас неприятно удивит столь не подходящий для нашего времени стиль моего письма. Моя манера писать целиком зависит от моего настроения: если я весел, я пишу письма, подобные этому; когда же меня одолевает тоска, мои письма мрачны, как ночь в непогоду. Сейчас мне почему-то страшно весело. Я вспомнил старицу, шуточные беседы с друзьями, и мне вдруг захотелось так же, как и раньше, пошутить и посмеяться. Я знал, что Вы не откажете мне в этом.

Любовь Иосифовна, я снова возвращаюсь на фронт. Я не знаю, что со мной будет, но я спокоен за себя и за свое прошлое. Только два случая в моей жизни смущают меня. Из-за какого-то пустяка, которого я сейчас даже не помню, я потерял своего лучшего друга Рэмку Октябрьского. Он был моей второй душой, мы понимали друг друга с полуслова. И вот нелепый случай, дурацкая гордость оборвала нашу прежнюю дружбу. Я глубоко раскаиваюсь в этом и никогда не прощу себе такой глупости.

Так же глупо я потерял и другое сокровище, притягивающее меня к себе, как магнит железо. Я имею в виду одну девушку, с которой у меня были странные отношения. Да, Шура была славная девушка, а я был тогда большой, большой дурак.

Простите мне, Любовь Иосифовна, мою откровенность: Вы мой друг, и я Вам вполне доверяю. Прощайте.

Ваш В. Цыганков.

Р. С. Отвечать по этому адресу не надо».

Поволжье, 1 января 1943 года.

«Здравствуйте, Любовь Иосифовна!

Поздравляю Вас с наступившим Новым годом, который, несомненно, и Вам и мне принесет много радостей! Как Вы встретили его? Мне не удалось встретить его приход, и последний вечер 1942 года был для меня обычным зимним вечером.

...Я нахожусь сейчас в запасной части. Когда мы вновь поедem на фронт, неизвестно. Здесь, в части, я впервые по-настоящему стал выполнять общественную работу: мне пришлось одно время быть замполитруком, комсоргом роты. Сейчас я выпускаю

стениные газеты, работаю также комсоргом, изучаю военное дело. В общем, пока все в порядке. При части имеется хороший клуб, где каждый день показывается кино или бывает концерт. Есть много газет и другой литературы, можно послушать радио. Особенно нравится мне утренний зарядка и ходьба на лыжах. Вот прелесть-то! Выскочишь утром на свежий воздух в одной гимнастике, сон мигом улетает, и чувствуешь, как бодрость и энергия вливаются тебе в тело!

Любовь Иосифовна! Вы мне обязательно должны написать сюда ответ. Только здесь Ваше письмо имеет возможность застать меня, и нигде больше: там начнутся частые переезды, перемена местонахождения. Я прошу Вас по получении этого письма сейчас же откликнуться на него и написать мне обо всем, что Вы имеете в виду написать. За это я отблагодарю Вас множеством корреспонденций и частыми воспоминаниями о Вас. Напишите, пожалуйста, что-нибудь о ребятах, о В. Варюшине. Неужели он все еще находится в тылу? Если так, то он обязательно побьет рекорд в этом виде спорта.

Дорогая Л. И.! Я здесь еще не получил ни одного письма, мне ничего не известно о том, как живут мои старые товарищи, что они сейчас делают. Только одна Вы можете сообщить мне что-нибудь о них. Так сделайте же это!

Ну, и, конечно, в первую очередь напишите о себе и своей творческой и полезной работе. Обязательно! До свидания, Любовь Иосифовна, посылаю Вам и всем, знающим меня, свой горячий красноармейский привет.

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

**ДИМА
ПОКАРЖЕВСКИЙ**



Москва, 14 сентября 1942 года.

«Милая Любовь Иосифовна!

Долго ждал Вашего письма и, наконец, получил. Только что пришел с занятий (сейчас 10.30 вечера) и прочитал письмо.

Во-первых, напишу Вам о Любе. Вы в письме к Нине (как она мне сказала) ругали нас за то, что мы несерьезно подошли к отношениям Любы к Пете. Я узнал первый о его гибели и сказал всем другим. Но я, несмотря на свою «прозорливость», никогда не замечал этих отношений. Я просто не знал этого и поспешил сообщить эту печальную новость. Только потом, когда меня засыпали вопросами, когда я увидел, как переисла это сообщение Люба, я понял, наконец, свое неосторожное поведение в этом случае.

...Любовь Иосифовна!

В предыдущем письме я подписался «Дмитрий», совсем не думая о том, как это надо понимать. Просто машинально подмахнул. Сейчас я, наоборот, хочу казаться еще маленьким — ведь так быстро бежит время, мне скоро уже будет 20 лет — совсем старик. Так

Москва, 7 февраля 1943 года.

что меня только прельщает и трогает Ваше обращение со мной.

...Несмотря на войну, несмотря на все тяжести, которые нам приходится переносить, хочется иметь любимую девушку, человека, с которым можно было бы все разделить: радости и горести... Я могу говорить о жизни и с матерью и с Вами, но все же это не то, чего-то недостает (конечно, Вы не обижайтесь). И, лежа в госпитале, я часто думал об этом... Мне и сейчас хочется найти и полюбить такую девушку, которая была бы до конца предана Родине... И в то же время была бы красивой и умной. Но сейчас совершенно нет времени заниматься такими «важными» вопросами, только иногда, минутами я думаю об этом...

Что же я сейчас делаю? Вот уже больше недели, как я посещаю занятия паркурсов при МК и МК ВКП(б) и очень доволен. Прорабатываем историю партии, географию: и физическую, и экономическую, и политическую. По этим предметам идут классные занятия и лекции. По остальным — только лекции. «Остальные» — это международные отношения, Великая Отечественная война (2 цикла лекций — два преподавателя), агитация и пропаганда в дни войны и т. д. и т. п. В общем много всего. Встаю рано, ложусь поздно. Дома бываю мало. Мне довольно легко учиться, так как в основном я только повторяю недавно пройденное.

Меня выбрали в редакцию стенгазеты. Завтра буду корпеть над заголовками. Теперь я хожу уже без палки, так как трудно ходить с портфелем и с палкой, особенно в трамвае плохо. Но нога еще болит. С утра я почти не хромаю, а вечером еле добираюсь домой. Рана заросла, но остался свищ. Поэтому мне продлили отпуск еще на 45 дней, до 29 октября.

Ни от Рэма, ни от Глеба ничего нет. Никаких известий. Нина Хахарева с девочками теперь редко меня навещают, так же, как и я их. Мне просто некогда, и я не могу собраться к ним. Может быть, придут завтра: они обе выходные, да и я буду дома. А то будет скучно: ведь завтра занятий нет.

У нас в Москве уже настоящая осень: дожди, деревья пожелтели, стало холодно. Жаль, что лето ушло. Опять зимой воевать придется. Трудно, ну да ничего, зато следующее лето будет хорошим, свободным, веселым.

Пока, всего хорошего.

Пишите.

Привет Вашим Детишкам, особенно тезде.

С комсомольским приветом — Ваш Дима.

Москва, 18 декабря 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Я опять в армии — правда, не в полном смысле, но «в армии». Комиссия признала меня годным к строевой службе в тылу с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 15-го я явился в свой военно-пересыльный пункт и был оставлен там как писарь на время проведения инвентаризации. Не знаю, что будет после окончания ее, то есть после «Нового года». Просился я в строевую часть, но не берут, так как рана открыта и остеомиелит очень много уже сделал вреда. Боюсь, что сделает еще больше.

Вчера и сегодня по служебным делам катался по городу. Сейчас сижу в Кунцево, куда тоже был послан начальством. Все, касающееся дел, выяснил, а теперь жду поезда.

Ну, до свидания. Привет всем знакомым и Вашим ребятам.

Красноармеец Дима. Пишите пока домой.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Давно уже получил от Вас открытку, но никак не мог собраться ответить. Я уже на новой работе. Не в армии, а на работе. Ровно месяц пробыл в пересыльном пункте, откуда меня откомандировали в горвоенкомат, где, как вестроевого, меня направили на политработу на один из московских заводов. Ездить очень далеко приходится — на другой конец Москвы. Обещают, правда, перевести поближе к дому, но, как видно, только обещают. Перевести же необходимо, так как иногда, когда нет трамвая, приходится проделывать длинный путь от метро до завода.

Как Вам нравится наше наступление? Здорово их гонят! Сегодня Азов и Краматорск взяли. Если такими темпами дальше будет идти наступление, то к лету можно ждать хороших результатов.

Ну, пока всего хорошего! Привет Вашим ребятам. С приветом — Дима».

«...В Москву на несколько дней приезжал (кто бы Вы думали?) Леня Анисимов! Он был на Сталинградском фронте, в январе был ранен, а из госпиталя попал в Москву... Теперь он опять уехал в часть.

Ванюшиного адреса я до сих пор не знаю, потому что Нина ко мне не заходит, а я, когда заходил к ней, не заставал дома.

Думаю опять идти добровольцем в армию, надоело здесь.

Ну, всего Вам хорошего. Жду в Москве. Привет Диме и Гале.

С комсомольским приветом — Дима».

ЛЮБА
ЛЕПЕШКИНА



Московская область, сентябрь 1942 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Сегодня получила я Ваше письмо, которое переслали мне из Москвы. Сейчас я нахожусь в совхозе, на экспериментальной базе «Вельяминово». Сверх наших ожиданий, приняли нас весьма и весьма негостеприимно. Первое время я страшно перебивалась, особенно с хлебом, так как ввоз его запаздывал на 1—2 дня. Сейчас дело несколько улучшилось: стали давать картофель и редко, правда, молоко. Но зато работать приходится не покладая рук: с 7 утра до 7 вечера, из них 2 часа на обед. Сегодня я работала с 4 утра на молотье, зато окончила в час дня. Любовь Иосифовна, я не припомню больше ни одной работы труднее молотьи! Я думала, что не выживу: пыль столбом, все закладывает — и нос, и рот, и уши. А тяжело как выдирать горох! О! Это прямо ад крошечный! И вот сейчас, в часы отдыха, я Вам пишу письмо.

Дорогая Любовь Иосифовна, как Вы прекрасно понимаете людей, хотя и не так Вы стары! Вы чуд-

но написали письмо, мне пеловко было, но я плакала (уж сотый раз, наверное!), перечитывая Ваше письмо...

Скучаю я, плачу втихомолку, особенно когда вспомню о папе или Пете. Писать мне совершенно некогда. Только сегодня уж так повезло мне, поэтому хочу я всем, кого знаю, написать по несколько строк. Мама мне уже ответила, пишет, что плохо насчет питания, вот что меня больше всего волнует! А помочь ничем не могу. Говорят, что дадут нам на карточки круп, тогда, конечно, свезу в Москву.

На этом кончаю писать. Крепко, крепко целую Вас, дорогая Любовь Иосифовна!

Ваша Люба.

Ванечка Сорокин мне написал перед отъездом. Он пишет: жив и здоров. Я ему ответила, он находится на Южном фронте».

Москва, 25 октября 1942 года.

«Милая и дорогая Любовь Иосифовна!

Я теперь уже почти месяц учусь в Тимирязевской академии, на агрономическом факультете. Дорогая Любовь Иосифовна, я никак не ожидала, что так будет интересно в с.-хоз. вузе! У нас чудные химические и физические лаборатории, своя ферма, где мы будем работать, много-много всяких приборов и аппаратуры. В общем, мне очень понравилось! Я рада за себя! Ибо после смерти Пети во мне пропал, можно сказать, всякий интерес к жизни. Я была совсем «вареной». А теперь? Теперь во мне просветился огонек жизни, мне захотелось и работать и учиться.

Я получила ответ от Марии Петровны. Очень чутко, по-матерински отнеслась ко мне Мария Петровна. Я не ожидала такого подхода. Она подробно описала мне смерть Пети. Он убит был в апреле на Западном фронте. Был командиром разведывательного отряда, дважды был представлен к награде. Мария Петровна спрашивала Ваш адрес — я написала.

Дорогая Любовь Иосифовна, почаще пишите мне. Крепко, крепко целую.

Люба Лепешкина».

Москва, 18 января 1943 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

Как обрадовалась я Вашей открытке! Ведь я от Вас не получала писем около трех месяцев, очень волновалась, посылая открытку за открыткой. Я узнавала о Вас у Марии Петровны, но ничего определенного не узнала, а поэтому просто не знала, что и подумать. И вот, наконец, от Вас открытка — какое счастье! Я хоть теперь буду знать, что Вы находитесь все там же.

Недавно получила письмо от Ванечки Сорокина. Он находится в Челябинской области, учится там на танкиста. Остальных ребят никого не вижу, так как приходится очень поздно приезжать из академии. А с 1 февраля начинается экзаменационная сессия, очень волнуюсь (как всегда перед испытаниями!), но думаю, что сдать и выйду не на последнее место. Пишет Оля Лукьянова, она работает в Ташкенте.

Крепко целую Вас, дорогая Любовь Иосифовна!

Привет Вам от мамы.

Поздравляю с наступившим Новым годом и желаю самого наилучшего. Еще поздравляю с успехами наших войск на фронте.

Ваша Люба».

ВОЛОДЯ ЦЫГАНКОВ



Действующая армия, 22 мая 1943 года.

«Здравствуйте, дорогая Л. И.! Вашу открытку от 30 апреля я благополучно получил, спешу ответить Вам и передать в письме свою признательность и благодарность. Я очень рад, что Вы по-прежнему здоровы и бодры и что, находясь так далеко от меня, Вы не забываете меня и делаете все возможное, чтобы украсить мою однообразную военную жизнь.

Уже третий месяц я нахожусь на фронте и вместе с другими бойцами охраняю свои рубежи. На нашем участке сейчас спокойно: немцы, чувствуя свою слабость, не пытаются наступать, а наши артиллеристы и минометчики каждый день шлют им щедрые подарки. Три дня назад по немецким блиндажам и землянкам, находящимся напротив нас, дали залп наши гвардейские минометы. Что у них творилось — трудно описать. Я видел перед собой сплошной огонь и пламя и чувствовал радость и удовлетворение.

Вы сообщили мне о многих моих товарищах, но почему я ничего не слышу о Рэме Октябрьском? Неужели Вам не пишут из Москвы о его судьбе? Это меня порой гнетет и беспокоит.

Дорогая Л. И.! Вы мне написали только о некоторых моих друзьях, но я бы очень хотел немного узнать обо всех, кто учился со мной в Вашем классе. Я прошу как-нибудь узнать (через Москву или еще как-нибудь) об остальных и потом написать мне об этом. Я буду ждать от Вас таких известий в течение всего времени, пока буду находиться в армии. Сделайте это, пожалуйста.

Я только что вспомнил, что это письмо уже мой второй ответ на Вашу открытку: первое я послал раньше. (В этом письме Володя сообщил Л. И. Розин, что принят кандидатом в члены ВКП(б). — Ред.).

До свидания. В. Цыганков».

Действующая армия, 10 июня 1943 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна! Шлю Вам свой пламенный фронтовой привет и снабжаю его горячим только до Москвы, где, я надеюсь, Вы и встретите его.

Моя часть сейчас стоит в обороне, немцы не вылазят из своих траншей, наверняка зная всю бессмысленность и безуспешность своих попыток наступать. Сейчас стоит ясное солнечное утро. Я сижу у двери блиндажа, и прямо на меня светит солнышко. Все тихо кругом, но тишина эта непрочно. Скоро снова заговорят с обеих сторон орудия и минометы, и снова наступит «фронтовая тишина».

Такие дни, как сегодня, всегда вызывают в моей памяти былое. Я вспоминаю, как раньше, вот в такой же теплый и ласковый день, я выходил на улицу и думал, куда пойти, где лучше развлечься и провести такой хороший денек. Я намечал или стадион, или парк, или прогулку за город с купанием и от-

дыхом. Собственно говоря, отдыхать мне было не от чего: вся моя прежняя жизнь была сплошным отдыхом. Я никогда раньше не думал о сне: ложась спать, я думал о том, чтобы скорее наступило утро и вместе с ним новые развлечения и радости.

...Скоро наступят решающие бои. Со дня на день можно ожидать начала событий, которые прольют свет на исход всей войны. Весь народ готовится к этому. Красная Армия ждет только приказа для окончательного наступления на врага. Я обещаю Вам, что мой миномет не подкачает в грядущей борьбе. Для этого я непрестанно учусь метко разить врага, учу своих бойцов минометному делу. Победа придет к нам в борьбе, и, хотя многие не вернутся домой, наша Родина будет снова свободной, счастливой и богатой страной. Вы будете свидетелем этого, Любовь Иосифовна, обязательно будете!

На этом кончаю, прощайте.

С приветом — Ваш В. Цыганков».

Действующая армия, 4 июля 1943 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Я по-прежнему нахожусь на фронте, чувствую себя хорошо и ни в чем не нуждаюсь. Сейчас после пятидневной пасмурной и дождливой погоды впервые выглянуло приветливое солнышко. Оно такое же, каким было и раньше, в мирное время. Только земля изранена вокруг, да люди чувствуют себя несвободно. Я часто и очень много думаю о прошлом, вспоминаю своих товарищей, с которыми проводил вечера. Они все сейчас на фронте. Мы начинаем связываться друг с другом: я уже послал им письма.

Меня спрашивают бойцы, кому я пишу так часто письма, уж не любимой ли своей и люблю ли я сейчас кого-нибудь. После таких вопросов я, немного подумав, отвечаю: «Нет, что вы! Пишу я не девушке, а матери да своим старым друзьям. А люблю я сейчас больше всего на свете свой автомат да пару гранат. И любовь эта самая верная, до гроба». Мои ранние увлечения были поверхностны, и порой из-за своей крайней застенчивости я попадал в смешное положение. Теперь мне понятно, что все это было слишком романтично и ложно, и потому вот уже тринадцать месяцев я не написал письма ни одной девушке. До свидания, Любовь Иосифовна, крепко жму Вашу руку! Еще раз шлю свой привет.

Ваш Цыганков».

Действующая армия, 30 июля 1943 года.

«Привет дорогой Любови Иосифовне!

Я сейчас нахожусь в полном порядке, мое здоровье не просит помощи и лечения, а мой дух крепок и силен. Я временно отдыхаю в полтора десятках километров от фронта. Живу в лесу, среди зелени, прохлады и цветов. Наслаждаюсь прелестями лета, занимаюсь, дежурю, читаю, пишу и т. д. Дни проходят быстро, не успеешь как следует осмотреться после сна, как снова отбой и ночь.

Пожалуй, все сейчас обстоит хорошо, за исключением очень недостаточной корреспонденции моих друзей и знакомых. Я мало получаю писем, а из Серова мне нет уже вестей больше месяца. Почему это так — неизвестно.

Дорогая А. И.! Пишите мне побольше: Вы, кажется, собирались уже давно написать мне больше письмо, а его до сих пор нет. Я жду-жду и никак не могу дожидаться. Позавчера мне исполнилось 20 лет. Я уже прожил два дня 21-го года своей жизни. Удается ли мне прожить этот год, сказать,

конечно, очень трудно, да и не стоит над этим задумываться, а надо жить, пока живется. До скорого свидания, А. И., шлю Вам еще раз привет и пожелания хорошей, спокойной жизни.

В. Цыганков».

**ВАНЯ
СОРОКИН**



Действующая армия, 3 июля 1943 года.

«Здравствуйте, дорогой друг и незабываемый учитель Любовь Иосифовна!

Ответ от Вас не получил, но считаю своим долгом написать Вам еще письмо, в котором отблагодарить Вас за ту заботливость о нас, за то внимание и за те знания, которые Вы своим кропотливым трудом и кипучей энергией давали нам.

Я прекрасно помню те беседы со мной, то внимание, которое Вы уделяли мне, как Вы учили меня настоящей жизни... И вот сейчас, когда я прошел и прохожу суровую школу жизни здесь, я узнал настоящую цену ей.

Фронт научил меня — делай, что задумал сегодня, не откладывая на завтра, будь решительным в своем поведении и стойким: сказал — сделай!

Я сейчас очень жалею об упущенном в школе. Ну что сейчас можно сделать? Ничего! Но придет время, когда я возьму свое! Я думаю, что придет то время, когда Вы снова приедете в Москву. Когда многие Ваши ученики и воспитанники встретятся с Вами, Вы их не узнаете. Все они станут взрослыми, самостоятельными, многие будут кончать высшие учебные заведения. Многие будут командирами Красной Армии, и много, много будет специальностей у Ваших воспитанников. Вы будете рады за своих учеников, а они будут гордиться Вами, что Вы их направили на ту самостоятельную дорогу, по которой они идут уверенно и гордо, ибо они получили отличные знания средней школы. Фундамент был заложен прочно, и его никакая сила не разобьет. И все это благодаря Вам, как нашему самому лучшему и заботливому учителю и воспитателю, другу и товарищу! Я сейчас даже теряюсь, чем отблагодарить Вас за это. Но я Вам одно скажу, что Ваш ученик и воспитанник Вас не подведет, что в предстоящих боях будет драться, как он дрался под Москвой, под Харьковом, под Великими Луками, на Дону и в других местах с одной мыслью: беспощадно громить эту гадину без жалости. Разрешите на этом кончить, ибо времени у меня очень мало, только пару слов о своей жизни. Живу я хорошо, унывать мало приходится, потому что работы хватает. Экипаж у нас хороший: ребята дружные, веселые.

Пишите Вы о своей жизни, что знаете нового о наших ребятах, в общем, пишите все. Прошу передать горячий привет своим детям и ученикам. Мой фронтовой танкистский привет! До скорой встречи.

С приветом — Ваня».

**ЛЮБА
ЛЕПЕШКИНА**



Москва, 24 апреля 1943 года

«Милая Любовь Иосифовна!

Сегодня я получила сразу два письма: Ваше и от Жоржа с Валей.

Вы не представляете, как удивило и в то же время обрадовало меня их письмо. Ведь уже больше года, как я от них ничего не слышу. И вдруг — письмо! Они находятся сейчас во флоте (Балтийском). Очень жалеют, что нет с ними Пети, который фактически привил им любовь к морскому делу. Совсем недавно я получила письмо от Марии Петровны с Петиной фотографией: мне он очень понравился здесь, но только уж очень он печальный. В его глазах столько написано грусти, кажется, что он предчувствовал свою гибель.

Я учусь пока, кончим в июне, а в июле — на практику.

Никого я почти не вижу и редко от кого получаю письма.

Очень скучаю я, Любовь Иосифовна! Надо мной девочки смеются, что я от жизни отстаю: не гуляю, а мне не до того, что-то мучает меня — сама не знаю что. А пока живу надеждой, что скоро встретимся мы все вместе и обо всем переговорим.

«Любовь Иосифовна, дорогая!

Крепко-крепко целую Вас.

Ваша Люба».

Москва, 7 июня 1943 года.

«Любовь Иосифовна, дорогая!

Вчера получила Вашу открытку и спешу на нее ответить.

У меня, как и у Вас, начались испытания. Я уже сдала два предмета на «отл.», еще остались три. Не так давно приехала в Москву Мария Петровна. Я у нее уже была. Какая славная женщина! Она рассказала мне о Пете подробно, кстати, пришел Юра Федоренко, он вместе с Петей был и подробно все рассказал. (Ю. Федоренко — друг детства Пети Сагайдачного и его однопольчанин. — Ред.). Я прочитала несколько писем Петиных, полных патриотизма и тепла. Я жду не дождусь, когда Вы приедете, вот тогда-то мы поговорим обо всем.

Я писала, наверное, Вам, что мне прислали письма Кот с Валей, которые сейчас служат во флоте (Балтийском). Очень сожалеют, что нет с ними третьего товарища — Пети. Теперь их отписали на корабли, и пока ничего о них не слышно. Больше писем я пока ни от кого не получаю и никого не вижу.

Простите за такое короткое письмо, но я закончу

на этом, сейчас уже 12 часов ночи, и глаза мои слипаются (я очень устала за день в связи с работой на огородах).

Крепко, крепко целую Вас.

Люба.

Скорее приезжайте!»

**ВОЛОДЯ
ВАРЮШИН**



Челябинск, 2 июня 1943 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

Сегодня получил Вашу открытку, я никак не думал, что Вы все еще в Серове, однако Вы, кажется, так же как и я, застряли на Урале.

Живу я все по-старому, нового ничего нет. Дня четыре тому назад летал. Взлетели нормально, стали на цель заходить — только вышли на боевой курс, как с боку на нас самолет «юзом» летит. Что такое? Ну, мы, конечно, разворот — и в сторону. Заходим второй раз, и снова этот самолет («У-2») нас «атакует». Посмотрел я на него повнимательнее, вижу — из его кабины двое отчаянно машут руками и показывают на наши шасси (колеса со всеми стойками и осями). Я посмотрел в прицел на свое шасси и... увидел: правая нога сломана. Вот это, думаю, да... На что же мы теперь садиться будем?

Докладываю об этом летчику (ему самому не видно), он говорит: «Посмотри еще раз хорошенько». Что ж, думаю, посмотреть-то я посмотрю, да новая-то нога не вырастет. «Ну, — говорит, — шен себе ломаем». Прилетаем на аэродром, а нам посадку не дают. Старт стали перекладывать, чтоб мы в стоящие на земле самолеты не врезались. Пока перекладывали, мы прощальные виражи над школой закладывали. Смотрю я на землю и вижу: в клубах пыли спешат на аэродром карета «Скорой помощи» и пожарная машина. Народу — вся школа высыпала, и все руками машут, волнуются за нас, а особенно футбольная команда, которая, увидев самолет, определила, что на нем сидит ее вратарь, и рукой им прощальные приветствия посылает.

Пошли на посадку. Парашют я свой засунул под сиденье, привязался покрепче, очки — на лоб, чтобы, если при посадке стукнешься, глаза не порвать, и жду. Чувствую, машина стукнулась о землю, затем через несколько секунд (1—2) наклонилась на правый борт, крылом — о землю, и разворот на 180 градусов. Крыло сломалось, шасси совсем менять пришлось, а я и летчик не получили ни одной царапины! Как говорится, «машина — в дым, экипаж невредим!».

Вы спрашиваете, какие у меня перспективы... Увы, только одна, да и от той я бы с удовольствием избавился: 1944 год мне придется встречать здесь же, как это ни печально. (В. Варюшин был оставлен штурманом-инструктором при авиашколе. — Ред.).

...Пока всего хорошего! До свидания!

С приветом — Владимир».

**ДИМА
ПОКАРЖЕВСКИЙ**



Москва, 3 октября 1943 года.

«Дорогая Любовь Иосифовна!

Совсем мы забыли друг друга. Ведь прошло уже несколько месяцев после последнего моего письма. Ответа я не получил, а писать было некогда. За это время накопилась масса новостей.

Я уже не работаю. Теперь я студент самолетостроительного факультета МАИ. С работы меня освободили довольно легко, дали 10 дней отпуска, и с 1-го я учусь. До сих пор я в это не верю: боюсь, что опять что-нибудь помешает учебе.

Со мной на первом курсе учатся Тамара Скробук и Сергей Трифонов. Тамара давно уже в Москве, она работала на заводе, а теперь тоже ушла. В Москву приехала Мила Виктурина, я ее еще не видел, на днях думаю зайти. Приезжал на несколько дней Ваня Сорокин, он опять был ранен и на 10 дней получил отпуск. Воюет он на Западном фронте.

Ну, а когда же Вы приедете в Москву? Или до победы решили остаться в Серове? Очень хотелось бы увидеть Вас, о многом поговорить. Как Ваши ребята? Где и как они проводили лето?

Пишите мне.

Всего хорошего! С приветом — Дима.

Привет тезде и Гале.

Скоро приедет мой отец».

**ВАНЯ
СОРОКИН**



Действующая армия, 5 октября 1943 года.

«Здравствуйте, дорогая Любовь Иосифовна!

Получил Вашу открытку, и, откровенно говоря, я не знаю и не нахожу слов, чтобы отблагодарить Вас за Ваше внимание и заботу. Ту открытку, которую Вы писали в Москву, я читал в Москве. Как ни странно, но это так. Я писал Вам из Москвы, но не знаю, получили Вы ее или нет?

После ранения (я был ранен в одиом бою в правую лопатку) я, раненный, был несколько раз в атаке. Рана небольшая, но серьезная. Она до сих пор еще не зажила. Правую руку высоко поднять не могу. Осколок остался там. Операцию не делают,

ибо достать его трудно, но врачи говорят, что все пройдет и будет все в полном порядке. Ранен был 21 августа, получил отпуск в Москву. Видел многих своих старых школьных друзей, но все девочки. Ребят почти нет никого, если не считать Дм. Покаржевского. Время провел хорошо, а главное, повидал родных. Вот, пожалуй, и все новости. Получил орден Отечественной войны II степени и за отличное знание танкового дела нагрудный знак «Отличный танкист» и гвардейский значок «Гвардия». Вот и все мои успехи в области военного дела. Они очень незначительны и малы, если сравнивать с успехами других.

А сейчас готовимся сразиться еще раз с ненавистным врагом.

Приняли меня в члены ВКП(б), но партбилета получить никак не могу, он будет получен в скором времени.

На этом кончаю.

Горячий привет Вашим детишкам и ребятам, которых воспитываете.

Крепко, крепко жму Вашу руку!

С приветом — Ваня».

**ЛЮБА
ЛЕПЕШКИНА**



Москва, 10 марта 1947 года.

«Любовь Иосифовна, дорогая, здравствуйте!

Мне страшно неловко перед Вами за мое глубокое молчание, что до сих пор я никаких «признаков жизни» не подавала, но тем не менее я жива, здорова и продолжаю учиться! Милая Любовь Иосифовна! Я не хочу оправдываться перед Вами, но скажу, что действительно так складываются обстоятельства, что не имеешь свободного времени хотя бы посетить Вас, маму Пети и многих своих подруг. А теперь тем более я загружена «по уши», так как учусь уже последний год, а поэтому нужно готовиться к дипломной работе. Вам, наверное, известно, что я кончаю факультет виноградарства — виноделия, так что моя судьба, по-видимому, жить на юге.

Я уже за два года практики побывала два раза в Крыму. Крым на меня произвел просто великолепное впечатление, я очарована его природой, да и климат весьма удовлетворителен для меня. В Крыму я себя чувствую как рыба в воде, а как только приезжаю в Москву, так грипп у меня не проходит! В этом году в третий раз поеду в Крым, где буду работать над темой «Токайские вина Крыма» — очень интересная и очень благодарная работа. После чего защищу дипломную работу и... «пускать судьба забросит нас далеко». Мне, откровенно говоря, уж и неловко сидеть все на маминой шее, тем более, что такая сейчас тяжелая жизнь (нам туго приходится с мамой). Поэтому хочу поскорее освободить маму от такой обузы: пора уже и самостоя-

тельную жизнь строить. Вот, как видите, не из блестящих жизнь моя, но во мне сейчас нет уже той апатии, что была в войну, наоборот, мне хочется жить (пусть даже в тяжелых условиях), мне хочется бороться с препятствиями, стоящими на моем пути.

Я часто очень вижу во сне Петю Сагайдачного. Я еще до сих пор не совсем уверена в смерти Пети, тем более что во сне я его вижу возвращающимся...

**ПЕТЯ
САГАЙДАЧНЫЙ**



Действующая армия, 4 апреля 1942 года.

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

«Сегодня я хочу немного помечтать.

Нередко в часы отдыха или ночью в блиндажах мы говорили о своем будущем, о своих перспективах на послевоенную жизнь, и в такие минуты забываешь все плохое в жизни, а будущее кажется таким прекрасным и заманчивым.

К сожалению, я до сих пор не представляю себе ясно, что именно буду я делать, но, во всяком случае, мысли мои неразрывно связаны с трудом, со счастьем нашей семьи и счастьем всего нашего свободолюбивого и мирного народа. Я хочу, чтобы ты высказала свое мнение по этому поводу, посоветовала бы мне в этом большом и важном деле.

Первым делом, конечно, мы вернемся в свои родные гнезда — в Москву, в Харьков, на Украину. Лучше бы, конечно, чтобы все мы жили вместе дружно и согласно, но об этом я тебе уже не раз и много писал. Я не сомневаюсь, что в Москве или на Украине ты всегда найдешь себе и занятие, и заработок, и место. В любом месте ты сможешь воспитать ребятишек и сделать из них закаленных и жизнеспособных людей.

Затем я мечтаю закончить свое образование в морском техникуме или в каком-нибудь другом специальном заведении. Затем я буду работать, работать много и с любовью. Буду помогать тебе и продолжать подучиваться, чтобы достигнуть своей заветной мечты и стать тем, кем я хочу. Очень тебя прошу написать свое мнение обо всем этом и помочь мне в этом деле...

...Конечно, все это хорошо, о чем я тебе писал, но сперва ведь все это нужно завоевать и, может быть, завоевать ценой наших жизней.

Итак, пока кончаю. Крепко, как и всегда, целую тебя и всех наших.

Твой сын».

ВЛАДИМИР ВАРЮШИН —
*после войны служил в
в полярной авиации.
Сейчас руководит одним из
автохозяйств в Пскове.*

ЛЮБОВЬ ЛЕПЕШКИНА
*окончила
сельскохозяйственную
академию имени Тимирязева,
работала в управлении
совхозов Крыма и Молдавии.*

ДМИТРИЙ ПОКАРЖЕВСКИЙ —
*учился в Московском
авиационном институте.
Сейчас работает в
авиационной промышленности.*

ПЕТР САГАЙДАЧНЫЙ —
*пал смертью храбрых
в апреле 1942 года.*

ИВАН СОРОКИН —
*после окончания института —
сотрудник Министерства
иностраннных дел.*

ВЛАДИМИР ЦЫГАНКОВ —
*пал смертью храбрых
в августе 1943 года.*



**Анатолий
ТРОФИМОВ,**

рабочий Карачаровского
механического завода.
Ему 18 лет.



Я—ТОКАРЬ

Эта встреча случилась в отделе кадров, куда я пришел оформлять поступление на Карачаровский механический завод. Забрали мои документы и справки, сказали: «Иди, подожди немного. Вызовем». В коридоре — стулья. Сажусь. Подсаживается ко мне парень — старше меня, лет двадцати пяти, с папиросой в зубах.

— Работать нанимаешься? — спрашивает.

— Оформляюсь! — говорю.

— После ПзТзУ?

— Нет. После десятилетки.

— А-а... Один, сирота, что ль? Не москвич?

— Почему? Семья. Москвич.

— Квартиры нет? Жилищные условия — дрянь?

— Есть. Хорошие. А что?

— Так чего ж ты на завод идешь? Есть на свете, слава богу, и получше места. Тем более образование какое надо.

— В каком смысле? — спрашиваю.

— Да полегче где работа, не пыльная, а платят за взаимопонимание — вот какие места имеются в виду. Поинял? — улыбается сосед.

— Понял, — говорю, — но я на завод хочу.

Он на меня с таким удивлением посмотрел, как будто я заговорил на иностранном языке.

— А... Хочешь, значит. Ну, хотя, хоти. Хотеть не вредно... И на кого же идешь?

— На токаря.

— На токаря?! — Он опять изобразил удивление и даже хохотнул. — А ты станок-то хоть раз видел?

— Я на нем работал. В школе у нас был, в кабинете труда. Потом в профцентре для школ, где практику проходил.

— Ну, — говорит парень, улыбаясь, — ты специалист высокого класса! Только я вот что тебе скажу. Завод не школа и не центр твой. Здесь не час у станка — восемь стоять будешь. Не пять деталек — пятьсот придется вымучивать. Спать не будешь — детали во сне надоест видеть. Не дал количества — копейки хорошей не получишь. Работа нудная, однообразная, станок свой клясть начнешь за постоянство внешнего вида. Подумай, я много чего попробовал в здешнем «меню». Наелся досыта. Увольняюсь. Оформляюсь на выход. Так-то, токарь. Подумай...

Вот такой разговор. В первый день, как пришел на завод. Нет, этот разговор меня не удивил и не обидел. Спорить с тем парнем я не стал: у меня был свой настрой, у него — свой. И он мне мой не испортил. Но про себя я начал с ним спорить уже тогда, сразу, спорю и сейчас. Мой настрой ведь не изменился, как, впрочем, и появился не в один день. На завод я пошел работать сам, но к решению этому привело многое. Первое — мне просто нравилось работать. Нравилось давно.

Почувствовал я вкус своего собственного вклада в общее дело однажды на школьном занятии кружка труда. Я в него записался в седьмом классе, и тогда же и произошел тот случай. Мне и еще некоторым ребятам наш преподаватель Раевский Валентин Васильевич поручил «доставить до ума» станок для контактной сварки — он нужен был младшим классам, чтобы быстрее делать жестяные коробочки. Валентин Васильевич спроектировал этот станок и для удобства придумал, чтобы контакт давался нажатием правой педали. Педаль была, но я, помню, сказал, что она очень уж узка, надо шире. «Почему?» — спросил преподаватель. Я объяснил, что с узкой при волнении у маленьких будет соскальзывать стопа, да и давить сподручнее на что-то широкое. Вот он тогда и сказал

вроде бы в шутку, что у меня есть техническая смекалка. Я тогда обрадовался по-настоящему. Потому что это была похвала, а у Валентина Васильевича ее заслужить трудно.

Наш школьный преподаватель труда — удивительный человек. До тонкостей знает слесарное, токарное, столярное дело. Но этого мало! Он конструктор. Многие устройства придумал, некоторые из них показывались на ВДНХ, получали призы. Электропила для резания металла, например. Ребята нашей 776-й школы, которые пилу собирали, получили медали выставки. И наш станок для контактной сварки тоже побывал на выставке. Правда, на районной. Но моя фамилия среди других там была — на табличке. Люди смотрели, читали...

Вот с того случая я увлекся без шуток работой. В классе отвечал за трудовое обучение, потом, когда в комитет комсомола выбрали, дали этот сектор.

А в 71-м году — мне было шестнадцать — на каникулах летних, в деревне, начал работать на уборке урожая помощником комбайнера.

К концу уборки я уже в за штурвал вставал. С первого года нельзя работать штурвальным, но комбайнеры-то не железные... Так что и я и мои товарищи-мальчишки уже водили комбайны по полям. И тут начиналось настоящее соревнование! Кто больше бункеров успеет заполнить и ссыпать. Узнал я, что такое азарт! Бывает, запаздывает машина, стоишь с полным бункером — ярость разбирает, а как ссыплешь в кузов зерно, словно камень с души свалится... Наловчился, не отставал от деревенских, а некоторых обгонял уже в первый год. Не намного, конечно, а так — на один-два бункера за день.

На следующее лето уже штурвальным работал всю. И часто вспоминал я своего преподавателя труда Валентина Васильевича, как он меня учил: «Чтобы что-то хорошо сделать, надо работать на совесть. Только тогда получится, только тогда сам себя обрадуешь результатом». Мой комбайнер мне такой же пример показывал — закончит он свою часть поля, глянет, увидит, где остались колоски, и поворачивает к ним. А там их, может, всего десять, но он их все равно обмолачивал. После него «гребешков» не оставалось. Часто мы и за другими «достригали». И я не обижался, хоть, бывало, за день пыли наглотаешься, за ночь не выспишься, а тут — доделывай за кого-то...

Школа уборочной мне много пользы принесла. Убедился в этом, когда уже наш класс стал в профцентре обучаться. Учили нас на токарей. Мастера были прекрасные — свое дело любили, каждый на свой завод нас звал. Они с трех заводов были. Я с ними быстро подружился, до сих пор мимо еду — захожу к ним в профцентр. Встречают как своего, с радостью. Правда, я их часто выручал. Случалось, нужно было изготовить много деталей и неинтересных и простых. Мастера давали такие мне. А я находил и в этих случаях свой интерес: приятно было думать, что кого-то выручаю, и даже злость на скучную работу в себе разжигал. Какая тут скука устоит!

Перед выпускными экзаменами в школе было много в классе разговоров о том, кто куда. Некоторые ребята, услышав, что я решил в рабочие, отговаривали, перечисляли институты, куда легко попасть:

«Авось, пройдеши!» А для меня это «авось» как раз было больше всего неприятно. Ничего себе выбор профессии — на «авось»! Как говорил поэт: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Была и еще причина. У меня мать на пенсии, отец на пенсии. Сестра учится в техникуме. Конечно, мне дома говорили: «Иди, учись дальше, потерпим, вытянем». Но меня и так уже достаточно «тянули». Все эти разговоры становилось слушать все тяжелее. Только настроение портилось. В конце концов я не ребенок, имею аттестат, не говоря о паспорте.

Есть же и заочные отделения в вузах. Думал так: освою специальность, там и об институте подумаю. Я же знал от преподавателей профцентра, что есть на заводах школы мастеров. С десятилеткой там всего год учат. А после этой школы люди поступают в институты спокойно — многое они знают лучше любого, кто после школы в технический вуз идет — это уж точно! Один из мастеров как раз таким путем в инженеры пришел — он у нас теорию преподавал.

Кстати, ребята во дворе со мной согласились насчет моего будущего. Мы на эту тему говорили как раз перед тем, когда мне надо было идти оформляться на завод. Один парень в школу поваров пошел — он меня и подзуживал, а я ему напомнил, что не видел его на кухне ни разу, хотя хожу к нему домой часто. Другой парень, солист нашего ансамбля, — он поступил в автодорожный институт, — мне прямо сказал, что я прав, поскольку лучше работать, пока вуз выбираешь. Выбор будет точнее.

Спросили меня, между прочим, с повышенным интересом, почему же все-таки именно в токаря иду. Я им сказал то, что уже обдумал: «Много пробовал всяких работ и в школе и в колхозе — ремонт, слесарничество, столярное дело. Но обрабатывать металл люблю больше всего. У металла есть характер. У каждого свой, особенный, но всегда твердый. Ты с ним будто споришь. Чувствуешь сопротивление и преодолеваешь. Разными приемами. Вот это и интересно». Ну, у нас во дворе многие ребята на станках работали, в одном профцентре, они меня понимали. Так и попрощались — до завтра.

А на завтра я был тот самый первый день на заводе, и, конечно, он не ограничился встречей с тем парнем — помните? — который увольнялся с завода.

Утром идем с матерью через проходную — вахтеры ей: «Давненько не видели тебя, Шура!» Идем по аллее к цехам — то и дело кто-то матери: «Здравствуй, Шура!» Моя мать 23 года проработала полнорвщицей на заводе, почти со дня его основания (самому КМЗ скоро 25 лет исполнится). Я предполагал, что кто-то может мать узнать, но не думал, что так много людей ее помнят здесь. Меня это просто поразило! И все смотрели на меня. От этого как-то не по себе было, подумал, что не такая это приятная штука — быть новичком.

Немного успокоился, когда встретил троих ребят из того дома, где раньше жил, потом двух из нового. «Привет!» «Привет!» «К нам? Ну и отлично! На гитаре еще играешь? В хоккей играешь?» «Играю!» «Вместе будем! Пока!»

Пошли с матерью в отдел кадров. Там меня спрашивают: «В какой цех хотите?» А я и не знаю. «Ну, походите по заводу. Выберите — тогда к нам».

Мать повела в свой цех. Там были токарные станки, но всего пять-шесть, стояли в каком-то отгороженном закутке — не впечатлило. Мать не обиделась. А у меня было свое представление, какой мне нужен

цех. Такой, как в кино, в «Новостях дня» — огромный грохочущий... То, что теперь видел, было другим. А тут встречаем соседа по площадке — он в маминном цехе работает, туда и шел. «Чего ищете?» Мать объяснила. Дядя Петя говорит: «Веди его в десятый и одиннадцатый. Там хоть кино снимай!» Тут мать сказала: «Мне десятый цех всегда очень нравился».

Вхожу в этот цех — я вижу: то, что надо! Огромный. Грохочущий. Высокий. Токарный участок — семнадцать станков (посчитал). Под самым потолком краны ездят (крановщицы — молодые девчонки, симпатичные вроде). Фрезерные станки стрекочут. Откуда-то искры летят. Рядом — конвейер. За ним слесари-сборщики жестко скрежещут. А перед самым входом стоят готовые лифты, красивые, как полноразмерные гардеробы. Не цех, а маленький завод. «Стоп! В одиннадцатый не пойдем, — говорю матери. — Мне этот подходит».

Вечером и воскресенье лег спать рано, часов в десять, но и два ночи проснулся от какой-то тревоги. Выкурил сигарету, заснул опять. Через два часа проснулся снова и чувствую — окончательно. Лежал, думал. Начало светать. Скоро на завод. Каким будет первый день работы? Как встретят в цехе рабочие? Где что взять?.. Вспоминался и тот, ушедший с завода, его подначки и печальные нотки и голос...

В шесть встала мать, подошла будить. Притворился спящим. Зачем ее тревожить? И так волновалась — голос был необычно ласковый: «Толик, вставай, тебе пора...»

Пора!

Автобус шел пустым. Город еще не вышел на улицы. Безлюдно было у проходной. Вахтер меня узнал — вот память у этих людей! — удивился: «Ты что так рано?» «Хочу пораньше узнать, что где. Разделка, например. Мать посоветовала». «Ну, правильно. Минут через десять первый народ пойдет».

В цехе тишина. Я помнил его наполненным жизненным, рабочим шумом, а тут — тишина, как в ночном дворе.

Минут десять никого действительно не было. Потом стали заходить — один, второй. С ними пошел переодеться. Встречаю мастера. «Новенький?» «Да». «Зря пришел. Сегодня будешь работать во вторую смену. Сейчас станка не достанется. Иди досыпай. Поти, спал плохо!» Как, интересно, догадался?

Вот так — от ворот поворот. Хотя не огорчился. И уж до четырех дня и выспался, и погулял, и настроение поправил.

Во второй смене был другой мастер. Гуляя. Он меня сразу к себе вызвал. Объяснил, к кому из рабочих можно подойти за помощью, показал чертеж той детали, которую мне предстояло обрабатывать. Сразу вижу: простая деталь, обыкновенная втулка, а сердце бьется, и руки дрожат. Все в детали понимаю, все в технологической карте знакомо, — и на тебе! — волнение! Иду на участок. Подходят, как будто меня ждали, два пацана. Моего возраста примерно. «Пять» подают: «Сергей», «Владимир». «Пойдем, все покажем. Вот инструменталка...» Оказывается, они после ПТУ здесь и вместе с практикой уже почти год в цехе работают. «Мы тоже поначалу волновались...»

Стал затачивать резец. Мастер тут как тут. Глянул, похлопал по плечу: «Соображаешь».

Ну, начал работать. И вдруг чувствую: не идет резец! Плохо, неровно, с напряжением режет! У меня уши и щеки загорелись... Что делать?..

Смотрю, за мной один парень краем глаза наблюдает. Вспомнил, мне про него мастер говорил: «Если что, иди к Николаю. Отличный токарь». Николаю

этому на вид лет двадцать пять... Оставив свою станок, направляюсь к нему: «Коль, резец не режет». Николай берет резец: «Пойдем покажу, как затачивать».

За работой он мне и объяснил, что точил я по книжному, а надо иметь в виду не школьные скорости — 200—300 оборотов, а здешние — аж за тысячу. Да прикидывать, что тебе попалась за деталь. «Втулка? Под нее и точи. Съём металла небольшой, значит, уголок сделать надо побольше, облегчить резец. Он и нагреваться будет меньше». Говорил спокойно, без давления на психику. Потом зажал мне сам деталь, поставил подачу.

Начинаю работать. Одна втулка, вторая, третья, десятая — брак! Грубо обрабатываю. Обдираю. Уши горят.

Может, Николай на уши и смотрел мои. Подходит: «Не психуй. Зачем вручную ведешь резец?» Говорю: «Так в школе работал». «Ставь на самоход. Ты на заводе. А иначе за смену концы отдашь».

И показал, — неторопливо, как будто его ко мне за зарплату приставили, — как не только протачивать самоходом, но и резать, снимать фаски, и все это одним резцом, без замены и измерений.

В общем, я до конца смены сделал 90 деталей. Их приняло ОТК!

Около двенадцати ночи выходили мы четвером с завода — Николай, двое тех ребят из ПТУ — Сергей и Володя и я. Николай молчал, а мы с ребятами спорили о достоинствах электрогитар разных марок. Оказалось, что мы с Володиным оба играем на «ритм-гитарах, только ему больше нравится болгарская, фирмы «Орфей», а мне гдзэровская «Этерна де Люкс». Спор был сумбурный, что называется, «для звука». Просто было хорошее настроение.

Прохладный, пахучий сентябрьский вечер, позади работа...

Тут я и спохватился: «Что же это я совсем не чувствую, что они вместе давно, а я с ними — только первый день? Может, они только прикидываются, чтобы меня не обидеть?» Нет, смотрю, Володе и вправду тема интересна. Сергей нас обоих слушает — на ус мотает. А Николай как думал о чем-то своем, так и думает — ему наши гитары до лампочки. Но зато, когда я спросил его, сколько он таких втулок может за смену сделать, — оживился: «Ну, пятьсот, шестьсот могу». «Да, — думаю, — вот где разница между школой и заводом. 90 и 600!» Николай посоветовал: «Ты наблюдай, как кто работает. У всех свои приемы. Но никто их в секрете не держит».

Дома у меня все спали. Встала одна мать. «Ну, как?» «Нормально. Сдал детали». «Понравилось?» «Да».

Ну, и пошел день за днем. Вернее — вечера. Всю первую неделю я работал во вторую смену. Сначала чувствовал себя будто на экскурсии в цехе. Сам собой, работал, но вокруг глядел, как в зале музея. В основном на людей участка. И скоро понял: тот пессимист, встреченный мной в отделе кадров, уже потому был не прав, что работа у токарей не забирала все силы, не сковывает их. Куда там! Не говоря о легкости движений, сколько шуток сыпалось из моих соседей! Один парень, Игорем зовут, всякую смену песни пел. Старинные русские. Голос у него хороший. И мне посоветовал. Однажды я поймал себя на том, что пою!

Правда, не из той «оперы», что Игорь, а из последнего диска Маккартина. Вообще заметил: на уча-

стке ценят веселость. Есть у нас один бывший пэ-тэушник, его «Наташей» прозвали за нежное лицо и длинные волосы. Так иной раз среди работы, правда, когда мастера поблизости нет, ка-а-к свистит! Все заулыбаются. А я разгадал, в каких случаях он так хохмит,— если участку досталась скучная работа.

Вторая неделя для меня была переломной. Пришла очередь работать в утреннюю смену. Подхожу к станку, как я привык считать — к «своему», а его другой к работе готовит. Лет двадцати пяти парень. «Здорово, коллега! — говорит. — Ты сегодня вои на том». — Показывает. Смотрю, парень к тому станку уже переложил мое барахлишко.

Так я познакомился с великолепным человеком, ударником комтруда Виктором Сазоновым. Он стал первым моим настоящим учителем токарного дела. Что я под этим понимаю? Сейчас скажет ясно.

Несколько раз уже в начале смены он заглядывал мне через плечо, как и что делаю. Потом сделал знак остановить станок. Говорит: «Нерационально работаешь». Объяснил: неправильно зажимаю заготовку, оттого и деталь «бьет». Показал, как можно обрабатывать ее всю в один присест, а не поочередно с двух разных концов.

Конечно, у токаря есть технологическая карта, где указано, что и как. Мне, моим сверстникам Сергею, Володе и другим эта карта как спасательный круг еще. Но вот Вите Сазонову она уже, по сути, и не нужна! Он получает деталь, и у него своя собственная картина обработки возникает в мозгу. Почему? Да опыт! И знания. Быстрота технического мышления — вычислить самый простой, но лучший режим обработки, — вот что нужно ко всему. Но опыт, знания и сметка для настоящего токаря еще не все.

Я теперь знаю, что классный токарь — это тот, кто постоянно стремится расширить рабочие возможности станка и свои личные.

Недавно токари рассказывали, что на одном из московских заводов какой-то парень на станке сделал полую сферу. Это значит, получилось нечто вроде мяча, только из металла! Раньше в Союзе никто таких вещей не делал. Говорят, стенки сферы были так тонки, что если внутри вставить горящую лампу, она бы просвечивала. Про тонкость стенок, может, легенда, но насчет тонкости обработки — можно такой достичь. Но даже не в этом дело!

Этот парень внес свое новое в технический прогресс. Я представляю, какие у него знания и мастерство, если он такую сложную и небывалую работу выполнил и обогатил токарное дело. Есть чему позавидовать!

Так что, имея в виду его пример, можно предположить, что в будущем токарям-универсалам потребуется образование инженера. Техника им поможет, станок-автомат вберет все самые сложные навыки классного токаря, но человеку, чтобы оставаться блестящим станочником, понадобится умение самому составлять программу работы автомата. По крайней мере вносить в нее поправки. А уж раз сегодня есть токари, обслуживающие по нескольку станков с программным управлением, то в будущем, чтобы творчески работать на нескольких, а не быть при них «обслугой», нужен будет вузовский диплом. Ведь на каждом из твоих станков будут производиться разные и сложные операции. Может, и называться иначе будут токари — операторам, к примеру.

Я не переборщил в своих фантазиях. В принципе все это возможно. Я об этом с Витей Сазоновым говорил. А потому я и считаю Виктора своим первым учителем токарного дела, что он мне доказал: уже сегодня токарю необходимы небывалые для вчерашнего дня знания, а главное — особый взгляд на профессию. Это Виктор называет «качеством, необходимым токарю». А доказал делом.

Он меня чуть не каждый день удивляет. К каждой буквально операции добавляет что-то свое. Чтобы ее ускорить, улучшить, облегчить. Не считая мелочей, таких его «новшеств» столько, что только винить успевай.

Протачиваем валы. Все и резцы меняют и положение заготовки, чтобы и проточку и канавку сделать. А Витя, вижу, заточил резец уступами, и вышло, что в одном резце как бы два. И, поскольку канавка положена недалеко от торца, он и протачивает вал и одновременно нарезает канавку. Не снимая деталь, не сменяя резец! Экономия времени, силам, резцам.

А вот обратный случай. Ставит два резца: один для торцевания, другой для снятия фаски. Но так, что первый торцует, второй идет «самоходом» параллельно заготовке к месту фаски. Закончил Витя одну операцию, поворачивает резцедержатель, начинает фаску снимать, а отработавший резец, в свою очередь, движется, не мешая ничему.

То есть Виктор делает всего одно движение, на две операции благодаря приему тратит всего несколько секунд! Сам придумал прием.

Я теперь начинаю свои «предложения» выносить на суд Вити. Но пока мне не везет. Все это он пробовав. А к чему пришел — эффективней моих выдумок. Докажет, не подкопаешься. Но он рад, что я ишу. И тем, как работаю, в общем, доволен. Я же не только у Вити «сдираю» приемы. На участке есть еще корифеи. В первые четыре дня я сделал, помню, 238 деталей. Простеньких. Теперь за одну смену — более ста и посложней, чем те. Цех вышел в соцсоревновании на второе место по заводу. Витя говорит: «Толь, и твои железки довели!» А что? Есть и мои.

И мне это нравится. Нравится, что мой учитель в числе тех, кто уже в сентябре прошлого года свои обязательства годовые выполнил — досрочно. Это было в тот самый месяц, когда я пришел на завод. Нравится, что сделаешь детали, сдашь в ОТК, через десять минутмотришь, их уже там нет, в дело пошли, на сборку, здесь же, в нашем цеху. В общем, мне многое по душе на заводе — вот что главное, вот о чем я могу сказать после первых недель работы.

Но, если коротко подводить итог, — разгорелось желание просто научиться работать, как все. До армии осталось — зима да весна. Надо успеть так освоить станок, чтобы давать сто процентов плана. Чтобы мог сам себе уже совершенно спокойно сказать: «Я — токарь».

Вам четырнадцать лет, и вы хотите сделать открытие. Это очень просто: посмотрите на небо, найдите новую звезду и назовите своим именем. Вы говорите, все звезды давно инвентаризованы в каталогах астрономов? Ну, вы не знакомы с Толей Черепашуком. Ему тоже было четырнадцать лет, и он любил по вечерам смотреть на звезды. Толю интересовали подробности: он сделал трубу и увидел красивую комету. Не все астрономы были с ней знакомы и поначалу называли ее «комета Черепашука». Это было в некотором роде сенсацией. Правда, потом оказалось, что «комета» — лишь ошибка наблюдения. «Открытие» не состоялось. И тем не менее для Толи Черепашука делать открытия стало профессией. Он астроном и среди звезд и галактик ориентируется так же свободно, как вы в своем любимом парке.

Толя Черепашук — астроном, значит, физик. Толя Ягола и Саша Гончарский тоже физики; их специализация — вычислительная математика и математическая физика. Но все трое работают вместе. Почему?

Дело в том, что хотя уже в XIX веке физика выделялась среди других естественных наук высокой степенью математизации, до второй половины XX века каждый физик сам производил все необходимые математические операции, связанные с теоретическими расчетами или обработкой измеренных в эксперименте величин. Но если до нынешнего столетия уровень точности физического эксперимента и теории позволял одному человеку и конструировать экспериментальную установку, и производить математические расчеты, и строить соответствующую теорию, то сейчас один физический эксперимент может ставиться годами; в нем иногда участвуют тысячи людей; возникли такие физические приборы, как, например, ускоритель заряженных частиц в Серпухове; для обслуживания таких «ускорителей» строятся целые города. При этом в результате экспериментов получают тысячи фотографий, тысячи метров перфолениты, тысячи метров записей самописца; в процессе эксперимента они поступают непрерывным потоком. Из этой лавины информации нужно в процессе обработки извлечь то жемчужное зерно, ради которого, собственно, и ставился эксперимент.



**Валерий
ВИНОКУРОВ**

Валерий Александрович Винокуров — 28-летний кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник физического факультета МГУ. Его специальность — математическая физика. В этом очерке он рассказывает о работе своих коллег — молодых физиков, создавших новый метод изучения строения звезд. Эта работа удостоена премии Ленинского комсомола за 1974 год.

БИОГРАФИЯ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ

Фото автора.



Физика стала распадаться на специальности. Появились «чистые» теоретики, которые могут вам за пять минут объяснить, как устроена Вселенная, но не знают, как настроить осциллограф. Появились и «чистые» экспериментаторы; они конструируют лазеры с рекордными параметрами, но не очень разбираются в тех абстрактных уравнениях квантовой теории, которые объясняют работу квантовых генераторов. Стал ощутимым разрыв между теми величинами, которые измеряются одними физиками, и теми, которые входят в уравнения других физиков, хотя эти величины описывают тот же самый процесс.

Таким образом, возникло два языка — язык, на котором описываются результаты эксперимента, и язык, на котором строятся физические теории. «Слова» этих двух языков связаны между собой сложными законами, сформулированными в виде математических уравнений, а сам процесс «перевода» заключается в вычислении соответствующих математических функций. Но если «словарем» для перевода является математика, то «переводчиками» стали математики или математические физики; из вороха величин на электронных вычислительных машинах они извлекают те, что представляют интерес при описании данного физического объекта. В настоящее время типичный физический исследовательский коллектив включает в себя экспериментаторов, вычислителей и теоретиков; это дает возможность провести полный цикл исследования — от измерений до теоретических выводов.

Возникновение исследовательского коллектива А. Черепашука, А. Яголы и А. Гончарского, объединяющего одного астронома и двух вычислительных математиков, — явление типичное для нашего века, когда наиболее интересные открытия часто делаются исследовательскими группами, работающими на стыке наук. Задачей, которая объединила трех молодых физиков, было исследование звезд, входящих в двойные затменные системы.

Двойной затменной системой астрономы называют систему двух звезд, которые в согласии с законами Кеплера вращаются вокруг общего центра тяжести. При вращении они периодически заслоняют друг друга, и

земные астрономы принимают так называемую кривую блеска, то есть количество световой энергии, поступающей от данной системы в одну секунду. Период изменений блеска дает астрономам время обращения одной звезды относительно другой и позволяет вычислить радиусы звезд.

Однако двойные системы могут дать подробную информацию о внутреннем строении звезды, если более тонким образом проанализировать кривые блеска, полученные в разных участках спектра. Сравнительное излучение в разных частях спектра, можно определить внутреннюю структуру звезды. Поэтому первой задачей было создание такого прибора, который позволял бы исследовать свет данной частоты или, образно говоря, данного «цвета». Эта задача была решена Толей Черепашуком. Он впервые применил в астрономии интерференционный клиновидный светофильтр, позволяющий экспериментатору наблюдать узкий участок спектра строго одного цвета. С помощью этого прибора Толей были сняты кривые блеска в разных участках спектра; эти кривые в принципе содержали информацию о структуре каждой из звезд, составляющих двойную систему.

По современным представлениям, звезда состоит из раскаленного вещества, температура и плотность которого растут при приближении к центру; чем ближе к центру тот или иной кубический сантиметр вещества звезды, тем ярче он светится. Зная эту зависимость, в принципе можно получить информацию о распределении вещества внутри звезды и о его температуре.

Однако нужно еще решить сложную задачу, которую математики называют «плохой», «неправильно поставленной» или «некорректной». Некорректная математическая задача обладает тем свойством, что даже малейшая ошибка в измеряемых величинах может привести к сколь угодно большой ошибке в решении. Великий французский математик Адамар в 1923 году в одной из своих книг высказал мнение, что некорректные задачи не имеют физического смысла и приближенное решение их невозможно. «Запрет Адамара» продержался сорок лет, и только в 1963 году советский математик академик Андрей Николаевич Тихонов создал теорию решения некорректных математических задач и метод их решения — так называемый метод регуляризации.

Метод регуляризации оказался плодотворным при разработке многих проблем математики и физики. В частности, этот метод, примененный учениками А. Н. Тихонова — Толей Яголой и Сашей Гончарским — к задачам астрофизики, позволил совершить рывок вперед в изучении структуры звезд. Ни один телескоп не в состоянии отдельно увидеть каждую из двух звезд, составляющих двойную систему, то есть разрешить двойную звезду. В любой телескоп, на любой фотографии двойная система видна лишь как светящаяся точка, яркость которой меняется со временем. И вот, оказывается, по изменению яркости этой точки можно после сложного анализа на ЭВМ определить и расстояние между двумя звездами, и их радиусы, и массу, и даже температуру и плотность.

Таким образом, объединение двух разных приборов — астрономического телескопа и математической ЭВМ — позволило ученым заглянуть внутрь звезды.

Наиболее детально молодыми учеными была исследована двойная звезда в созвездии Лебеди, которой астрономы присвоили номер V444. Оказалось, что одна из составляющих этой двойной системы является звездой с массой около десяти солнечных масс. Она состоит из плотного нагретого ядра (около двух солнечных радиусов) с температурой более ста ты-

сяч градусов и сравнительно разреженной оболочки с температурой не более пятидесяти тысяч градусов. Излучение горячего ядра настолько сильно, что оно, как ветер, «раздувает» вещество оболочки, в котором под действием светового давления ядра образуются потоки вещества, движущиеся от центра звезды со скоростями около тысячи километров в секунду. Звезда настолько бурно разбрасывает себя в окружающее пространство, что «всего лишь» через 300 тысяч лет (срок ничтожный по астрофизическим масштабам, где возраст звезд измеряется миллиардами лет) ее масса уменьшится с десяти до четырех солнечных масс.

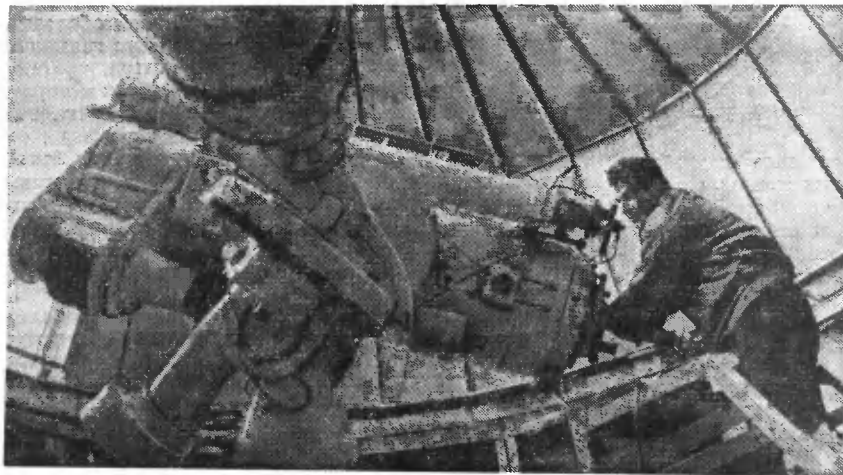
В дальнейшем звезде придется вести себя более скромно; по современным представлениям ее радиус уменьшится настолько, что ее плотность сравняется с плотностью «упаковки» вещества в ядрах атомов; звезда «сколлапсирует», то есть станет настолько плотной, что ее силы гравитации достигнут колоссальной величины и не позволят уйти от звезды даже квантам света. Звезда станет коллапсаром, или «черной дырой», которая ничего не излучает. Поскольку никаких сигналов мы от нее не получаем, то, казалось бы, принципиально не можем ее обнаружить.

Однако «черную дыру» можно обнаружить, если около нее находится обычная звезда. Оказывается, «черная дыра», находящаяся вблизи обычной звезды, обнаружит себя тем, что будет притягивать вещество обычной звезды, отрывая его от «хозяина». Вещество обычной звезды будет сильно ускоряться под действием мощного гравитационного поля коллапсара и поэтому при своем падении на «черную дыру» будет излучать фотоны высоких энергий — так называемое «рентгеновское» излучение.

Методика, разработанная Черепашуком — Гончарским — Яголой, является наиболее совершенным способом извлечения информации о двойных затменных системах, и естественно попытаться ее применить для обнаружения двойных систем, содержащих «черную дыру».

В настоящее время проведены расчеты для звездной системы в созвездии Геркулеса — результаты расчетов подтверждают гипотезу о том, что эта система содержит «черную дыру». И хотя лишь дальнейшее накопление данных измерений позволит окончательно решить этот вопрос, не вызывает сомнения, что работы молодых советских ученых вносят вклад в изучение гравитационного коллапса. И вполне закономерно, что за цикл этих работ Анатолий Черепашук, Александр Гончарский и Анатолий Ягола удостоены премии Ленинского комсомола за 1974 год.

Теперь я прошу тебя, читатель, остановиться на минутку и еще раз удивиться фантастической работе астрофизиков. Ведь по тоненькому лучику света, тысячами добирающемуся к нам от звезды, они могут нам рассказать не только о ее размерах и скорости движения, но подробно описать, что происходит внутри звезды, а также предсказать ее будущее и восстановить прошлое. Попросите гадалку по одной ладони рассказать вам, где вы работали вчера, где будете работать через год и какой рисунок на вашем носовом платке, лежащем в правом кармане брюк, — в ответ вы услышите общие рассуждения о том, что ждет вас, красавец, впереди большая радость, а потом будет и неудача, но все кончится хорошо... и т. д. А покажите астроному лучик света от звезды, и он даст вам точные числовые сведения о ее весе, размере, температуре, возрасте, о ее прошлом и предскажет



...Здесь, конечно, далеко от Москвы и не вполне хватает комфорта, но Анатолия Черепашука привело сюда интересное дело...

ее будущее—правда, подумать ему придется немного больше, чем гадалке: может быть, месяц, а может быть, несколько лет, причем ему придется использовать существенно более сложное оборудование, чем блюдечко и кофейная гуща.

Что нужно, чтобы овладеть «профессией» гадалки? Говорят, что для этого нужно родиться обязательно с черными глазами и желательно в таборе — остальное несущественно в данной профессии.

В чем заключается работа гадалки? Сидеть в хорошую погоду в людном месте — желательно на бульваре, — хватать прохожих и приводить их в состояние легкой задумчивости рассказами о судьбе и роке.

Менее ясен вопрос о том, как человек становится астрофизиком и в чем состоит его профессиональная деятельность. Об этом я хочу рассказать более подробно.

Итак, Толя Черепашук построил свой первый телескоп в четырнадцать лет, и его профессиональный путь вполне прозрачен — он поступил на отделение астрономии физического факультета МГУ. Жизнь студента-астронома, так же как и жизнь других студентов-физиков, — это в основном книги и конспекты. Но в ней есть и чистая романтика. Только студент-астроном может провести с любимой девушкой всю ночь у телескопа, глядя на звезды и луну, — несколько почей в семестр он должен проводить наблюдения.

Но если бы вы спросили у астронома пятидесятих—шестидесятых годов, с каким прибором он чаще всего имеет дело, он ответил бы, что большую часть времени проводит у арифмометра. Часто на одну ночь наблюдений приходилось несколько месяцев вычислений на арифмометре, пока ЭВМ не избавили астрономов от утомительного технического труда.

Так что в профессии астронома сливаются две крайности: крайний романтизм человека, проводящего ночи наедине со звездами, и крайняя «расчетливость» человека, всю жизнь проводящего среди цифр и вычислений.

Но грани романтики порой весьма остры и срезают тех, кто забывает о труде и дисциплине.

Я знал одного веселого парня, который учился на астрономическом отделении, откосился с интересом к приключениям без фантастики и любил свободу без берегов. Как-то на праздники ему выпало дежу-

рить ночью одному в башенке со спектрографом — телескопом специального назначения. Перспектива провести всю праздничную ночь одному, заточенным в башню, не вызвала энтузиазма в этом парне. И он собрал в башенке компанию друзей — не астрономов, увлеченную перспективой выпить и повеселиться в нетривиальной обстановке, среди звезд и телескопов. Веселье развивалось бурно и непринужденно — специальные приборы никак не повлияли на течение стандартной процедуры. Одна очаровательная девушка все-таки вспомнила, что ей было обещано показать звезды и Луну крупным планом. Заглянув в окуляры телескопа, она выразила недовольство качеством изображения и высказала подозрение, что у телескопа грязные стекла. Наш галантный герой быстро отыскал половую тряпку, заброшенную чьим-то пинком в дальний угол, и протер стекла телескопа, которые изготовлялись в течение года по специальному заказу и на которые ни в коем случае нельзя было даже дышать — для их очистки существовала специальная система продувания воздухом. Не прошло и недели, как «герою» пришлось сменить профессию.

Толя Черепашук был весьма далек от такого рода «забав» и отличался еще в студенческие годы серьезностью и увлеченностью делом. Тем не менее ему свойственны общительный характер и некоторая утонченность натуры. Его хобби — игра на гитаре, причем не просто песни и романсы, а сложные вещи для гитары испанских и французских композиторов.

Существует даже легенда (за достоверность которой не могу ручаться), что его научный руководитель, находясь в гостях у своего ученика, был настолько растроган искусной игрой, что сказал: «За что я тебя, Толик, люблю — не за науку, а за то, что на гитаре так здорово играешь!»

Жизнь астронома требует также некоторого аскетизма и самоотверженности — за последние два года большую часть времени Толя Черепашук провел в горах Тянь-Шаня на высоте трех с половиной тысяч метров, вдали от многих привычных удобств. Дело в том, что земная атмосфера, особенно в черте крупных городов, содержит много пылевых частиц, а также подвержена мелким локальным движениям воздуха, что приводит к некоторой размытости изображения космических объектов. Поэтому астрономы стремятся устанавливать свои телескопы как

...Метод регуляризации, созданный академиком А. Н. Тихоновым (слева) и примененный его учениками А. Гончарским (в центре) и А. Яголой к задачам астрофизики, позволил совершить рывок вперед в изучении структуры звезд...



можно выше, чтобы уменьшить столб атмосферы между наблюдателем и объектом. Идеальным решением вопроса будет установка крупного телескопа на Луне или на искусственном спутнике Земли — об этом мечтают астрофизики. Но это еще впереди, а пока астрономы строят свои обсерватории высоко в горах, совместно со специалистами по элементарным частицам — теми, кто на больших высотах ловит частицы космических лучей высоких энергий, еще не поглощенные атмосферой.

Несколько слов о «месте работы» Толи Черепашука.

Тянь-Шаньская высокогорная научно-исследовательская станция находится в двух с половиной часах автомобильной езды от Алма-Аты на высоте более трех тысяч метров, на границе вечных снегов. В апреле, когда внизу, в городе, уже отцветают сады, здесь еще случаются снежные метели, которые на несколько дней отрезают дорогу со станции. Сама станция состоит из башни с телескопом, каменного здания столовой, длинного деревянного здания, в котором размещаются специалисты по космическим лучам, и нескольких вспомогательных домиков.

Здесь, конечно, далеко от Москвы и не вполне хватает комфорта, но всех привело сюда интересное дело, и поэтому никто не чувствует себя оторванным: ведь здесь проходит передовой фронт науки.

По-иному выглядит «рабочая обстановка» двух других членов «астрофизического трио» — Толи Яголы и Саши Гончарского.

Вот, например, как выглядит типичный рабочий вечер Толи Яголы.

...Таня перемотала магнитную ленту и включила любимую мелодию, Толик сделал пару оборотов во вращающемся кресле, отметил про себя: «Очи черные» звучат хорошо — и решил, что пора переходить к своей программе. Он попросил Таню выключить звук и достал свою колоду. Потом включил «Ввод». Колода перфокарт быстро исчезла в приемном устройстве. Толик начал счет и прислушался — все было нормально: «тью-тью» пищали малые циклы, перебиваемые иногда более низкими звуками переключения больших циклов.

Толик выключил и снова включил кнопку звука — его до сих пор забавляло «пение» машины. Раньше он считал на «М-20», и приходилось обычно по миганию индикаторных лампочек догадываться, не случилось ли остановка или заикливания. А на «БЭСМ-4»

можно, читая книгу, следить по изменению звука за ходом вычислений. Например, если машина заикнется и начнет повторять одно и то же вычисление бесконечно, звук получается таким, будто на пластинке заело иглу и она все время бегает по одной и той же борозде.

Но вот, наконец, застучали пулеметные очереди печатающего устройства, и Толик спешно стал сматывать выполняющую ленту с колодками цифр. Потом он собрал свою колоду, положил в портфель, посмотрел на часы, показывающие полночь, и устало подумал: «Опять что-то не то с выдачей — придется завтра разбираться».

Извини, читатель, наверно, тебе не совсем понятно, кто такая Таня и какое отношение имеет известный романс «Очи черные» к работе Толи Яголы. Дело в том, что для проведения математических расчетов по двойным звездам Толя Ягола часто ходил в вычислительный центр Московского университета, где установлены электронно-вычислительные машины «М-20» и «БЭСМ-4». Машина «БЭСМ-4» обладает тем интересным свойством, что у нее есть кнопка «Звук», при включении которой машина издает звуки, зависящие от характера выполняемых математических операций. Поэтому для проверки правильности работы машины сделаны специальные контрольные программы, при выполнении которых звуковое устройство воспроизводит знакомые мелодии, например, «Очи черные». Таня же — лаборантка в зале «БЭСМ-4», которая меняла магнитную ленту на магнитофонах, используемых в «БЭСМ-4» для записи информации и программ. «Останов» и «заикливание» — вычислительные термины: «останов» — остановка машины, «заикливание» — периодическое бессмысленное повторение одной и той же группы команд.

Следующая сцена происходит в комнате Саши Гончарского, поэтому я хочу заранее предупредить, что у Саши есть хобби с художественным уклоном, — он увлекается резьбой по дереву. Его комната заставлена деревянными идолами различной величины и степеней свирепости, а стены заняты под репродукции картин древних русских живописцев.

Назавтра в маленькой комнате общежития — два метра в ширину и четыре в длину — были заняты все сидячие места: два стула и кушетка. Изредка очередной оратор вскакивал, подходил к доске, расшвыривая стружки, устлавшие пол (Са-

из Гончарский успел уже поработать над очередным деревянным идолом), и дописывал новую формулу, начисто стирая утверждения оппонента. После того, как доска была исписана в два слоя сверху вниз и по диагонали, Саша добавил еще рисунок из двух перпендикулярных прямых и двух колоколообразных кривых, который изображал действующие антенны радиотелескопа на сигнал. С картинкой все согласились. Приняв новую схему расчетов и договорившись, кто какую часть будет писать на бумагу, матфизики (матфизики — математические физики, физический жаргон) разобрали кеды и спортивные штаны, валявшиеся в углу, переоделись и всей командой побежали на университетский стадион, баскетбольные щиты которого виднелись за окном.

...Оканчивая школу, Толя Ягола столкнулся с трудной задачей выбора профессии. Причем главная трудность заключалась в общей одаренности его натуры.

Он, например, не раз поражал меня скоростью изучения иностранных языков: Толя свободно беседует на английском; для того, чтобы освоить разговорный французский язык, ему понадобилось три месяца; в общежитии он год жил вместе с чешским студентом — и с тех пор свободно владеет чешским; через две недели пребывания в Болгарии он непринужденно изъяснялся по-болгарски. Толя Ягола, заинтересовавшись, за две недели прочел монографию Н. Бурбаки «Теория множеств», в которой собран материал для годового курса лекций. Одно время он даже писал неплохие стихи и любил декламировать отрывки из американской поэзии на языке оригинала. Он увлекался велоспортом и имел второй разряд. В девятом классе был победителем городской химической олимпиады.

В общем, невозможно перечислить все его увлечения.

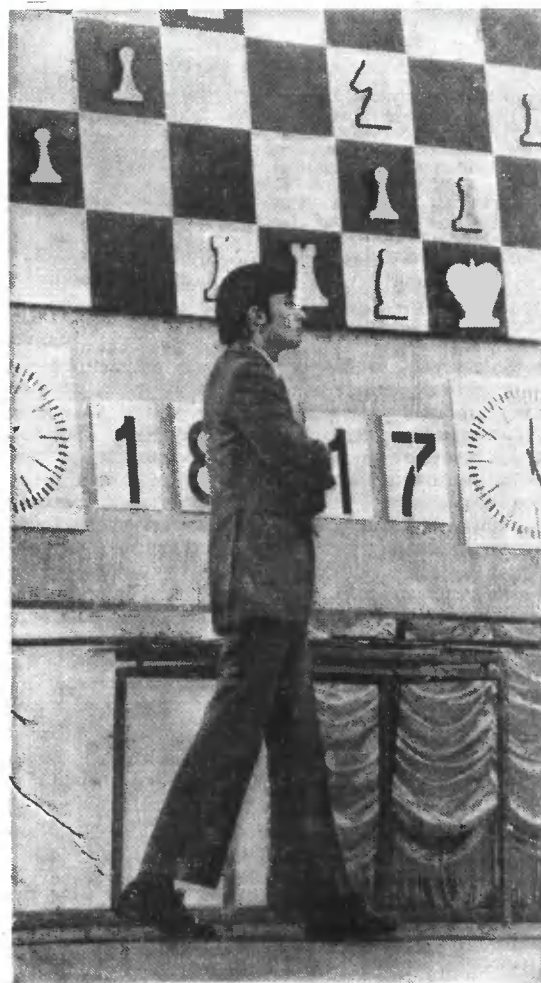
Когда я попытался выяснить у самого Толи, как он решил стать физиком, он отделался следующей шутилой историей.

Как-то на уроке химии учитель устроил контрольную; потом выяснилось, что это была замаскированная школьная олимпиада по химии, победителем которой Толя оказался, как он утверждает, по недоразумению. На следующей неделе учитель упросил его участвовать в городской олимпиаде, где Толя стал одним из победителей. И поскольку стать химическим вундеркиндом оказалось так легко, он решил, что химия — дело несерьезное, и выбрал физику, которая — в этом теперь уже никто не сомневается — оказалась его призванием.

И так, каков же вывод? Что нужно, чтобы открывать звезды? Нужны большая работоспособность и настойчивость.

И нужно очень любить науку, чтобы превратить свои мечты и идеи в формулы и столбики цифр, рассказывающие об удивительных и грандиозных процессах, протекающих внутри столь далеких от нас звезд.

КАРПОВ



«Кому приятно терпеть поражения?» — так назывался литературный дебют Анатолия Карпова в прошлогоднем январском номере «Юности». В том же январе Карпов начал свой первый претендентский матч на пути к мировой шахматной короне.

Год назад Анатолий Карпов писал в «Юности»: «Я всегда хочу быть первым... Однако в шахматах все может быть... Всякие могут вмешаться случайно. Вполне реально и не стать чемпионом мира... Но этот вариант я не хочу анализировать».

Пока что никакие случайности не мешают автору вышеприведенных строк идти к своей цели — в конце ноября, победив в финальном матче претендентов Виктора Корчного, 23-летний гроссмейстер завоевал право оспаривать звание чемпиона мира у Роберта Фишера. Редакция нашего журнала поздравляет Анатолия Карпова с этим громадным успехом!

«Юность» намерена проследить в следующем номере претендентский путь Анатолия Карпова. А пока Юрий Зерчанников и Александр Рошаль беседуют по горячим следам с американским гроссмейстером Робертом Бирном.

Фото Д. ДОНСКОГО.

ИДЕТ НА ФИШЕРА

Свой долгий претендентский путь Анатолий Карпов начал и завершил на глазах у Роберта Бирна. Летом позапрошлого года Бирн вместе с Карповым и Корчным праздновал успех на Ленинградском межзональном турнире, а этой осенью, уже выбывший из числа претендентов, Бирн приехал в Москву на финальный матч Карпова с Корчным как шахматный обозреватель «Нью-Йорк таймс».

И в Ленинграде, сидя на сцене за шахматным столиком, и в Москве, сидя в пресс-центре за пишущей машинкой (во всех залах Москвы, где игрался матч, Бирн искал прежде всего розетку, чтобы включить свою беспшумную электрическую машинку), он обычно держался бесстрастно и даже чопорно, но иногда вдруг обнаруживал горячий темперамент. Недаром студенты колледжа в Индианополисе, где в шестидесятые годы профессор Бирн вел курс немецкой классической философии, называли его «Вулкан под снегом».

Вместе с сотрудником «Советского спорта» Павлом Дембо, который за время матча очень сдружился с Бирном, мы пришли к нему в гостиницу «Интурист». В те дни Карпов лишь сдерживал яростное давление Корчного. Но Бирн сказал, что абсолютно уверен в победе Карпова и с интересом наблюдает его сейчас в новом качестве — защищающим трудные позиции.

— В Ленинградском межзональном турнире, — заметил Бирн, — Карпов не мог обнаружить этого качества — никто не имел против него преимуществ.

— Как высоко Вы ставили Карпова до начала Ленинградского турнира?

— Считаю, что за три победных места будут бороться Карпов, Таль, Корчной и Ларсен.

— В такой последовательности?

— Я не думал о последовательности.

— Но Вы допускали тогда, что именно Карпов может стать соперником Фишера?

— Тогда я считал, что из Фишера выйдет Таль.

— Но Таль и Ларсен сломались, а вместе с Карповым и Корчным в тройку вошли Вы...

— Должен сказать, что игра Карпова в Ленинграде была очень убедительна, но вскоре я испытал на себе силу Спасского, проиграв ему четвертьфинальный матч, и стал склоняться к мысли, что Карпов дойдет только до Спасского. А после первой партии их матча я даже сказал, что Спасский будет опять играть с Фишером. Боюсь, что и Спасский, выиграв первую партию у Карпова, стал смотреть на доску, думая уже о Фишере. Внешне Спасский выглядел очень спокойно, но на самом деле он нервничал. А Карпов доказал тут, что он не только внешне, а и вообще очень спокоен. Он не позволил себе, чтобы это первое поражение испортило его игру. Редкое игровое спокойствие и позволяет Карпову почти не делать ошибок.

— Вы хотите сказать, что Ваши начальные прогнозы не сбылись из-за ошибок Таля и Спасского? Или просто было трудно представить, что с каждым матчем Карпов будет так усиливаться?

— Но разве этого мало, если сказать, что Карпов стал сильнейшим потому, что не делал ошибок остальных претендентов.

Разговор перешел постепенно на Фишера. И Бирн и Фишер учились, хоть и в разное время (Бирн старше Фишера на пятнадцать лет), в одной школе. Сейчас там в конференц-зале висят портреты обоих Робертов: старший остался в истории школы как один из лучших учеников, а младший, хотя завершить учебу не удосужился, но стал чемпионом мира.

— Вы находите общее у Карпова с Фишером? — спрашиваем мы.

— Как шахматисты оба предельно рациональны. А иных параллелей, мало зная Карпова вне шахмат, проводить не решусь. Впрочем, говорят, что Карпов любит работать ночью. Это так?

— Да, он очень поздно ложится и поздно встает.

— Тогда они похожи... Однажды мы с Фишером играли в Рейкьявике в теннис в одиннадцать часов ночи. В следующий раз Фишер сказал: «Начнем в три часа ночи». «Нет, — сказал я. — Ты играй, а я буду спать».

— А кто из нас выиграл в одиннадцать часов ночи?

— Выиграл Фишер, но я был не в форме. Я очень много тогда курил и быстро задыхался на корте. Вот сейчас я могу без перерыва играть четыре часа. Сейчас я скорее всего обыграю Фишера.

— В теннис?

Бирн громко смеется. Куда девалась вся его сдержанность, едва речь зашла о теннисном единоборстве с Фишером. Он говорит возбужденно, вновь возвращаясь к той поздней игре в теннис в Рейкьявике:

— Фишер догадывался, что я мог играть только минут двадцать, и все эти двадцать минут мы лишь разогревались, а затем, заметив, что я уже задыхаюсь, он сказал: «Все. Разминка окончена. Теперь начинаем играть».

— Вот так же намерен Фишер играть с претендентом до десяти выигрышных партий?

— Я думаю, Фишер слишком верит в свои физические возможности, хотя я действительно не вижу ему равных в умении концентрироваться за доской. Ему совсем не нужны помощники при анализе отложенных партий — во время матча с Петросьяном он, например, ни разу не обратился к своему секунданту Эвансу; тот обиделся и уехал домой. А в Рейкьявике он обращался к Ломбарди всего лишь несколько раз. И даже сейчас, когда он «сидит в дыре», он сохраняет свою силу — много работает, и это заменяет ему практическую игру. Такой сумасшедший эксперимент Фишер проводит уже второй раз, но первый раз он отсутствовал на турнирах полтора года, а сейчас уже два с половиной... Однако бесконечно «сидя в дыре» удержать шахматную корону, конечно, нельзя. Карпов выиграл все матчи, и он настоящий претендент. И если Фишер попытается избежать встречи с ним, чемпионом мира признают Карпова, и по праву. Но у Фишера есть еще время подумать...

В следующем номере журнала мы расскажем, как Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной отвечали на три наших вопроса:

1. Что вы думали о Карпове до матча с ним?
2. Что вы думали о Карпове после матча с ним?
3. Что вы думаете о Карпове, который идет на Фишера?



ШАХ-
МАТЫ



Борис КУЗНЕЦОВ

Борис Кузнецов — директор специализированной школы бокса в Астрахани. Ему 27 лет. Он чемпион Олимпийских игр в Мюнхене, заслуженный мастер спорта. В начале сентября минувшего года Борис провел свой последний бой. Это было в Гаване на первом в истории любительского бокса чемпионате мира.

Фото Жанны МОРЕНО.



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ...

Утром, как обычно, мы приехали на берег моря. Каждый день всей командой мы приезжали сюда на зарядку — размяться и поплавать. Правда, плавали мы не в море, а в бассейне отеля «Сьерра-Маэстра», который стоит тут же, на самом берегу. А в море никто не совался из-за морских ежей. Их там уйма.

Я в это утро не плавал. И не делал зарядку. Я лежал в тени и думал. Мне было о чем подумать.

Через несколько часов последний раз в жизни я выйду на ринг. Я буду драться с американским боксером Дэвисом за звание чемпиона мира. Сегодня я могу стать чемпионом мира. А могу и не стать. Должен стать. Моя победа нужна моей команде — этим самым ребятам, которые сейчас плавают в бассейне. Нужна Юрию Михайловичу Радоняку — старшему тренеру сборной. Нужна мне самому, моей жене, матери, друзьям. На меня ведь особые надежды — я ветеран команды. Капитан.

Без малого четырнадцать лет назад я провел свой первый бой. Это было в Астрахани, в моем родном городе. Я выиграл бой, и после этого успеха, значительного только для меня, где-то в глубине души зацвели мечты. О них никто не знает. Я не люблю мечтать громко. Я скептик. Мне всегда казалось, что прежде, чем увлечься какой-либо мечтой, нужно твердо знать, имеешь ли ты на это право.

Пределом мечтаний любого боксера всегда было золото Олимпийских игр. В декабре 1967 года, в финале московского международного турнира, я выиграл у мексиканца Рольдана. Для меня важно не только выиграть, но и как выиграть.

У Рольдана я выиграл чисто. Это был бой захватывающий, психологически интересный. Он запутался в паутине моих финтов и со стороны выглядел смешным новичком. Многие в этот раз меня поднимали, называли самой яркой фигурой московского международного турнира. Многие меня опускали с высот и, в свою очередь, писали, что бой был перенасыщен эффектами, что я в основном работал на публику и не заботился о защите.

А Рольдан на следующий год в Мехико стал чемпионом Олимпийских игр. Там же, в Мехико, золотую медаль завоевал Валерьян Соколов. Позже Соколов перешел из легчайшего в полулегкий вес, и мы встретились с ним на чемпионате СССР 1970 года. Я выиграл у него и тогда, имея победы над двумя олимпийскими чемпионами, понял, что могу мечтать о высшем спортивном титуле...

А сейчас для меня уже все позади. Остался один бой. Последний. Сегодня я распрощаюсь с боксом. Вернусь домой и займусь своей школой. Мне уже предлагали возглавить специализированную школу бокса. Я даже сделал первые шаги. Это было в

семьдесят третьем году после белградского чемпионата Европы. Тогда я бросил бокс. Я бросил его не потому, что у меня семья, двое детей. Я устал от бокса, «проиграл Европу», но не в этом дело. А в чем же? Да во всем сразу. Одним словом, я ушел.

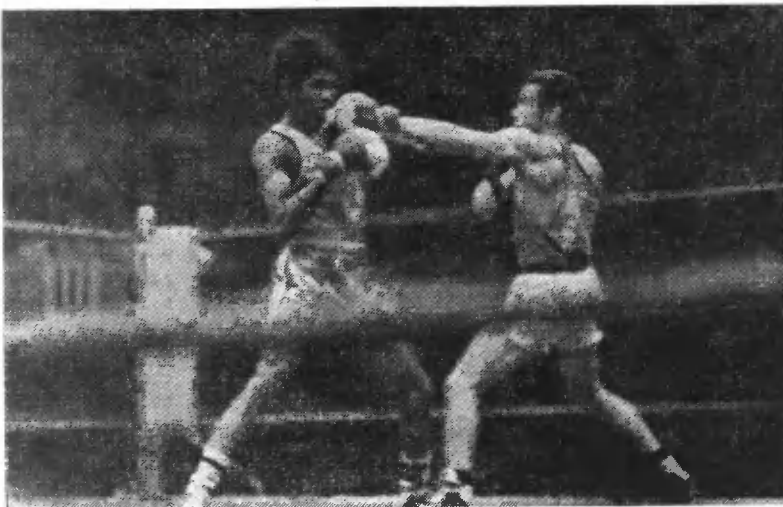
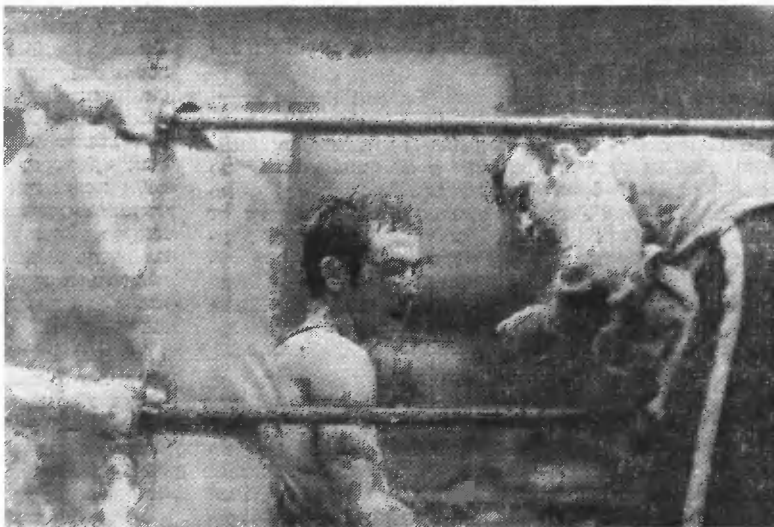
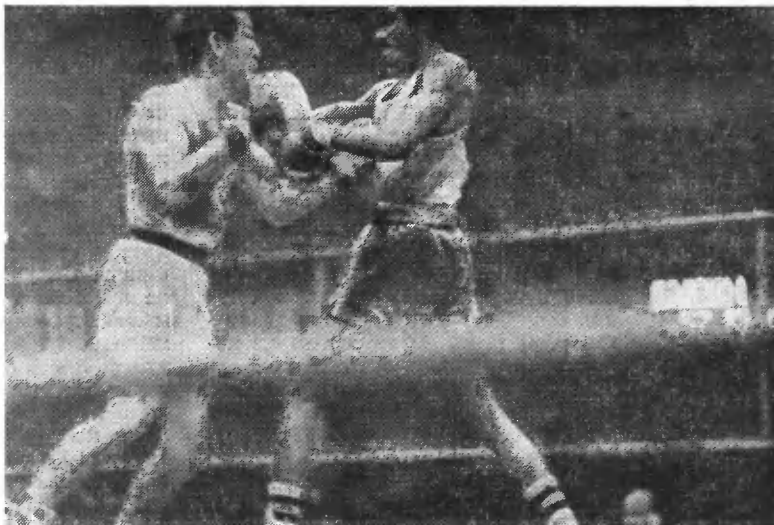
Пора ехать. Я и не заметил, как пролетело время утренней зарядки. Мы сели в автобус и поехали в «Гавана либра». Мне нравится эта гостиница. И больше всего за то, что в «Гавана либра» всегда прохладно. А на улице духота. Дышать нечем.

Мы всей командой пошли в ресторан. За завтраком, как обычно, много шутили, хотя все чувствовали, что день предстоит напряженный. Вечером финальные бои, в которых станут известны имена первых чемпионов мира среди любителей. Это была та самая цель, мечта, которая заставила меня вернуться в большой спорт. И вот я вошел в финал. Сегодня будет решающий бой. Так получилось, что я не видел Дэвиса в бою. И только полуфинал, когда он выиграл у кубинца, я сумел посмотреть по видеозаписи. Кое-что о нем мне рассказывали тренеры и ребята.

Он высокий и худой, как большинство негров. У него отличная левая и великолепные ноги. Ноги его главный козырь. А у меня рассечена бровь и разбиты руки. Бровь мне заклеили и вроде бы надежно. А рук на один бой хватит. Да не так уж сильно они и разбиты. Главное, не давать Дэвису много места в ринге. Надо все время обрезать ему путь. Надо нейтрализовать его передвижения.

Да... сегодня последний бой... последний бой чемпионата. Хочется выиграть. Это же мой последний бой! Обидно бывает, когда за одно и то же, за ту же манеру, за тот же характер боя, за те же опущенные руки, если выигрываю, меня возносят, называют самобытным боксером, яркой индивидуальностью, а если проигрываю, то... все ясно: «опускал руки, пренебрегал защитой, рисовался, пижонил».

Так было всегда. Еще в юношах я начал опускать руки и работать в открытой, «неправильной» стойке. Мне говорили: зачем опускать руки и подвергать себя опасности, когда есть надежная, годами испытанная стойка: правая рука у подбородка, левая поднята чуть выше и выведена вперед. А я чувство-



Бой Кузнецова с Дэвисом. Эти снимки сделаны специальным корреспондентом ТАСС Генрихом ХАЧКОВЯНИНОМ.

вал, что, опуская руки, сразу создаю остроту боя. И добавок сам острее ощущаю противника. Он закрыт, я открыт. Но мы не стоим — движемся. Процентом семьдесят моих движений ложные. Я сразу не атакую противника, а создаю иллюзию атаки. Он вынужден контратаковать эту иллюзию. А в этот момент я атакую уже действительно.

Главное, чтобы мои бесконечные финты противник принимал за чистую монету. Ведь противник многим финтам не верит. Он реагирует на них потому, что реагирует на все, даже на улыбку, но не верит им. А надо, чтобы поверил. Я не показываю сопернику ложный удар, чтобы следом пробить настоящий. Я бью. Но я не боюсь... Финт должен быть ярко выраженным.

Когда мы с тренером работаем на лапах, он хорошо знает, что мои удары последуют именно в лапу. В центр. Он ждет. Я маневрирую вокруг него на дистанции, а он тоже двигается и ждет. Вдруг я неожиданно бью левой боковой в голову. Не в лапу, а в голову. Тренер тут же защищает лицо руками. Но я и не думал бить в голову. Я ударю точно в лапу. В центр. И не левой, а правой. Это был финт. Но финт настолько яркий, что ему поверил даже тренер. Мой тренер Саша Чапалыгин, который знает меня наизусть. А в бою я постоянно финтую. Я не боюсь — пугаю, создаю иллюзию удара или целой атаки. И в этот момент, когда обманываю, я ни за что не ударю. А может, ударю...

Как медленно тянется время. Скорей бы на ринг. Я настроен выиграть. Я спокоен. Спокойствие пришло ко мне с опытом. Всего два года назад, в Мюнхене, уже перед полуфиналом я не спал почти всю ночь. Как же — бронзовая медаль Олимпиады обеспечена. И Слава Лемешев не спал. Мы с ним от радости на ухах ходили. Мы уже бронзовые призеры Олимпийских игр! А впереди полуфинал, а потом еще финал. Можно завоевать серебро. Можно даже золото!.. И мы выиграли золото. И Слава и я.

Для меня олимпийский турнир был самым трудным. С одной стороны, и моем весе собрался все три призера Европы, финалист Панамериканских игр и, наконец, призер Олимпийских игр в Мехико; с другой — по жребию мне выпало провести на бой больше, чем остальным. Я хорошо понимал: чтобы выиграть Олимпиаду, нужно собрать силы на весь турнир, и потому на первый бой, с боксером из Нигера Харуно Лаго, шел с твердым намерением завершить его раньше времени. До этого мы с ним уже боксировали. Правда, не на соревнованиях — в спарринге. Харуно Лаго боксер невысокого класса, чувствовалось, что он побавлялся меня. Решение закончить бой раньше срока с противником заведомо слабым может показаться жестоким, но другого выхода у меня не было. Шесть боев на Олимпийских играх — это не шутка. И вообще, мы оба боксеры, и каждый защищает честь своей страны. Наверное, поэтому с первых же секунд боя Лаго неожиданно бросился вперед. Я чуть отошел, провала его и встретил правым в голову. Это был нокаут, но рефери не остановил бой. Разгоряченный Лаго снова кинулся на меня. Я обманил его, задергал, вывел на удар и нокаутировал...

Во втором бою я сам себе преподнес сюрприз.

У меня были желтые боксерки, которые мне очень нравились. Я одевал их редко — берег для выступлений. Бой с Харуно Лаго был очень коротким, и я не успел почувствовать, что они скользят. Подошвы так отглаживались, что канифоль, которой мы натираем боксерки, на них не держалась. Покрывие

ринга из искусственного материала оказалось для меня как бы ледяной ареной. И когда я вышел на бой с финалистом Панамериканских игр, быстрым и маневренным Баптиста из Венесуэлы, это было для меня большой помехой. Надо было работать так, чтобы Баптиста не понял, что у него есть преимущество. Иначе он мог им воспользоваться. Любая помеха меня только мобилизует, и я мобилизовал все силы и нашел правильное решение.

Я отказался от резких передвижений, от скользящего боксерского шага. Я шел на Баптисту, ступая крепко, стараясь сохранить уверенность в своих действиях. Он реагировал на мои яркие финты. Но я не имел возможности на него бросаться с атаками и защищаться движениями ног. Бросаться — значит катиться на его встречные удары. Отступать — значит не иметь опоры для контратак и тем самым показать ему свою слабость. Поэтому я шел на него, выдерживал на себя, и, когда он, атакуя, попадал в поле моих ударов, я наказывал его сериями ударов, стараясь остаться на месте. Так все три раунда. Бой был напряженный, но я выиграл его убедительно. Однако победу судьи мне дали не единогласно — 4:1.

Это заставило меня призадуматься. Если следующий бой будет равным или я выиграю чуть-чуть, то победу мне не дадут. Во-первых, польский боксер Томчик, мой третий соперник, чемпион Европы, и все симпатии будут на его стороне. Во-вторых, в спорных ситуациях победителями редко признают советских спортсменов. Слишком уж много у нас чемпионов во всех видах спорта. Некоторых западных арбитров это раздражает... Томчик чувствовал себя хозяином в ринге, как, впрочем, и подбавляет чемпиону континента. Он все время пытался идти вперед. Точнее, не пытался, а шел. Мне это было на руку. Я много финтовал, вызывал на себя, проваливал и тут же наказывал. Наказывал за каждую атаку, за каждый удар. Он шел на меня и все время получал.

Почти все зрители болели за Томчика, и если у него что-то получалось, зал тут же рукоплескал ему. Когда же проходили мои удары, зал стонал. Поначалу меня шокировала такая реакция зрителей, но вскоре я взял ее на вооружение. Зал стонет, значит, порядок, я чисто выигрываю. А поскольку зрители стонали все три раунда, мне дали победу 5:0.

Потом я выиграл у бронзового призера Европы, румына Пометку. Два первых раунда я дрался четко, а в третьем немного расслабился. Побегер силы. Еще ведь два боя. Полуфинал и финал. Я выиграл и эти два боя. Сперва у финалиста первенства Европы венгерского боксера Боташа, затем у самого технического боксера Олимпийских игр в Мехико Варунги.

О моем бое с Варунги много говорили и писали. Писали, например, будто бы я после боя сказал, что у Варунги лом в правой руке. Я никогда этого не говорил. И никакого лома в правой Варунги нет. У него обыкновенная правая. И бил он ею мало. И опять не потому, что ловил меня на удар. Он все время был под напряжением моих финтов. И вообще, я не считаю кенийского боксера Варунги моим соперником № 1. Боксировать с Валерьяном Соколовым мне было труднее...

Я уехал из Мюнхена чемпионом Олимпийских игр и счастливейшим из смертных. Кажется, я ни в чем не видел преград и ничего не боялся. Даже предстоящих госэкзаменов в институте.

Мог ли я подумать, что вскоре брошу бокс? Что буду работать, заниматься домашними делами и все. Никаких тренировок. Никаких волнений. Мои соперники станут бывшими. Вернее, я для них стану быв-

шим, потому что они будут еще выступать. И Валерьян Соколов, сильнейший из всех моих соперников, в 1973 году выиграет чемпионат СССР. А я буду зрителем. Знал ли я, как тяжело спортсмену стать зрителем? Знал ли, что вернусь так же внезапно, как уйду? Вернусь, еще раз стану чемпионом страны и поеду защищать ее флаг в Гавану...

Пора. Меня зовут. Мы садимся в машину и едем. Едем быстро. На Кубе все ездят быстро. Не позже чем через час закончится моя боксерская биография. Я пережил в боксе все, что можно пережить. Было время, когда меня вывели из сборной страны за неудачные выступления на всесоюзном ринге. Это было трудное время. Я решил жениться, а мой тренер был против. Он, видимо, считал, что боксер большого ринга не может иметь семью. Сказал, что я буду несчастен и в спорте и в жизни. Мы поссорились, и я ушел от него. Из сборной меня вывели, от тренера я ушел. Бесперспективный боксер, не имеющий тренера...

Но в меня верила жена. В меня верили друзья. Я сам в себя верил. У меня есть хороший друг детства, Саша. Он в то время делал первые шаги в тренерской работе. Тренировал юношей. Мы с ним примерно в одно время начали заниматься боксом. Я попросил его, чтобы он стал моим тренером. Он как друг хотел мне помочь, но волновался, боялся, что не справится. Мы много занимались. Вместе учились, искали что-то лучшее, новое, рациональное. В этом нам помогали книги. Советом и делом помогало руководство нашего орденосионого спортивного общества «Трудовые резервы». Большую помощь оказывали тренеры сборных команд. Так мы и росли вместе. Он как тренер, я как боксер.

Друг детства Саша стал известным тренером Александром Чаплыгиным. Тем самым Чаплыгиным, который помог мне стать чемпионом Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта.

Все. Меня вызвали на ринг. На моих плечах полотно. Руки в перчатках. Старший тренер сборной Советского Союза Юрий Радоняк ведет меня на ринг. Пролезаю между каиатами в ярко освещенный квадрат. Я в ринге. Последний бой...

Гоги! Перед глазами сразу замелькала перчатка. Это левая Дэвиса. У него отличная левая. Дэвис кружит вокруг меня и резко, чуть наотмашь, бьет левой. Защищаюсь от левой движениями туловища. Подбираюсь к нему, дергаю, обрезаю пути. Ограничиваю его движения по рингу. На его левую отвечаю сериями коротких боковых ударов в голову. Да, он не любит, когда ему заходят за левую руку. Старается выскочить из углов, отступает. Бьет много прямых, повторных ударов левой. Они не столь опасны, если бы не заклеенная бровь. Удары свистят — только успевай уклоняться. Особенно опасны для травмированной брови не точные, а скользящие, чиркающие удары. Ну вот! Отлетела накладная! Висит и мешает смотреть. Я срываю ее. По щеке потекла струйка крови. Я бросаюсь вперед...

Команда «Стоп!». Рефери приглашает врача соревнований. Дэвис в нейтральном углу. Я в противоположном. Поднимается врач, сейчас моя судьба в его руках. Неужели все? Неужели снимет? Ведь это мой последний бой. Я должен его выиграть. Ну как ему объяснить, что для меня это очень важно, что это мой последний бой? Ведь выиграл же я полуфинальный бой с этой травмой. Врач, кажется, итальянец. Я смотрю ему в глаза, касаюсь перчаткой его руки, говорю: «Доктор, о'кэй, о'кэй, о'кэй, иу, о'кэй». Он отстраняет мою руку, говорит: «О'кэй, о'кэй», — как бы подожди, не мешай. Вытирает бровь, осматривает... «Доктор, миленький, о'кэй, о'кэй. Вэл, вэл?

Все хорошо? Я могу драться? Я должен драться. Ну, о'кэй же, о'кэй!»

— О'кэй, — улыбнулся доктор и хлопнул меня по плечу. Я радостно рванул на середину ринга, где меня уже ждал Дэвис.

Команда «Бокс!», и Дэвис вновь неистово заработал левой. Он понимал, что бровь мое слабое место. И даже проговорился журналистам, что это его шанс на победу. Как и в первом раунде, я не давал ему свободу в передвижениях по рингу. Все время теснил его и отвечал на его левую серией ударов. Но вот опять: «Стоп». Опять приглашают врача, опять я его умоляю. Но рефери на этот раз просто перестраховался. Врач осматрел мою бровь — никаких изменений нет. Он говорит рефери: «О'кэй», — и снова команда «Бокс!»

Последние секунды третьего раунда. Последние секунды моего тринадцатилетнего спортивного пути. Гоги! Мой последний гоги. Прихожу в угол, спрашиваю Юрия Михайловича: «Как?». «Молодец, выиграл» — вытирает лицо, развязывает перчатки. Я и сам чувствую, что выиграл, но все-таки еще раз спрашиваю, точно ли выиграл? Не жмут? И Юрий Михайлович, который меня неоднократно готовил и выводил на многие международные соревнования, в том числе и на Олимпийские игры, эмоционально, как бы досадуя, что я сомневаюсь, говорит: «Когда я тебе в равных боях говорил, что ты выиграл? Здесь ты выиграл точно». Около моего угла толпились болельщики, тренеры и друзья по команде, которые меня поздравляли с победой. Откуда-то появились цветы...

— Иди, — подтолкнул меня Радоняк. И я пошел на середину ринга. Мы стояли втроем: я, Дэвис и рефери. Я взглянул на Дэвиса. Он смотрел в пол. Громко, на весь зал, разнеслось объявление судьи-информатора, и рефери вдруг поднял руку Дэвиса. Несколько мгновений мы с Дэвисом смотрели друг на друга, на рефери, ничего не понимая. Потом Дэвис рванул с места, высоко подпрыгнул и запорхал по рингу...

Мне было трудно разобраться в том, что происходит. Я не понимал, за что ему дали победу? Что он прыгает, что он ликует, неужели искренне верит в свою победу? Церемониал награждения был для меня словно казнь... Когда убрали пьедестал и все сошли с ринга, я вышел на середину ринга с цветами в руках, которые мне подарили как чемпиону сразу же после боя. С трудом сдерживая слезы, поклонился публике, прощаясь не только с ней, но и с большим спортом, с боксом.

Потом меня снова вызвали на ринг. Меня и боксера из ГДР Форстера. Нам вручили приз за самый красивый бой чемпионата. С Форстером я дрался во втором бою. Он работал серийно. Шел вперед и проводил серию за серией. Как машина. Я перехватывал его серии и завершал их сам. Тем, наверное, и был красив наш бой. Он начинает, я вместо того, чтоб защищаться, тут же перехватываю серию, развязываю ее и заканчиваю.

Потом Вася Соломин, который был признан лучшим боксером первого чемпионата мира, подарил мне перчатку с надписью «На память другу и настоящему чемпиону...» Потом шли телеграммы, в которых поздравляли меня и клая судей... Потом было много цветов и разговоров... Это уже потом. Потом, когда я успокоился и мне все стало ясно. Все, кроме одного: последним ли был этот бой?..



Наталья ФИЛИППЕНКО

Наталье ФИЛИППЕНКО 25 лет. Работает преподавателем чешского языка. Печатается впервые.

Мой ВЕЛОСИПЕД

РАССКАЗ

Нынче снова все бредят велосипедом. Пешком? На машине? Нет, только на велосипеде. И вокруг света и в соседний переулок. Пешком действительно слишком долго, а век торопит. Всякие же сверхскоростные средства передвижения, естественно, соблазнительны, но как бы ноги не атрофировались? Смотришь, отсохнут ноги, как в свое время у нашего предка отсох хвост...

Тут и вспомнили про велосипед. И все крутят нынче педали, как ошалелые. У меня есть тоже велосипед. Да не просто велосипед — спорю на что угодно, второго такого не сыщешь.

Я нравлюсь себе на этом велосипеде. Хотя бы уже потому, что он придает мне гордую осанку и заставляет вспомнить лицо молодой мамы. Мне кажется, мама была очень красивой в молодости, а бабушка — еще красивее. Мы все верим в то, что наши бабушки были красавицами. Историю бабушкиного велосипеда, который теперь перешел ко мне, я и хочу рассказать.

Бабушка в нашей семье знаменита тем, что, работая телеграфисткой в городе Мензелинске, в историческую октябрьскую ночь приняла сообщение о победе Советской власти. («Длинное — пятьсот слов», — вспоминает она.) Мой дед Авраам Михайлович командовал в Мензелинске (там они с бабушкой познакомились и поженились) батальоном Красной Армии и участвовал в разгроме контрреволюционной организации «Черный орел».

В 1936 году, когда дед работал в Монголии, а мама уже училась в пятом классе, бабушка купила на тугрики черно-серебряный «копбель». Она и сама любила ездить на этом велосипеде, но немного стеснялась: слишком уж современной казалась ей машина, да и падать было как-то не солидно...

Зато мама ездила лихо. Правда, на узкие улочки Улан-Батора, где не разминуться с грузовиком, ее не выпускали. Она петляла по двору между юрт, но когда выезжала за город, гоняла по степи как угорелая. На этом велосипеде мама — она была «слабым ребенком» — умчалась от всех своих болезней.

Каждый год дед получал новые назначения. Куда только не забрасывала его судьба! И бабушка каждый раз складывала в сундуки самое необходимое («Кое-какую одежду», — как она говорит), все остальное продавалось, раздавалось... Все, все, но не велосипед. Семья деда



плюс велосипед послушно следовала за своим главой из Улан-Батора в Улан-Удэ, из Улан-Удэ в Москву, потом в Новосибирск, Барнаул, Бийск, Минск, опять в Москву. В детстве эти переезды мне представлялись так: телега, доверху нагруженная мебелью, стулья торчком, а сверху — велосипед.

Во время Великой Отечественной дед воевал, а семья жила в Бийске. Мама тяжело болела тифом. Меняли на продукты и лекарства все, даже пальто. Но не велосипед. Спрашиваю: «Бабушка, ну как же ты без пальто осталась? Дался вам этот велосипед!» «Да ну его, пальто! Пальто — черт с ним, а вот велосипед твоей маме был нужен — не равилось ездить».

А когда война кончилась — снова в Минск, где уже ждал дед. В разрушенном, но вновь оживающем Минске военные сверкали орденами, девушки заглядывались на ордена, прихорашивались. Но мама «переплюнула» всех, разъезжая на красавце велосипеде с радужной нитяной сеткой полукругом на заднем колесе. Однажды в новом красном платье («Юбка была в складочку — я сама шила!») — вспоминает бабушка — мама поехала в парк на молодежный спортивный праздник. Там она и познакомилась с моим будущим папой, который всю войну партизанил в Белоруссии. А познакомился бы мой будущий папа с моей будущей мамой, если бы она в тот день пришла в парк пешком? Разве теперь у них выяснишь?..

Мама вышла замуж, у нее появились новые заботы, но велосипед без дела не стоял. Дед с бабушкой удочерили 11-летнюю Тамару, «трудного ребенка» из детдома, воспитали племянниц Валю и Галю — они тоже помнят, как гоняли на этом «велике».

В детстве я и на самолете летала, и на поезде ездила, и на карусели каталась, но впервые по-настоящему ощутила скорость, когда мне, наконец, доверили реликвию — бабушко-мамин велосипед. Большой, тяжелый, неуклюжий по тогдашним, тем более по сегодняшним временам, — видно, не для легких дам предназначался. Первые четыре движения ногами даются с трудом, зато потом... Ух, славная машина несет тебя сама! И первое ощущение уверенности: ты обгоняешь всех «орлят», «ласточек». Что тогда было в моде из велосипедов — уже и не помню, но всех их, «малорослых», я тихо презирала. Куда им до нас! И звонок мой звонче: посторонись! Я только по прямой! Ой, мамочки, поворот!!! Все канавы мои! Смешно, но я не могла сама подняться с земли, придавленная тяжелой рамой.

Я до сих пор не расстаюсь со своим велосипедом. И зимой и летом. Красивые, широкие, рельефные шины уже покрылись мелкими трещинками — работяга! Буксует на льду только тогда, когда рядом буксуют «Волги».

Один талантливый изобретатель, друг нашей семьи, увидев велосипед, бросился к нему: «Что это? Откуда? Отличная машина!» «Да, но хорошо бы кое-что подправить», — решила использовать знакомство с «технарем» мама. «Минуточку», — оглядевшись, он поднял с дороги камень, и... ловкие руки, привыкшие обращаться с тончайшими и совершеннейшими механизмами, в два счета поставили щиток на место, несмотря на некоторое, мягко выражаясь, несовершенство инструмента. Это был единственный «ремонт» нашего «старичка» за всю историю его существования.

Бабушка нянчит правнучку, мою племянку, четырехлетнюю Аленку. Говорю: «Ба, скоро Аленкина очередь!» «Бог знает, шины сменить, может, дотянет», — отвечает, впрочем, с уверенностью моя бабушка.

Сама она уже немного горбится — 76 лет! Но я уверена: не потому, просто давно не садилась на наш велосипед...





Б. ШТЕРН

ПСИХОЗ

Борис ШТЕРН. В 1971 году закончил филологический факультет Одесского государственного университета. Ему 27 лет. Печатается впервые.

Прихожу с работы, жена говорит:

— У нас в библиотеке антирелигиозную литературу плохо читают, так я тебя записала.

Я резонно спрашиваю:

— Зачем мне ее читать, если я в бога не верю?

— А ты не читай, я просто на тебя несколько книжек запишу. Тебе все равно, а у меня плаи.

Верно. Мне, собственно, все равно, а у жены плаи. Ладно.

С этого все и началось.

Сестра звонит.

— Слушай, я тут забыла, у тебя какое образование?

— Среднее техническое, — отвечаю.

— Слушай, я сейчас в вечерней школе работаю, у меня учеников не хватает, так я тебя... это... в седьмой класс записала. Не возражаешь?

— Ты в своем уме? — спрашиваю.

— Какая тебе разница? — удивляется сестра. — Посещать школу не надо, экзамены я у тебя без тебя приму, ты и знать не будешь.

И правда, какая мне разница? Ладно.

Утром прихожу на работу, вызывает меня директор.

— Вот что, Сидоров, — говорит директор. — Ты свой план выполнил? Надо другим помочь, а то нехорошо получается.

Отвечаю, что с удовольствием. Перейти на другой процесс? Освоить новую профессию? Поделиться опытом? С удовольствием.

— Нет, тут помощь другого рода требуется. Звонили из подшефного драмтеатра, конец квартала у них, а зрителей нет.

Короче, иду в театр. По дороге приятель останавливает:

— Стой, Валя, дело есть...

— У тебя что, тоже план? — спрашиваю.

— С полуслова понимаешь! Такое дело... Плохо мы еще боремся с алкоголизмом. Так я тебя в вытрезвитель записал... Мол, нашли тебя под забором в крайнем состоянии...

Подумал. Трудно мне, что ли? Пообедали на производство не сообщать... Ладно.

— Тебя, кстати, Петров искал. Вижу, бежит Петров, вместе росли, сейчас он журналист.

— Валька! — кричит Петров. — У нас в газете раздел «Ответы на вопросы». Так я от твоей фамилии письмо написал и сам на него ответил. Чтoб ты в курсе был, если кто заинтересуется.

А мне какое дело? Я той газете не читаю. Ладно.

Продолжаю идти в театр. Но не дошел. Затащили меня на аркане в «Ремонт одежды».

— Спасайте! — говорит заведующий. — У меня план горит.

Не успел я ничего сказать, как меня раздели догола. Вижу, туфли чистят, носки штопают, брюки гладят, пуговицы пришивают, белье метками помечают.

— С вас два двадцать.

Под вечер тащусь домой, чувствую, что-то спину сверлит. Оглядываюсь — незнакомец в черном костюме меня разглядывает. Что такое?

Выхожу из трамвая, незнакомец за мной. Я по улице — он по улице, я за угол — он туда же. У меня, надо сказать, полчка в кармане.

Под вечер тащусь домой, чувствую, что-то спину сверлит. Оглядываюсь — незнакомец в черном костюме меня разглядывает. Что такое?

— Извините! — говорят. — Облагодетельствуйте!

— Что такое?!

— Из похоронного бюро я... с планом у нас плохо... Не можете посодействовать?..

г. Одесса.

Рисунок
А. ПОВАРИХИНА.

В подготовке подборки начинающих авторов «Зеленого портфеля» принимала участие редактор-практикант, студентка 3-го курса факультета журналистики МГУ Наталья Хмелик.

И. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Ирине ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ 18 лет. Учащаяся. «Недорогие джинсы» — ее первый рассказ.

Недорогие джинсы



Рисунок Л. КРУПЕНИНОЙ.

Стою в очереди, читаю журнал. На моей руке чернильный номер — 1358. «Эх, — думаю, — журнала мне будет маловато. Надо было Большую Советскую Энциклопедию с собой взять. Томов восемнадцать. В самый раз хватило бы».

Ко мне подходит толстая тетя с двумя сумками.

— За чем стоите?

— За джинсами.

— А что это такое?

— То же самое, что техасы, только материал другой.

— А техасы что такое? — спрашивает.

Терпение мое начинает лопаться.

— Штаны! — почти кричу я. — Мужские, рабочие!

Подхватив обе сумки с боевым кличем «Кто последний?», тетя бросается в конец очереди.

— Девушк, чо дают? — подлетел ко мне всклокоченный парень.

— Джинсы, — сквозь зубы цешу я.

— «Луи?»

— «Милтон».

— Отрезные?

— Прямые.

— Халтура-а-а, — разочарованно тянет парень, но тем не менее тоже встает в очередь.

— Ну и молодежь пошла! — вздыхает старушка, стоящая впереди меня.

— А вы чем недовольны? — настаиваю я.

— «Луи» им подавай, отрезные вишь... Да клешу, небось, сантиметров тридцать хочут...

— А вы-то кому джинсы берете? Внуку, что ли?

— Да ты что, дочк, внук у меня английские купил, две стипендии отдал. Старые такие, в заплатах все. Говорит, новые сейчас никто не носит, мол, не модно. Вот я и решила, куплю-ка я деду новые, недорогие, он за модой не гонится, небось, и в таких перебьется.

Неделю спустя занесла меня судьба на Киевский вокзал.

На платформе я заметила странного старичка. Старичок как старичок, лопата в руках, саженцы... Но чем-то он все-таки отличался от остальных ожидающих электричку на Малоярославец.

Ба! «Милтоновские» джинсы!

— Дедушка, — подошла я к нему, — вы в Малоярославце у реки живете?

— Да. А что? — забеспокоился дед.

— Нет, ничего. Просто мы с вашей супругой за вашими джинсами вместе стояли. Понравились вам джинсы?

— Вообще-то ничего... Но... — Дед замаялся.

— Неловко в вашем возрасте? — решила я ему помочь. — Не волнуйтесь, дедушка, сейчас все в таких штанах ходят.

— Вот в том-то и дело! — оживился дед. — А мне бы «Луи» достать да отрезные чтоб, — дед то-скливо посмотрел на меня. — Не поможешь?..

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЗЕЛЕНОГО ЛИСТКА»

Жюри конкурса «Зеленого листка», в состав которого вошли члены редколлегии журнала «Юность», под председательством главного редактора журнала Б. Н. Полевого рассмотрело опубликованные в 1974 году произведения молодых авторов в области прозы, поэзии, публицистики, живописи и присудило:

первую премию (500 руб.) — Анатолию Макарову за повесть «Человек с аккордеоном» в № 6;

вторые премии (по 250 рублей) — Феликсу Ветрову за повесть «Сигма-эф» в № 1; Николаю Черкашину за очерки «След перископа» в № 7 и «Танкисты» в № 11;

третью премию (200 руб.) — художнице Марине Файдыш (картины «В поселке Усть-Юган» и «Здесь будет город. Танцы в таежном поселке» — № 1);

третью премию поделили:

Иса Капаев (рассказ «Верность очагу» в № 1);

Владимир Кочетов (повесть «Как у Дунюшки на гри джуньки» в № 1);

третью премию поделили:

Александр Васютков (стихи в № 1),

Николай Смирнов (стихи в № 1),

Чингиз Алиоглы (стихи в № 1).

Лауреаты конкурса «Зеленого листка» награждаются Почетными дипломами.

Редакция сердечно поздравляет лауреатов «Зеленого листка», желает им новых успехов и читателей журнала «Юность»!

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Анатолий ТОБОЛЯК. История одной любви. Повесть 3

Владимир ЯКИМЕНКО. Батьковщина. Рассказ 59

ПОЭЗИЯ

Владимир ЯКОВЛЕВ. На Волге. Родное. «Дорога вновь пылится...» 54

Сергей БОРИСОВ. Разлив. Птицы. Песня листьев. Дом. Яик 54

Вениамин КАПЛУН. Подсадная. Прииртышье. Троллейбус 55

Владимир СИДОРОВ. «Я люблю городскую природу...». «Зеленые горы акаций...». «Обыкновенно, как река...» 56

Петр КОШЕЛЬ. «Так здравствуй же, общее дело...». «Январь, снега, производительны леса...». «Погода дождем исходила...». «По тающей вниз Долгобродной...» 57

Буллат СУЛЕЙМАНОВ. Притяжение Сибири. Осень. «Если джигит старика оскорбит...». «Зерном заманили лесного певца...». Перевели с татарского Т. Кузовлева и Л. Смирнов 58

Глеб СЕДЕЛЬНИКОВ. «Осенью все журавли улетели на юг...». «Музыкант! Сыграй мне на званке...». «Мне яблоня приснилась поутру...». 58

Андрей ЧЕРНОВ. 1941. Двадцать лет спустя. «Как нам узнать...» 72

Робертас КЕТУРАКИС. Орион. «Жить не самим собой — и мило и немило...». «Все снятся табуны. А то — один буланый...». Перевел с литовского Дм. Сухарев 72

Зигмунт ЛЕВИЦКИЙ. Солнечная лесопилка. Возвращение 73

Владимир ЕРЕМЕНКО. Апрель. Проводы 73

Андрей БОГОСЛОВСКИЙ. «Над нами просторы, пред нами просторы...». «Когда нет слов, тогда молчат...». «То было время торжества снегов...». Иоланта 74

Евгения СЛАВОРОСОВА. «Ах, осень, поздняя любовь...». Весна. «Теперь слова резонные...». «Не тверди, что я жестока...». 75

ПИСЬМО ЯНВАРЯ

Александр МИРОШКИН. Что же делать? Иван ВАСИЛЬЕВ. Третий... не лишний 63

КРИТИКА

В. ОРЕНОВ. Ваш кредит, театральный рецензент! (Дневник критика) 65

В. БОНДАРЕНКО, Е. БОНДАРЕНКО. «Имени Оскара» (Жизнь — песня) 69

ПУБЛИЦИСТИКА

Обыкновенные ребята 76

Анатолий ТРОФИМОВ. Я — тонарь (Молодежь и пятилетка) 94

Валерий ВИНУКОВ. Биография одной звезды 98

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ, А. РОШАЛЬ. Карпов идет на Фншера 102

Борис КУЗНЕЦОВ. Последний бой... 104

Наталья ФИЛИППЕНКО. Мой велосипед 108

Б. ШТЕРН. Психоз 110

И. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. Недорогие джинсы 111

Лауреаты конкурса «Зеленого листка» 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

И. о. художественного
редактора
Олег Кокин.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок К. БОРИСОВА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 29/X—1974 г.
А 09343.
Подп. к печ. 12/XII—1974 г.
Формат 84×108/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 9. Заказ № 2951.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865. Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

НАУКА И ТЕХНИКА

ШАХМАТЫ

СПОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Доброго пути!



*Первые лауреаты конкурса
«Зеленого листка»*

Верхний ряд (слева направо):
Феликс Ветров, Анатолий Макаров,
Марина Файдыш, Николай Черкашин.

Нижний ряд (слева направо):
Николай Смирнов, Владимир Кочетов,
Чингиз Алиоглы, Иса Капаев,
Александр Васютков.



Цена 40 коп.

Индекс
71120